

НПО «Издательство «Наука» РАН
Редакция журнала «Славяноведение»
119334, Москва, Ленинский просп., 32А
тел: 790 0000
е-mail: slav@voprosy.ru

ISSN 0132-1366

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

СЛАВЯНО · ВЕДЕНИЕ



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт славяноведения

Славяноведение

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД



2004

ЯНВАРЬ •

ФЕВРАЛЬ •

Содержание

СТАТЬИ

- Хорев В.А.* (Москва) Русский европеизм и Польша 5
- Софронова Л.А.* (Москва) Мифологизация образа Европы в русской культуре XVIII века 29
- Горизонтов Л.Е.* (Москва) "Польская цивилизованность" и "русское варварство": основания для стереотипов и автостереотипов 39
- Лескинен М.В.* (Москва) Миф Европы и Польша в "Записках" В.С. Печерина 49
- Филатова Н.М.* (Москва) Взгляды на будущее Европы и Польши в произведениях А. Мицкевича и К. Бродзиньского 64
- Лазари де А.* (Лодзь) Чем страшна Европа польским и русским "славянам"? (замечания на полях "Энциклопедии русской души. Романа с энциклопедией" В. Ерофеева) 74

* * *

- Павленко О.В.* (Москва) "Святой мученик" Карел Гавличек-Боровский. Мифологизация национального героя 80
- Новое в зарубежном славистическом литературоведении (1990–2000-е годы). Материалы "круглого стола" 93

ПУБЛИКАЦИИ

- Фрейдзон В.И.* (Москва) Две беседы Й.Ю. Штротсмайера с российскими дипломатами... 132

СООБЩЕНИЯ

- Будагова Л.Н.* (Москва) По страницам книги Иво Поспишила и Милоша Зеленки "Рене Веллек и межвоенная Чехословакия. К вопросу о корнях структуральной эстетики" 141

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Седова Н.В.</i> T.G. Masaryk. Spisy. Sv. 21: Parlamentní projevy (1891–1893); T.G. Masaryk. Spisy. 29: Parlamentní projevy (1907–1914).....	149
<i>Филатова Н.М.</i> Шопен в русской культуре. Антология	152

НЕКРОЛОГИ

<i>Цыбенко Е.З.</i> Памяти Астры Генриховны Пиотровской (1924–2003).....	154
<i>Нещименко Г.П.</i> Памяти Александры Григорьевны Широковой (1918–2003).....	155
Новые книги	157

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В.К. ВОЛКОВ (главный редактор),
М.А. ВАСИЛЬЕВ, Г.К. ВЕНЕДИКТОВ,
Р.П. ГРИШИНА, В.И. КОСИК, Г.Ф. МАТВЕЕВ,
В.В. МОЧАЛОВА, С.В. НИКОЛЬСКИЙ, В.Я. ПЕТРУХИН,
М.А. РОБИНСОН (зам. главного редактора),
Л.А. СОФРОНОВА, Б.Н. ФЛОРЯ, В.А. ХОРЕВ, Т.В. ЦИВЬЯН

А.В. Болдов (отв. секретарь)

Заведующие отделами: *Адельгейм И.Е.* (отдел литературоведения),
Белова О.В. (отдел культурологии), *Валенцова М.М.* (отдел лингвистики),
Васильев М.А. (отдел истории)

Зав. редакцией *Г.А. Михеева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л.А., Пономарева Е.В., Веслова И.Ю.*

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский пр-т, 32а, Телефон 938-01-20
E-mail: vasilyev@FL09.tower.ras.ru



13–14 мая 2003 г. Институтом славяноведения РАН совместно с Институтом литературных исследований ПАН при участии Посольства Польской Республики в России была проведена конференция “Миф Европы в литературе и культуре России и Польши”. Она продолжила многолетние российско-польские совместные исследования по проблемам взаимного восприятия двух славянских народов.

Участники конференции, исходя из необходимости осмысления и теоретического обобщения уже накопленного материала, имеющих представлений и выводов, обратились к довольно популярной (и дискуссионной) в последнее десятилетие области гуманитарной науки – геокультурологии или семиотике культурного пространства. Комплекс знаков, образов и идей, связанных с восприятием европейского пространства, отличается многоплановостью и высокой семиотической насыщенностью, особенно в странах христианской культуры. Для России и Польши вопрос об отношении к Европе (подразумеваются промышленно и социально развитые страны Западной Европы) и сосуществовании с ней в широком смысле (геополитическом, культурном, идеологическом и национальном), без сомнения, являлся одним из ключевых на протяжении XVIII–XX вв. Исследователи сконцентрировались только на одном, но чрезвычайно важном аспекте этого комплекса вопросов – рассмотрении мифа о Европе, фокусирующем в себе разнообразие польских и русских позиций. Представление о Европе как высшем типе цивилизации складывалось в рамках западноевропейской культуры, утверждающей цивилизационное и нравственное превосходство *своего* мира над *чужим* миром “варваров”. Этот западноевропейский автостереотип был воспринят и культурой, географически также относящейся к Европе, но в силу разных причин сомневающейся в своей принадлежности к европейскому культурному пространству. Здесь этот автостереотип развивался как в позитивном плане (образец для подражания), так и в противопоставлении ему идеи пагубности западноевропейской цивилизации.

Такое кажущееся сужение темы в действительности является чрезвычайно плодотворным, так как позволяет синтезировать многочисленные разнообразные оценки, идеи, виды мифологических элементов в единое мифологическое целое, рассмотрев при этом истоки и механизмы формирования двух мифов о Европе – российского и польского.

Оба мифа, питающиеся идеями моноцентрических европейских культур, создаются в культурном пространстве, которое или географически не принадлежит европейскому ареалу или таковым себя не осознает. Мифологические представления о Европе сказываются в отсутствии как у всякого мифологического персонажа, конкретных очертаний. Неотчетливое представле-

ние о ней, как и о географическом пространстве, свидетельствует в пользу мифа.

Творческое отношение к европейскому началу свойственно XIX в.. Тогда происходило постоянное колебание в отношении к нему и в то же время активное сближение с Западной Европой с одновременным настойчивым стремлением подчеркнуть своеобразие своего национального пути. Так или иначе, можно говорить о том, что идентификации с Европой не происходило. Она представлялась *чужой*, хотя и по-разному для России и Польши, что характерно и для XX в.

Пространственные очертания мифа Европы в славянском мире активно дополняются утопическими измерениями. Европа описывается как долгожданный рай на земле, как чудесная страна благоденствия, как некое удивительное место, где соблюдаются все правила жизни, существует гармония общественных отношений. При этом она лишается своих конкретных очертаний. Образ обобщенного европейца становится мерилom, благодаря чему все *свое* лишается всякой привлекательности и постоянно сравнивается с *чужим*. Так происходит во всякой утопии, непременно сравнивающей мир реальный и идеальный. Конструирование мифа о Европе детализируется, а детализация вообще свойственна утопии.

Этот идеальный облик Европы и отношение к ней противостоит негативному. Европа может выглядеть как лишенная духовного начала, как страна холодного расчета и царство капитала, бизнеса, где прагматизм определяет человеческие отношения, а по отношению к *чужому* проявляется агрессия. Так же как и утопические представления о Европе, эти воззрения характеризуются усиленной мифологичностью. Мифологичность состоит и в том, что два противопоставленных подхода к Европе, манифестированные как положительный и отрицательный, никак не сочетаются между собой, не складываются в единое целое, что уже было бы знаком отношения реального.

Ниже публикуются некоторые доклады, прочитанные на конференции.

Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН "История, языки и литературы славянских народов в мировом социокультурном контексте". Контракт № 10002-251/ОИФН-01/242-239/110703-1047.



© 2004 г. В. А. ХОРЕВ

РУССКИЙ ЕВРОПЕИЗМ И ПОЛЬША

Испокон веков в интеллектуальной жизни России актуальным оставался вопрос: относится Россия к Европе или нет. В значительной мере это объяснялось тем, что и в Западной Европе, и в самой России очень часто “Европа” отождествлялась (и отождествляется до сего дня) с “латинской”, романо-германской Европой. Византийское же наследие, православное христианство, восточнославянское (и даже восточноевропейское) культурное достояние европейским не считалось. Попытаемся обратить внимание на одну существенную сторону этого сложнейшего вопроса: на отношение к Европе в русском культурном сознании с учетом “польского фактора”, т.е. отношения России к Польше как ближайшей представительнице “латинской” Европы.

Проблема отношения к Европе – одна из постоянных проблем русского самосознания. Без преувеличения можно сказать, что она существует столько же, сколько существует зафиксированная в текстах историсофская и культурологическая рефлексия на эту тему. Она вызвана к жизни и обусловлена тем, что называется историей с географией – ходом реальной истории российского государства, его изменявшемся географическим и геополитическим положением на разных этапах развития. Но это и *живая* проблема реальных людей, практически каждого человека, жившего или живущего в России, даже если он до какого-то времени – или вообще никогда – специально не задумывался над ней. Это проблема личностных самоощущений и самоидентификаций. Из них складываются конкретные формы общественного сознания со всей их сложностью, непроясненностью и противоречивостью, с неизменным противоборством между крайними позициями, с неизбежными и всегда драматическими противоречиями и попытками выхода из них, бытованием понятийных стереотипов и переживаний в границах тех или иных конкретных сюжетов реальной жизни. Стало быть, эта проблема должна рассматриваться на стыке истории, истории культуры, литературоведения, социальной психологии и психологии личности, этнолингвистики и других областей гуманитарного знания.

Представление о Европе как высшем типе цивилизации складывалось в рамках западноевропейской культуры (подразумеваются промышленно и социально развитые страны Западной Европы), утверждающей цивилизации-

онное и нравственное превосходство *своего* мира над *чужим* миром “варваров”. Этот европейский автостереотип был воспринят и в русской культуре, географически также относящейся к Европе, но в силу разных причин сомневающейся в своей принадлежности к европейскому культурному пространству, и развивался как в позитивном плане (образец для подражания), так и в противопоставлении ему идеи о пагубности европейской цивилизации.

История мифа Европы в России, в том числе “польского мифа” – это не только история историософской и философской мысли, но и история литературы и культуры. Они в своих формах и своими средствами создают, навязывают и развенчивают этот миф, который тесно связан с отношением к истории и духовной культуре *своей* страны (и внутри нее к себе лично) и к *другой, чужой* истории и *другой* культуре. Отношения эти видоизменяются в своих конкретных проявлениях-сюжетах, но эти исторически обусловленные изменения имеют свои типологические сходства, которые можно обозначить как исторические закономерности. Одной из таких закономерностей в рамках проблемы русского мифа Европы оказывается драматическая история отношения России к ее ближайшему западному соседу – Польше как части Европы. Отношение в России к Польше и в Польше к России как часть этой общей проблемы имеет смысл рассматривать сегодня, когда накоплен большой эмпирический материал из истории взаимоотношений двух государств и культур именно в обозначенных выше параметрах, чтобы уяснить и общую логику развития этих отношений, и ее повторяющиеся закономерности.

История русско-польских отношений насчитывает много веков. Упоминания о Польше как соседу Руси имеются уже в древних летописях, которые служат как историческим первоисточником, фиксирующим отношения, так и отражают видение и мироощущение живых людей, т.е. создают и “навязывают” будущему некий образ соседа и эмоционального отношения к нему. По тому, как видоизменялся – или оставался стабильным – образ Польши и поляка в русской культуре как раз и можно попытаться в хаотичном эмпирическом материале отдельных свидетельств и фактов определить общие закономерности видения друг друга – закономерности, обусловленные как конкретной политической ситуацией, ходом истории, развитием цивилизации в целом, так и особенностями человеческой психологии, которая оказывается не менее важным и мощным импульсом к тому или иному историческому выбору пути. В этой системе, формирующей образование и восприятие мифа, и следует разобратся, ставя вопрос о мифе Польши для России как одном из специфических сюжетов мифа Европы в целом.

Русские изоляционисты, славянофилы, панслависты, евразийцы немало способствовали распространению в общественном сознании мысли об особом, отличном от Европы пути развития России. Они противопоставляли Европе более *духовную*, с их точки зрения, российскую культуру. Русские же западники идеализировали Европу и сложившийся в ней тип цивилизации. Если говорить о цивилизационно-бытовом уровне жизни, то Европа, не только Западная, но и та же Польша в силу разных исторических обстоятельств имела – и до сих пор имеет – преимущество перед Россией. Но для историка, в том числе историка культуры, определяющим фактором европеизма являются итоги духовного развития нации и, в первую очередь, уровень развития культуры (в том числе литературы как одного из главных интеллектуальных языков), ее

ориентированность на общие для европейцев культурные и нравственные ценности, главной из которых является личность и ее свобода.

Начиная с момента возникновения русской литературы в ней шла напряженная борьба за утверждение именно этих ценностей. В XIX в. русская литература завоевала передовые позиции в Европе и в мире. И не только литература, но и музыка, живопись, театр и все другие компоненты русской культуры ощущались, воспринимались и осмыслились как европейские по мироощущению и стилю. “Россия, – сказал недавно Ч. Милош, – создала в XIX веке великий роман. XIX век был веком романа во всей Европе, но России удалось создать великий роман, чего в Польше не было” [1. С. 5].

Если обратиться к истокам российской государственности, то следует вспомнить, что образовавшееся в середине IX в. государство Рюрикovichей с принятием христианства вошло в семью европейских народов. Христианская, т.е. европейская, культура пришла на Русь до разделения церквей – тогда, когда еще не было никаких оснований для враждебного отношения к “латинской” Европе. Но и позднее, с расколом Европы на католическую и православную части, ее границы никогда не совпадали с границами латинской образованности. Д.С. Лихачев писал в этой связи: «На самом же деле Россия – это никакая не Евразия. Если смотреть на Россию с Запада, то она, конечно, лежит между Западом и Востоком. Но это чисто географическая точка зрения, я бы даже сказал – “картографическая”. Ибо Запад от Востока отделяет разность культур, а не условная граница, проведенная по карте. Россия – несомненная Европа по религии и культуре. При этом в культуре ее не найти резких различий между западным Петербургом и восточным Владивостоком. Россия по своей культуре отличается от стран Запада не больше, чем все они различаются между собой: Англия от Франции или Голландия от Швейцарии. В Европе много культур. Главная связующая среда России с Западом – это, конечно, интеллигенция, хотя и не одна она» [2. С. 3].

Исследования Лихачева показали, что уже в XI–XVI вв. общая для православных славян литература не была обособлена в европейском мире (см.: [3]). И речь идет не об одной только литературе. Д.С. Лихачев вспоминал, как видный итальянский искусствовед, рассматривая однажды в Третьяковской галерее иконы Рублева и Дионисия, воскликнул: “Вот где наше родство с вами!”. Суждения об обособленности древней русской культуры как следствия ее особого положения между Востоком и Западом – это мифы, созданные в России в XIX в. под гипнозом географического положения между Азией и Европой и субъективно болезненного отношения к отставанию ее политического устройства. Если же говорить о литературе, то уже “Древняя Русь знала переводы с греческого, с латинского, с древнееврейского, знала произведения, созданные в Болгарии, Македонии и Сербии, знала переводы с чешского, немецкого, польского, но не знала ни одного перевода с турецкого, татарского, с языков Средней Азии или Кавказа” [3. С. 10–11]. И, стало быть, древнерусская литература не была изолирована от европейской, получая от нее мощные импульсы и образцы для своего развития.

Мысль о родстве Киево-Новгородской Руси с европейским Западом присутствует и в размышлениях известного русского историка и философа культуры Г.П. Федотова. В 1945 г., уже двадцать лет живя в эмиграции в Европе и будучи европейцем по своим культурным установкам, он писал в статье “Россия и свобода” о том, что “византийское православие было, конечно,

ориентализированным христианством, но прежде всего оно было христианством; кроме того, с этим христианством связана изрядная доля греко-римской традиции. И религия, и эта традиция роднили Русь с христианским Западом даже тогда, когда она не хотела и слышать об этом родстве” [4. С. 199].

От западноевропейской культуры и цивилизации, от таких основополагающих их постулатов, как личностное начало, вера в прогрессивное общественное развитие, частная собственность, стремление к правопорядку, Русь отгородило, как известно, монгольское нашествие. По словам А.И. Герцена, “именно в это злосчастное время, длившееся около двух столетий, Россия и дала обогнать себя Европе” [5. С. 402]. Татаро-монгольское иго, – писал Д.С. Лихачев, – “установило непроходимую стену с Западом, но не установило прочных культурных связей с Востоком, хотя русский государь принял под свой скипетр на равных основаниях Казанское и Астраханское царства, признав их князей и вельмож ... Защита христианства была для России и защитой европейских принципов культуры: личностной, персонифицированной, интеллектуально свободной. Поэтому-то русская интеллигенция с таким восторгом воспринимала освобождение христианских народов на Балканах и сама подвергалась гонениям за эти же самые европейские принципы” [2].

По мысли Г.П. Федотова, в результате монгольского ига “весь процесс исторического развития на Руси стал обратным западноевропейскому: это было развитие от свободы к рабству” [4. С. 203]. Русская культура оказалась тогда на периферии Западной Европы, отношение к которой и порождает мифологическое ее восприятие: с одной стороны, идеализация западноевропейской цивилизации, с другой – враждебное ее отрицание. Это привело к размежеванию русской интеллигенции на “европейцев” – сторонников европейского пути развития России, и ревнителей “отеческого закона”, сложившегося в Московии, имевшей все черты восточной деспотии. Как заметил Г.В. Плеханов, “когда оседлая русская Европа получила возможность справиться с кочевой Азией, то ее собственные общественно-политические отношения оказались очень похожими на те, которые господствовали в азиатских деспотиях” [6. С. 98]. В то же время особенность русского исторического процесса, “выгодная для прогресса”, заключалась “в том, что после того, как оседлая русская Европа весьма значительно уподобилась оседлой Азии, ее общественное развитие стало очень медленно, но неизменно поворачиваться в сторону европейского Запада” [6. С. 98]. Сложный процесс обратного “вхождения” России в Европу, преодоления существенных различий в организации жизни общества, налаживания хозяйственных, политических и культурных связей с Западом занял не одно столетие. Ему, начиная с XVII в., и способствовала деятельность тех “русских европейцев”, которые осознавали отставание России и всемерно стремились преодолеть разрыв с Европой, которая представлялась им носителем общечеловеческих ценностей.

Проводником духовного влияния западноевропейской цивилизации на Русь оказалась в это время Польша, которая своей культурой и конфессией была тесно связана с романо-германской Европой, а географически находилась между западной Европой и Россией. Уже в XVI в. наряду с противопоставлением православной Руси “вероотступнической” католической Польше, которое содержится в памятниках древнерусской литературы, в русском сознании стал складываться и иной образ Польши – свободной и просвещенной страны (см.: [7]). Именно в Польше искали прибежища русские люди, не

желавшие смириться с московской деспотией, такие, как князь Андрей Курбский, первопечатник Иван Федоров, вольнодумец Феодосий Косых и др. Но и спустя столетия Польша привлекала своим свободолюбием русских людей, осознавалась ими как “окно в Европу”. Именно эта формула в отношении Польши, оперативно выражавшая общественное мнение и представления определенной части общества, воспроизводилась потом не раз – в разное время разными людьми – как закрепившийся в мироощущении языковой стереотип отношения к Польше. В 1993 г. Б. Окуджава говорил о том, что Польша для него – “первая заграница и первая западная страна”, и что в свое время он решил для себя: “если наступят тяжелые времена и нужно будет спасти свою жизнь, то мы сбежим в Польшу” (цит. по: [8. С. 329]).

В XVII в. многими представителями русского общества Польша воспринималась как страна высшей культуры и гражданских свобод. «В истории русско-польских литературных связей или, более упрощенно, польского влияния в русской литературе, – отмечает В.Н. Топоров, – XVII век – целая и особо отмеченная эпоха, открывшая русскому читателю многие ценности западноевропейской культуры и, более того, сформировавшая новую читательскую аудиторию – массового (по тем временам) “среднего” читателя с новой прагматикой и новыми вкусами. Роль польской культуры в этом “русском” деле была столь же большой, сколь и плодотворной, и русская культура хранит благодарную память об этом посредничестве Польши между Западом и Россией» [9. С. 199].

Польское влияние в Москве было тогда действительно сильным. “Западноевропейская цивилизация в XVII в., – писал В.О. Ключевский, – приходила в Москву прежде всего в польской обработке, в шляхетской одежде” [10. С. 372]. В 1671 г. архиепископ черниговский Лазарь Баранович писал, что “синклит царского пресветлого величества польского языка не гнушается, но чтут книги ляцкия в сладость” (цит. по: [6. С. 262]). При русском дворе образуется влиятельная полонифильская партия, в кругах аристократии приличествовало знание польского языка, в библиотеках было много польских книг, образованные люди читали в оригинале художественные произведения Я. Кохановского, В. Коховского, перевод на польский язык Петра Кохановского книги Тассо “Освобожденный Иерусалим” и др.

Симеон Полоцкий при дворе царя Алексея Михайловича воспитывал царских детей, обучая их латинскому и польскому языкам. Первый в России поэт и драматург, писавший по-польски, на латыни и на церковнославянском языке, Симеон Полоцкий выступил проводником западноевропейской культуры в России. Под влиянием произведения европейского масштаба – “Псалтири” Яна Кохановского он создает церковнославянскую версию “Псалтири”, так называемую “Псалтирь рифмотворную” (1680). Его помощником в переложении псалтыри был царевич Федор; читала польские книги и царица Софья. Симеон Полоцкий был встречен в штыки русскими православными ортодоксами. Патриарх Иоаким писал о нем Епифанию Славенецкому, что этот пришелец “из града Полотска, державы крал Польского, знал только по-латыни да по-польски, а греческого же писания ничтоже знаеше”, а потому его силлогизмы суть “веры развращение и тайны истощение” [11. С. 70].

Одним из первых “западников” XVII в. был князь И.А. Хворостинин. Под влиянием польского окружения, в своих прозаических и стихотворных произ-

ведениях, написанных польским силлабическим размером, он поносил царя, называя его “деспотом русским”, и московские порядки. За свои прокатолические убеждения он подвергался преследованиям, дважды ссылался в монастыри. “Это был, – говорит о нем В.О. Ключевский, – своеобразный русский вольнодумец на католической подкладке, проникшийся глубокой антипатией к византийско-церковной черствой обрядности и ко всей русской жизни, ею пропитанной, – отдаленный духовный предок Чаадаева” [10. С. 342].

Раскаявшийся и возвращенный из ссылки в Москву, князь И.А. Хворостинин умер в 1625 г., так и не осуществив своего намерения сбежать за границу, в Литву или Рим. Зато это удалось сделать в феврале 1660 г. сыну знаменитого московского дипломата А.Л. Ордина-Нащокина Воину Афанасьевичу Ордину-Нащокину, посланному отцом с важным поручением за границу. Вместо Ливонии он поехал “в Данциг к польскому королю, который отправил его сначала к императору, а потом во Францию” [12. С. 69]. Воспитанный польскими учителями, В.А. Нащокин был увлечен их рассказами о польской “воле”, о преимуществах западноевропейской цивилизации перед консервативным московским бытом.

Спустя несколько лет после побега Нащокина, в конце 1664 г. бежал в Польшу, а затем в Швецию дьяк посольского приказа Григорий Карпович Котошихин. В Швеции Котошихин написал сочинение о России, содержащее много важных сведений, характеризующих отсталость всего уклада жизни Московского государства XVII в. по сравнению с западноевропейской общественной жизнью. В России, писал, в частности, Котошихин, “для науки и обычая (обхождения с людьми) в иные государства детей своих не посылают, страшась того: узнав тамошних государств веры и обычаи и вольность благую, начали б свою веру отменять (бросать) и приставать к иным и о возвращении к домом своим и к сродичам никакого бы попечения не имели и не мыслили” (цит. по: [10. С. 344]).

Убежденным западником был князь В.В. Голицын, фактический правитель Московского государства в правление царевны Софьи Алексеевны, много сделавший для подготовки России к реформам Петра I. В.В. Голицын бегло говорил на латыни и по-польски, в его библиотеке было множество книг на русском, польском и немецком языках, в том числе русский перевод сочинения выдающегося польского гуманиста Анджея Фрича-Моджевского “*Commentatorium de Republica emendanda*” (1551–1554) о принципах общественного устройства в идеально организованном государстве. Высочайшую оценку способностям и деятельности князя Голицына дал посетивший Москву в 1689 г. в качестве посла польского короля французский дипломат Де ла Невилль. В своих “Записках о Московии” (1698) он подчеркнул стремление Голицына к упрочению связей с Европой, в первую очередь с Польшей, называя его одним из самых умных, воспитанных и великолепных людей, “которые когда бы то ни было были в этой стране, которую он хотел поставить на ту же ступень, что и другие” [13. С. 136]. Голицын, – писал Невилль, – “приказал построить великолепное каменное здание учебной коллегии, вызвал из Греции около 20 ученых и выписал много прекрасных книг; он убеждал дворян отдавать детей своих учиться и разрешил им посылать одних в латинские училища в Польшу, а для других советовал приглашать польских гувернеров, и предоставил иностранцам свободный въезд и выезд из страны, чего до него никогда не было ...

Если бы я захотел письменно изложить здесь все, что я узнал об этом князе, то я никогда бы не смог сделать этого: достаточно сказать, что он хотел заселить пустыни, обогатить нищих, дикарей превратить в людей, трусов – в храбрецов, а пастушеские хижины – в каменные дворцы.

Его собственный дворец – один из самых великолепных в Европе, он покрыт медью, украшен богатейшими коврами и замечательными картинами. Он также приказал построить дом для иностранных послов, что ввело во вкус как знать, так и народ, так что за время его правления в Москве было выстроено более трех тысяч каменных домов" [13. С. 165].

Решительное сближение с Европой осуществляет вступивший на царский трон в 1689 г. Петр I. В числе заслуг Петра, – отмечает Ключевский вслед за Соловьевым, – “соединение обеих дотоле разобщенных половин Европы, восточной и западной, в общей деятельности посредством введения в эту деятельность славянского племени, теперь только принявшего деятельное участие в общей жизни Европы через своего представителя, через русский народ” [14. С. 54]. При Петре I Россия включилась в общеевропейскую политическую и культурную систему, и именно с тех пор в русской культуре интенсивно развиваются те же направления и стили, что и в Европе. Но и петровские, и последующие (Екатерины II, Александра I) “роевропейские” преобразования не привели Россию к политическому “допуску” в круг европейских государств. Посетивший, например, в 1839 г. Россию француз де Кюстин в своих известных “Записках о России” с пренебрежением писал о русских “северных варварах”, “грязных, как лапландцы, невежественных, как дикари”.

Впрочем, с не меньшим пренебрежением Кюстин относился и к другим народам, которые не считал “европейскими”. Он писал, например, о финнах: “Финны, обитающие по соседству с русской столицей..., по сей день остаются... полными дикарями... Нация эта безлика” [15. С. 19]. Точка зрения Кюстина – чем дальше от Парижа на восток, тем меньше “европейскости” – поддерживала расхожий стереотип восприятия России в Европе. Интересно, что примерно в то же время Ф. Булгарин в своих воспоминаниях о финской кампании 1808–1809 гг. писал о финнах, как о примерных христианах, верных блюстителях законов, которые могут “служить примером для гражданских обществ”. Предубеждения по отношению к России были настолько распространены в Европе, что те же финны, по словам Булгарина, “нас почитали дикарями, почти людоедами, кровожадными и хищными, и никак не хотели верить нашему европейскому образованию, почитая всех благовоспитанных офицеров иностранцами или иноплеменными подданными России” [16. С. 465].

Надо сказать, что именно при Петре I влияние “польского европеизма” на русские умы ослабевает, уступая место немецкому влиянию, но и в XVIII в. в России остается интерес к Польше как к представительнице западной культуры. Польский язык знали А.Д. Кантемир и В.К. Тредиаковский, им интересовался и М.В. Ломоносов, который обращался к исследованиям польских историков М. Стрыйковского, М. Кромера, М. Меховского. Произведения самого известного писателя польского Просвещения И. Красицкого начали переводиться на русский язык еще при его жизни, в конце XVIII в. появляются русские переводы комедий Ф. Богомольца и В. Богуславского.

И в XVIII, а затем и в XIX в. Польша оставалась для образованных русских людей своеобразным раздражителем: для одних она была аванпостом западноевропейской цивилизации, для других – олицетворением “латинской ереси”. Если для “русских европейцев” Западная Европа представлялась царством просвещения и источником разума, а ставшие модными в XVIII в. поездки русских дворян в Париж приобретали характер паломничества к святым местам, то для приверженцев русской старины Запад был погибельной, грешной землей еретиков-латинян. И те, и другие представления о Европе имели мифологический характер.

В осознании просвещенными русскими людьми единства Европы и России исключительно важную роль сыграли “Письма русского путешественника” Н.М. Карамзина, впервые опубликованные в 1791–1792 гг. в “Московском журнале”. В то время Карамзин был убежден в едином пути развития России и других европейских стран. Для него “все народное ничто перед человеческим. Главное дело быть людьми, а не Славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для Русских; и что Англичане или Немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то мое, ибо я человек!” [17. С. 254]. В своем исследовании «“Письма русского путешественника” Карамзина и их место в развитии русской культуры» Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский отмечают, что наиболее точную формулу соотношения национального и европейского начал в мировоззрении Карамзина дал в 1911 г. С.Ф. Платонов: “В произведениях своих Карамзин вовсе упразднил вековое противоположение Руси и Европы как различных непримиримых миров; он мыслил Россию как одну из европейских стран и русский народ как одну из равнокачественных с прочими наций. Он не клял Запада во имя любви к родине, а поклонение западному просвещению не вызывало в нем глумления над отечественным невежеством” (цит. по: [17. С. 564]).

Как известно, позднее Карамзин оказался на позициях защиты русской монархии, православной веры и национальной самобытности России. Огромное влияние на развитие русского национального сознания и одновременно на формирование устойчивого образа “коварного ляха” как исторического противника России оказала его “История государства Российского” (1818–1829). Рассказывая о Смутном времени, ее автор писал о “подлых слугах злодея подлого”, о “наглости и коварстве ляхов”, об их “совершенном вероломстве” и корыстолюбии [18. С. 645]. Но в “Письмах русского путешественника” Россия для него – это Европа, Россия и Европа не противостоят друг другу, по отношению к Европе русский путешественник не испытывает ни преклонения, ни ненависти. Однако его попытка отойти от мифологического восприятия Европы не смогла преодолеть уже сложившуюся традицию двойного отношения в России к Западу, которая в XIX в. получила дальнейшее развитие, приведя в “роковые сороковые” (А. Блок) к расколу русского общества на “западников” и “славянофилов”.

Важнейшим идеологическим вопросом в России на протяжении веков было отношение к западному христианству, ближайшим представителем которого была для нее Польша. В знаменитой русской летописи начала XII в. “Повесть временных лет” западные люди – это “не свои”, чужие, отличающиеся от русских нравами и верой, что вызывает осуждение летописцев. Польша же рисуется страной, лишенной благодати. С неприязнью описан польский король Болеслав I Храбрый, в 1018 г. захвативший Киев. Он яко-

бы даже “на кони не могли седеи”, поскольку у него “череве толъстое”. В это чрево, словно нечистой силе, русские ратники угрожали воткнуть “тростие”. В 1030 г. польские мятежники “избиша епископы, и попы, и бояры своя”, а в 1074 г. монахов Киево-Печерского монастыря смущает бес “въ образе ляха” [19. С. 126, 134, 137].

В русских памятниках XVII в., особенно освещающих события Смутного времени и роль в них поляков, Польша предстает противницей “правой веры”, врагом христианства, а значит и России (см. об этом: [20]). Тогда появилось много анонимных и авторских повествований, из которых наиболее обширным и популярным было “Сказание Авраамия Палицына” (1620). В этом сочинении польские интервенты описывались как “скверные кровопийцы”, “скопище сатанинское”, “псы”, “злодеи” и т.п. и, главное, подчеркивалось их иноверие: “окаянные лютеране”, “злочестивые еретики”, “богоборцы”, “враги христианские” [21].

Иноверие поляков подчеркивалось и в таком памятнике русской истории, как “Документы Разрядного приказа о походе А. Лисовского”: “И по повелению и по злomu умышлению недруга и разорителя веры крестьянские Жигимонта короля польского и панов рад пришел в государевы Северские города Лисовской с польскими и литовскими людьми для кровопролития крестьянского...” [22. С. 117].

Характерная для консервативного духовенства оценка западного мира, включающего Польшу, содержится, например, в шедевре русской письменности XVII в. – в “Житии протопопа Аввакума” (около 1673 г.): “мы же, правовернии, сіе блядское мудрованіе Римскаго костела и выблядков его, поляков и Киевскихъ уніятъ, еще же и нашихъ никоніанъ, за вся ихъ нововводныя коби еретическія анафеме трижды предаемъ” (цит. по: [23. С. 192]).

Отношение к полякам как предателям славянства, прислужникам латинского Запада, особенно резко выражавшееся в годы польских национально-освободительных восстаний, отражено и в русской художественной литературе и публицистике, оно воспроизводилось именно по такой схеме в течение нескольких веков вплоть до наших дней. Болезненным эпизодом в истории польско-русских отношений было восстание 1830 г., вызвавшее всплеск антипольских настроений в России (и антирусских в Польше). Неприятие его большинством русских литераторов следует рассматривать в более широком контексте отношений между Россией и Европой. Тогда, как известно, в атмосфере антипольской кампании появилось множество откровенно шовинистических произведений “на злобу дня” (см.: [24]). На их фоне своей историко-философской рефлексией выделяется поэтическая “трилогия” А.С. Пушкина (“Перед гробницею святой...”, “Клеветникам России”, “Бородинская годовщина”). Поэт обращался не столько к уже побежденной Польше (восстание, как известно, было жестоко подавлено), сколько к враждебным России западноевропейским политикам. Радикальные депутаты французского парламента вступились за Польшу и призывали остановить Россию, в том числе силой оружия, преследуя, по мнению Пушкина, свои корыстные цели. У русского поэта, патриота и европейца, сквозит обида на Запад, выталкивающий Россию из европейского круга, как агрессивную и варварскую страну: “И ненавидите вы нас... За что ж?”. Ведь россияне спасли Европу от “тяготеющего над царствами” тирана Наполеона и “кровью искупили Европы вольность, честь и мир...”. Политическая и вполне конкретная направленность

стихотворений Пушкина против вмешательства Запада в “семейные” дела славян не исключила, однако, создания в них психологически негативного образа польских бунтарей. Именно он – такова специфика художественного текста – и укоренился в массовом сознании и был взят на вооружение полонифобами.

Характерно, что даже такой резкий критик истории России и современных в ней порядков, сторонник католицизма и западноевропейской цивилизации, как П.Я. Чаадаев, в “польском вопросе” занял аналогичную пушкинской великодержавную позицию. Об этом свидетельствуют его статья “Несколько слов о польском вопросе” (конец 1831–1832 г.), письмо А.С. Пушкину от 18 сентября 1831 г., в котором он восторженно отозвался об антипольских стихах поэта: “Стихотворение к врагам России в особенности изумительно; это я говорю вам. В нем больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в этой стране” [25. С. 73].

Хотя Чаадаев известен как один из первых русских воинствующих западников, который в своем “Философическом письме” (1836) дал, по его словам, “желчный отзыв о родине”, подчеркнув аномальность развития России по сравнению с Европой, в его высказываниях содержится и убеждение, что в будущем России предстоит сыграть ведущую роль в Европе. В письме от ноября 1835 г. А.И. Тургеневу, отвергая мнение о том, что миссией России является “цивилизовать Азию”, он писал: “Мы призваны, напротив, обучить Европу бесконечному множеству вещей, которых ей не понять без этого. Не смейтесь: вы знаете, что это мое глубокое убеждение. Придет день, когда мы станем умственным средоточием Европы ... ” [25. С. 99].

Для государственника Ф.И. Тютчева борьба российского самодержавия с мятежной Польшей была борьбой за сохранение целостности славянской державы, которой предопределена великая историческая миссия в Европе. Об этом идет речь в стихотворении “Как дочь родную на закланье”, написанном в 1831 г., в связи со взятием Варшавы (опубликовано лишь в 1879 г.). На “роковой удар”, свершенный “над горестной Варшавой”, по словам поэта, Россию одушевило

*Не чревобесие меча
Не зверство янычар ручное
И не покорность палача!
Другая мысль, другая вера
У русских билася в груди:
Грозой спасительной примера
Державы целость соблюсти,
Славян родные поколенья
Под знамя русское собрать
И весть на подвиг просвещенья
Единомысленную рать.*

Тютчев противопоставлял Западной Европе “другую Европу”, Восточную во главе с Россией, правомочную “сестру” христианского Запада, которая может быть гарантом спокойствия Западной Европы, охваченной мятежами и революциями. “В течение целых столетий, – писал он в 1844 г., – европейский Запад с полнейшим простодушием верил, что не было и не могло быть другой Европы кроме его ... Но чтобы существовала другая Европа, восточная Европа, законная сестра христианского Запада, христианская, как

и он, правда, не феодальная и не иерархическая, но по тому самому еще более искреннохристианская; чтобы существовал там целый *мир, единый* по своему началу, солидарный в своих частях, живущий своею собственною органическою, самобытною жизнью – этого допустить было невозможно, и многие поныне готовы в том сомневаться” [26. С. 285].

В этой связи Тютчев считал необходимым объединение славян под эгидой России, которому, как он считал, препятствовали глубокие различия между славянским миром и “крамольно-католическою Польшею – фанатическою последовательницею Запада и постоянно изменницею относительно своих братий” [26. С. 303] (так писал Тютчев в 1848 г.). Мысль об изменниках славянства – поляках проводится и в его стихотворении “Славянам” (1867):

*А между нас, – позор немалый
В славянской, всем родной среде, –
Лишь тот ушел от их¹ опалы
И не подвергся их вражде,
Кто для своих всегда и всюду
Злодеем был передовым:
Они лишь нашего Иуду
Честят лобзанием своим.*

Это написал европеец по своему складу и образу жизни и мыслей Тютчев, который высоко ценил достижения западноевропейской культуры, перевел на русский язык Шекспира, Байрона, Гете, Шиллера, Гейне и многих других западных авторов, возвеличил в стихотворении “Адаму Мицкевичу” гений польского поэта. А заклеив Польшу “Иудой” славянства, он выражал уверенность в том, что:

*Тогда лишь в полном торжестве
В славянской мировой громаде
Строй вожделенный водворится,
Как с Русью Польша помирится...*

Не следует упрощать и позицию славянофилов первой волны. Это были высокообразованные люди, знавшие западную Европу не понаслышке и в разные годы по-разному к ней относившиеся. Один из “отцов” славянофильства, И. В. Киреевский, в начале своей творческой деятельности был убежденным защитником петровских преобразований, издателем (в 1832 г.) журнала с характерным названием “Европеец”, запрещенного цензурой после публикации во втором номере статьи Киреевского “Девятнадцатый век”. В ней содержалась мысль о необходимости преобразований государственного управления в России наподобие европейских. “Какая-то китайская стена, – писал И. Киреевский, – стоит между Россией и Европой и только сквозь некоторые отверстия пропускает к нам воздух просвещенного Запада; стена, в которой Великий Петр ударом сильной руки пробил широкие двери; стена, которую Екатерина долго старалась разрушить; которая ежедневно разрушается более и более, но, несмотря на то, все еще стоит высоко и мешает” [27. С. 361–362]. Он восхищался достижениями польской культуры в XVI и XVII вв., а польскую аристократию эпохи Возрождения считал самой блес-

¹ Имеются в виду западноевропейские политики.

тящей и наиболее образованной аристократией Европы. Перейдя на позиции отстаивания необходимости самобытного развития России на основе православия, И. Киреевский не отвергал с порога западные ценности, а лишь указывал на важные различия в конфессиональных основаниях западной и русской жизни. «Римская церковь в своем уклонении от восточной, – писал он в своей статье “В ответ А. С. Хомякову” (1839), – отличается именно тем же торжеством рационализма над преданием, внешней разумности над внутренним духовным разумом». В то же время, подчеркивал Киреевский, “я совсем не имею намерения писать сатиру на Запад, никто больше меня не ценит тех удобств жизни общественной и частной, которые произошли от того же самого рационализма. Да, если говорить откровенно, я и теперь еще люблю Запад; но в сердце человека есть такие движения, есть такие требования в уме, такой смысл в жизни, которые сильнее всех приятностей жизни и внешней разумности, без которых ни человек, ни народ не могут жить своею настоящей жизнью” [27. С. 297].

Славянофил второй волны Н. Страхов уже в конце XIX в. подчеркивал право поляков гордиться “европейскостью” своей культуры: «Польша от начала шла наравне с остальной Европою. Вместе с другими западными народами она приняла католичество; одинаково с другими развивалась в своей духовной жизни. В науках, в искусствах, в литературе, вообще во всех проявлениях цивилизации она постоянно браталась и соперничала с другими членами европейской семьи и никогда не была в ней членом отсталым или чужим ... Таким образом, поляки могут смотреть на себя как на народ вполне европейский, могут причислять себя к “стране святых чудес”, к этому великому Западу, составляющему вершину человечества и содержащему в себе центральный тон человеческой истории» [28. С. 93].

Польша была в центре интересов петрашевцев, полагавших, что после “прививки” Петром Первым России к Европе “Россия с Европой одно нераздельное, нерасторжимое целое, и поэтому в ней уже естественным ходом вещей стали рождаться сами собой европейские люди. Они рождаются, что ни день, то горсть, что ни десяток лет, то поколение”. Так писал петрашвец А.П. Баласогло в своем “Проекте учреждения книжного склада с библиотекой и типографией” (1845) [29. С. 552–553]. М.В. Петрашевский и его соратники сочувствовали борьбе польского народа за независимость, в их общей библиотеке были многие польские издания, в том числе сочинения И. Лелевеля, Л. Мерославского, Р. Солтыка, А. Гуровского, А. Цешковского и других, в организации Петрашевского состояло много поляков, петрашевцы С.Ф. Дуров, Н.А. Момбелли, А.Д. Толстов переводили А. Мицкевича (см.: [30. С. 77]).

Многим западникам Европа представлялась идеальным пространством, откуда до России доходил свет истины. В своей известной книге “За рубежом” М.Е. Салтыков-Щедрин, например, вспоминал: “С представлением о Франции и Париже для меня неразрывно связывается воспоминание о моем юношестве, то есть о сороковых годах. Да и не только для меня лично, но и для всех нас, сверстников, в этих двух словах заключалось нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь и в известном смысле даже определяло ее содержание” [31. С. 111].

В то же время один из столпов западничества 1840-х годов, яркий представитель русской общественной мысли XIX в. Константин Кавелин пони-

мал приобщение России к Европе не как заимствование готовых образцов, а выработку в собственном национальном сознании “европейского” понимания прогресса, связанного с развитием личностного начала, с пониманием роли в общественной жизни просвещения, науки, цивилизованных отношений между людьми. В своей работе “Наш умственный строй” (1875) Кавелин писал: “Мы считаем себя европейцами и во всем стараемся стать с ними на одну доску. Но, чтоб этого достигнуть в области науки и знания, нам не следует, как делали до сих пор, брать из Европы готовые результаты ее мышления, а надо создать у себя такое же отношение к знанию, к науке, какое существует там ... Очень вероятно, что выводы эти будут иные, чем те, до каких додумалась Европа; но, несмотря на то, знание, наука будут у нас тогда несравненно более европейскими, чем теперь, когда мы без критики принимаем результаты исследований, сделанных в Европе. Предвидеть у нас другие выводы можно потому, что условия жизни и развития в Европе и у нас совсем иные. Там до совершенства выработана теория общего, отвлеченного, потому что оно было слабо и требовало поддержки; наше больное место – пассивность, стертость нравственной личности. Поэтому нам предстоит выработать теорию личного, индивидуального, личной самостоятельности и воли” [32. С. 317]. В этом же духе позднее писал Н. Бердяев о необходимости преодоления в России ее “славянофильского самодовольства и западнического рабства”, ибо, по его словам, “радикальное русское западничество, искаженно и рабски воспринимающее сложную и богатую жизнь Запада, есть форма восточной пассивности” [33. С. 64].

Радикальные русские славянофилы и западники сообща создавали миф о некоем едином типе европейской культуры, отличном от русского типа. Первые считали русскую культуру более духовной, чем “европейская”; вторые идеализировали западный тип культуры, видя в нем образец для подражания. На этом основании, например, в сороковые годы XIX в. славянофил Хомяков упрекал Пушкина в недостатке “русскости”, а западник Белинский – в недостаточном его “европеизме”. На самом же деле подлинный европеизм русской культуры проявлялся в двуедином процессе – приобщении к западноевропейской культуре и национальном творчестве, осознающем национальную самобытность России и тем самым вносящем вклад в общеевропейскую культуру, поскольку не существует абстрактного общеевропейского культурного начала – оно проявляется в культурах, имеющих национальный облик. Своеобразие национального творчества не исключает его принадлежности к общеевропейским ценностям, а раскрывается оно только в сопоставлении с другими национальными культурами, в диалоге с ними. Подтверждением тому деятельность выдающихся представителей русской культуры, в том числе и в первую очередь А. С. Пушкина, ставившего своей целью “в просвещении стать с веком наравне”.

Противопоставление “латинской Польши” и России достигло своего апогея во время восстания 1863 г. и после его подавления. В конце 1860 – начале 1870-х годов появилось множество публицистических, поэтических и прозаических произведений, клеймящих “польскую интригу”. Возглавил травлю Польши известный консервативный публицист Михаил Катков на страницах своей газеты “Московские ведомости”.

Публицисты-славянофилы – братья Константин и Иван Аксаковы, Михаил Погодин, Юрий Самарин, Александр Гильфердинг, близкий славянофи-

лам Николай Данилевский, автор нашумевшего панславистского манифеста “Россия и Европа” (1869), и другие упрекали поляков в “измене”. Они повторяли избитые стереотипы о Польше – “Иуде славянства”, “бастионе латинизма” в славянском мире и т.п. Ю. Самарин, например, писал: “Польша – это острый клин, вогнанный латинством в самую сердцевину славянского мира с целью расколоть его во щепы” (цит. по: [34. С. 144]).

Проблема исторических взаимоотношений между Россией и Польшей рассматривалась славянофилами преимущественно в контексте противопоставления России Западу. Н.Я. Данилевский считал, что “Борьба с Западом – единственное спасительное средство как для излечения наших русских культурных недугов, так и для развития общеславянских симпатий, для поглощения ими мелких раздоров между славянскими племенами и направлениями” [35. С. 472]. С утверждениями Данилевского и его рьяного последователя Н.Н. Страхова об особом и высшем, по сравнению с европейским, русско-славянском культурном типе резко полемизировал известный философ, публицист и поэт В.С. Соловьев. “В славянофильских теориях мы имеем дело не с национальностью, а с национализмом, – писал он. – Это, пожалуй, тоже факт – на манер чумы или сифилиса” [36. С. 256]. Соловьев считал, что “как русская изящная литература, при всей своей оригинальности, есть одна из европейских литератур, так и сама Россия, при всех своих особенностях, есть одна из европейских наций” [37. С. 352]. Русско-польская же распря была, по мнению Соловьева, отражением противостояния России и Западу, преодоление которого возможно только после примирения с Польшей. Путь к такому примирению он видел в сближении польской католической и русской православной церковью (статья “Польша и восточный вопрос”, 1883).

Для славянофилов Польша в славянском мире была форпостом “западной веры”, которой они противопоставляли русское православие, носителя высшего духовного типа и полноты религиозной истины. При всем этом можно сказать, что в основе отношения славянофилов к Западу, в том числе к Польше, лежит своеобразный комплекс самоощущения – комплекс неполноценности, поскольку мерилom русской жизни для них была главным образом западная Европа и та же Польша.

После прихода в 1917 г. в России к власти большевиков Советский Союз от Европы на семьдесят с лишним лет отделил “железный занавес”. В 1920–1930-е годы в советской России велась целенаправленная антипольская пропаганда, создавался образ Польши-врага, прислужницы Запада (см.: [38]). В послевоенные годы были приложены огромные усилия с целью советизации Польши и изоляции ее от Запада. Однако в области культуры политика советской власти своих целей не достигла. Для многих русских интеллигентов Польша оставалась представительницей цивилизованного мира. Пик популярности в России польской поэзии, кино, театра, живописи – 1960-е годы, когда Польша стала для русской интеллигенции, по словам Бродского, “источником культуры”, “информационным каналом, окном в Европу и мир” [39. С. 602]. В эти годы многие в России (в том числе и Бродский) изучали польский язык, чтобы читать доступные тогда польские газеты и журналы, а также современную западную литературу в польских переводах, поскольку “культурная информация, доходившая до России, была невероятно ограниченной” [39. С. 325].

“Польша была поэтикой моего поколения” говорил Бродский в конце своего творческого пути, и эти его слова могут служить эпиграфом к полонофильским симпатиям в русском обществе в 1960–1990-е годы и к реальному присутствию польской культуры в сознании русского читателя и зрителя, бывшей для него примером свободомыслия.

Об этом же свидетельствует и поэт В. Британишский, отдавший десятилетия своей творческой жизни переводам из польской поэзии. В статье “Польша в сознании поколения оттепели” он писал: “Польское окно в Европу было одновременно окном в свободу, в свободу от бесчисленных запретов, из которых состояла наша российская жизнь” [40. С. 195].

В книге воспоминаний Д. Самойлова “Перебирая наши даты” немало страниц посвящено размышлениям о Польше. “Резкая самостоятельность польского самосознания”, польская национальная гордость, которые способствовали в самых неблагоприятных условиях созданию сильной и самостоятельной культуры, явились причиной его любви к Польше. “Любовь к Польше, – по словам Самойлова, – неизбежность для русского интеллигента” [41. С. 277].

В то же время дожила до наших дней и прискорбная традиция уничтожения Польши. В 1997 г. Н. Кузьмин писал о Польше в журнале “Молодая гвардия”: “Польша, лукавая, двуличная, шипящая по-змеиному и по-змеиному же вечно щурившая свои жадные глаза, была мерзкой паршой на всем великом теле восточноевропейского славянства. Исключительно в Польшу бежали все изменники России. Исключительно из Польши появлялись возмутители государственного спокойствия России” [42. С. 25]. Если не знать даты написания этого текста, можно подумать, что он принадлежит перу, скажем, известного полонофоба XIX в. М. Каткова.

Вл. Вишняков в газете “Правда” в 1996 г. называл Польшу “алчной европейской проституткой, надеющейся, что если она угодит кому-то, то ей за это что-то “обломится” [43]. В 2002 г. с обширной полонофобской статьей выступил главный редактор журнала “Наш современник” С. Куняев [44] (ссылки на страницы – в тексте статьи). По его утверждению, “история Европы и ее родной дочери Польши – это история вечно обновляющегося Холокоста. Конечно, нравы с веками смягчаются, но все равно они подчинены генотипу, который и в феодальные, и в пилсудские, и в демократические времена нет-нет да и вылезет из-под благопристойной обложки, как шило из мешка” (С. 87). Мощное польское сопротивление фашизму – это всего лишь “не выдержавший испытания временем миф”, созданный “блистательными польскими кинофильмами” (С. 101–102), польская особенность – это “помнить в истории только пролитую польскую кровь и навсегда забыть чужую” (С. 104) и переплавлять “свои поражения (даже бесславные) в бессмертные легенды” (С. 106). Поляки – это “жестоковейшее племя, ни в чем не уступающее племени еврейскому!” (С. 118). Их “естественная, природная бесчеловечность” тянется “через всю их историю от времен Тараса Бульбы и до Едвабне...” (С. 124). Катынь для Куняева – это провокация новой российской власти, которая поставила перед своими идеологами, историками, политиками задачу “испепелить, стереть из памяти людской, разрушить все победы и все основы советской цивилизации, скомпрометировать все ее деяния, оболгать всю ее историю” (С. 125). Подобные высказывания вряд ли нуждаются в комментариях.

В самой Польше, благодаря конфессии, геополитическим факторам и давно сложившимся связям с Европой, не было столь явного противопоставления Западу, как в России, хотя популярная в XVII в. мифологическая идея о сарматском происхождении польской шляхты способствовала распространению в Польше изоляционизма и ксенофобии, в том числе по отношению к Западу (см.: [45]). Идеология сарматизма и его культура наложили отпечаток на формирование польского национального самосознания и проявляются в нем вплоть до наших дней. Тем не менее Польша всегда самоидентифицировалась с Европой, только вот Запад относился к ней в лучшем случае как к бедной родственнице. Пренебрежительное отношение западноевропейцев к Польше уходит в глубь веков. Приведем один пример. В 1573 г. польским королем был избран брат французского короля Карла IX Генрих Валуа, который уже в следующем году бежал из Польши, чтобы занять французский трон после смерти старшего брата. Придворный поэт Генриха Валуа Филипп Депорт (1546–1605), пробывший вместе с королем в Польше несколько месяцев, писал, прощаясь с Польшей:

*Прощайте вы, о странные хоромы,
Курные избы с крышей из соломы,
Внутри которых люди и скоты
Нашли приют – одна семья большая, –
Златого века прелести вкушая,
Исполненные дикой простоты.*

.....
*О, варварский народ, пустой, кичливый,
Высокомерный, ветреный, болтливый,
Лишь на словах ты проявляешь прыть,
Но завершаешь только храпом пьяным
Свое единоростовство со стаканом,
А Марсом хочешь между тем прослыть!*

(“Прощание с Польшей”, пер. И.А. Лихачева)

Подобное отношение к Польше со стороны Запада, характерное и для других эпох, порождало в польском обществе комплекс национальной неполноценности по отношению к Западной Европе, который оказался устойчивым и проявляется на протяжении всей польской истории. “Меня с души воротит от всех этих славянских неврастений и прибалтийско-карпатских комплексов. Твоя историческая дефективность меня не волнует, она мне омерзела и осточертела”, – заявляет, например, “европеец”, герой драмы С. Мрожека “Контракт” (1986) своему собеседнику, который представляет страну, расположенную “на востоке от Запада и на Западе от Востока” [46. S. 25].

“Те же самые поляки, которые с львиной отвагой всегда выступали в защиту ценностей западной и латинской культуры, никогда не относились к этой культуре по-свойски, – писал в этой связи В. Гомбрович. – Мы слишком славяне, чтобы быть латинянами, и слишком латиняне, чтобы быть славянами” [47. S. 162–163].

Хотя особенности социально-экономического развития Польши сближали ее со странами региона Восточной Европы, в том числе с Россией, польское национальное самосознание формировалось в противостоянии России. Западная Европа, а вслед за ней и Польша практически всегда были настроены враждебно или недоброжелательно по отношению к России. А.Ф. Ке-

ренский в 1942 г. заметил: “С Россией считались в меру ее силы или бессилия. Но никогда равноправным членом в круг народов европейской высшей цивилизации не включали. Границей этой цивилизации были Польша и Скандинавия” (цит. по: [48. С. 105]).

В польской литературе в XVI–XVII вв. создается образ Руси, как страны, где живут дикие люди, которым приписывались наихудшие черты: дикость, невежество, вероломство и т.п. В латиноязычной поэме Себастиана Фабиана Клоновица “Роксолания” (1584) *Russia – Ursia*, т.е. Россия – страна медведей, где живут “дети холодного леса, полудикое племя без законов и принципов” [49. S. 69]. (Характерно, что для Ф. Депорта такой страной является Польша: “*Прощай, о Польша, край равнин безлюдный, под льдом и снегом спящий беспробудно!*”) У Яна Кохановского в поэме “Набег на Москву” (1583) и ряде других произведений “спесивый Москвичанин”, “язычник жестокий” – представитель “враждебного народа”. Веспасиан Коховский называет Москву “ядовитой гарпией”; по мнению Вацлава Потоцкого, ее жители – это “вандалы”, известные своими “нечеловеческими обычаями”, привязанностью к водке и рабской покорностью царю (см.: [50]). Как показали исследования польских и русских ученых, в представлении многих польских авторов того времени Россия была страной варваров. “В мышлении и восприятии, – пишет А. Гейштор, – был определенно создан основной стереотип русского соседа. Это русин-схизматик, отделенный от Европы и католической Польши своей верой и обычаем” [51. С. 23].

Отличия восточного соседа от европейской Польши определялись не только конфессиональными различиями. Терпение и послушание – вот, по мнению многих польских авторов, главные черты национального характера русского народа, противопоставленные свободолобию поляков. Этот мотив был развит в произведениях польского романтизма, который перенял, дополнил и “романтизировал” сложившийся в польской культуре негативный образ России. Канон образа России был создан А. Мицкевичем в “Отрывке” из III части поэмы “Дзяды”. В “Отрывке” из впечатлений “пилигрима” о России складывается картина бескрайней холодной страны. Описание “замороженной” России связывается (не только у Мицкевича, но и у других польских романтиков) с подавлением ею революционных очагов. Тема ледяного холода пронизывает весь цикл. В “Памятнике Петру Великому”, например, “Водопад, исторгнутый из недр гранитных скал, скованный морозом, и висящий над бездной” – это символ тирании, которая боится “солнца свободы”.

В стихотворении М. Гославского, посвященного памяти казненных декабристов, – “На смерть Пестеля, Муравьева и всех погибших за русскую свободу” при характеристике России использованы те же “природные” метафоры: “замерзший берег Невы”, “замороженные холодом просторы”, “природа замерзла и сердца как лед”. Ю. Словацкий в своем “Гимне” (“Богородица! Дева!...”), созданном в дни восстания 1830 г., также писал о “холодном граните Невы”. Г. Эренберг в “Прощании” (1840) выражал надежду на то, что снега удастся растопить: “Растопим снега – разобьем льды”. Образы “ледяного порога”, “глыбы льда” использованы Ц. Норвидом в стихотворениях “Врагу” и “Две Сибири”: “Взываю, отступи, о глыба ледяная! Доколе под тобой я буду умирать?...”.

В этой промерзшей стране, по Мицкевичу, все подчинено воле царя-деспота. В ней люди “подобны донине земле их – пустынной и дикой равнине”², а глаза их “чужды смятенью” и “грусти состраданья”, “пусты и безлюдны”. К этому “обездоленному народу” поэт обращается со словами сочувствия и горького упрека: “Как жаль тебя, как жаль твоей мне доли! Твой героизм – лишь героизм неволи”. Покорные люди согласны на тиранию, на “мундир, этап, Сибирь, остроги, плети”, у них отсутствует стремление к свободе, к избавлению от рабства.

Такому видению русского народа можно найти аналогии в русской мысли того времени. М. Погодин, например, определял основное свойство русского народа как “безусловную покорность, равнодушие”. Но у Погодина эти приписанные русскому народу качества выступают как безусловно положительные, используются для обоснования ультраконсервативной монархической концепции. У Мицкевича же оценка, разумеется, противоположна. Терпеливую покорность, рабскую психологию он считал злом, причиной страданий России, но все-таки не считал их коренным, органическим свойством русского человека. Достаточно вспомнить известные слова из проекта его воззвания к русским (1832): “Русские не могли бы долго быть слепыми орудиями деспотизма, они помнят давние славянские свободы, у них есть чувства благородства и чести” [52. Т. VI. S. 165]. Повиновение угнетателю Мицкевич (и в этом его коренное отличие от Погодина) считал свойством не врожденным, а навязанным определенными историческими обстоятельствами. Описывая в парижских лекциях пассивную покорность народа царю во время жесточайших репрессий Ивана Грозного, Мицкевич не соглашался с теми историками, которые считали, что в ее основе лежало религиозное чувство привязанности к “помазаннику божьему”. Он утверждал, что “эта особая привязанность не основана на какой-то моральной идее; ее привили москвичанам монголы”, что “монгольское чувство проникло постепенно в сердца москвичан” [52. Т. IX. S. 81]. Идея о губительном влиянии монгольского ига на русский характер была довольно популярна у русских литераторов во времена Мицкевича. Важно, что Мицкевич не связывал “монгольское влияние” с будущим России. Во всяком случае, в “Дороге в Россию” при описании русских людей он оставляет открытым вопрос:

*Когда же свободы заря заблестит, –
Дневная ли бабочка к солнцу взлетит,
В бескрайнюю даль свой полет устремляя,
Иль мрака создание – совка ночная?*

Возможность возрождения русского свободолюбия Мицкевичем в “Отрывке” если не предполагается, то во всяком случае не исключается. Об этом говорят и заключительные строки “Памятника Петру Великому”:

*Но если солнце вольности блеснет
И с запада весна придет к России –
Что станет с водопадом тирании?*

В центре “дикого пространства”, описываемого в “Дороге в Россию” и других частях “Отрывка”, – Петербург, “новый Вавилон”, город, “построенный сатаной”, огромная казарма, в которой вымуштрованы не только вой-

² Все стихотворные переводы из “Отрывка” принадлежат В. Левикю.

ска, но и все ее обитатели. Символично изображение поэтом петербургского наводнения 1824 г. – это наказание, посланное свыше, которое предвещает неизбежный в будущем крах деспотической системы. Тиранический произвол, господствующий в России, олицетворяет для автора “медный всадник” – памятник Петру Великому. Естественно, что внимание поэта привлек один из ключевых вопросов русской истории – реформы Петра I и личность преобразователя. И в “Отрывке”, и в целом ряде лекций деятельность Петра он оценивает отрицательно. Вместе с тем Мицкевич признает эпохальное значение петровских реформ, значительность их последствий. И в этом он полностью сходится со всеми русскими историками и литераторами, писавшими о Петре, независимо от их отношения к царю. “С Петра Великого, – говорил Мицкевич, – начинается современная история России” [52. Т. X. S. 71].

Пушкин в “Истории Петра” отрицательно оценивал варварские средства, применявшиеся царем при осуществлении преобразований, “тиранские указы”, которые “жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом...” [53. С. 323]. Невольно вспоминается определение Мицкевича из “Памятника Петру Великому”: “Венчанный кнудержец”. Личность Петра уже в “Отрывке” Мицкевич наделяет демоническими чертами. В лекциях упоминается о том, что накануне рождения Петра поговаривали, что “Россия увидит Мессию или антихриста”, Петр сравнивается со “злыми духами из народных легенд” [52. Т. X. S. 72]. У Пушкина в начале “Истории Петра” прямо сказано: “Народ почитал Петра антихристом”. Есть и другие совпадения. Пушкин писал о том, что “Петр презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон” [53. С. 12]. У Мицкевича мы встречаем: “Петр, окруженный клеветами, несомненно, из общения с ними вынес презрение к людям” [52. Т. X. S. 73]. Возможно, что такие совпадения являются эхом бесед, которые могли вести два поэта во время пребывания Мицкевича в России.

Уже в XVI – начале XVII в. появляются высказывания о превосходстве духовной и политической культуры Польши, страны, принадлежащей – в отличие от Руси – к Европе, а не к Азии (см.: [54]). С тех пор комплекс превосходства над восточным соседом сопутствует всей истории польского общественного сознания. На фоне тяжбы с Россией в период “смуты” и затем в XIX в. Польша отождествляет себя с Европой, претендуя на роль ее форпоста в охране европейских ценностей от восточных варваров. “Между Россией и Европой существует принципиальный разрыв, могущий превратиться в пропасть”, – писал в 1857 г. в своей книге “Россия и Европа. Польша” известный политический деятель, философ и публицист Хенрик Каменьский. По его мнению, сближению Европы с Россией могли бы способствовать поляки – “народ, который превосходит Россию и видит ее насквозь” [55. S. 184–185].

С так называемой туранской теорией о неевропейском, азиатском происхождении русских в 1859 г. выступил Францишек Духиньский. Тогда же в Польше народился стереотип “русского медведя”, охотно используемый публицистами вплоть до наших дней.

“Прочь в Азию, потомки Чингисхана” – эти слова из песенки времен январского восстания 1863 г., популярной в Польше во все времена, передают устойчивый стереотип польского массового сознания о низком цивилизационном уровне московской “Варварии”. Это убеждение компенсировало собственные комплексы, ибо национальное самоопределение, как правило, осуществляется при сопоставлении “своего” с “чужим”. Для Польши, не одно столе-

тие пребывавшей в конфликте с Россией, она выступала раздражителем, необходимым для самосознания. При сравнении с Россией явно или скрыто проступало желание подчеркнуть “западность”, “европейскость” Польши, ее превосходство над российскими “азиатчиной” и “варварством”. “Поляки, – отмечал Чеслав Милош, – ощущали свое превосходство благодаря своим традициям, католическому кодексу морали, принадлежностью к Западу” [56. S. 130]. Еще раньше об этом же писал Н. Бердяев: “Польша шла на русский Восток с чувством своего культурного превосходства. Русский духовный тип казался полякам не иным духовным типом, а просто низшим и некультурным состоянием” [33. С. 154].

Устойчивая традиция высокомерного взгляда на Россию в польской литературе сохранилась во многих книгах и очерках о современной России, которая априорно рассматривается как чуждая Европе и Польше агрессивная империя, будь то империя Ивана Грозного, Сталина, Ельцина или Путина. В любом случае эта империя держит в узде своих сограждан и нагоняет страх на окружающие народы. «О России в 90-е годы в Польше написано и сказано много неумных слов, а еще больше чудовищных глупостей, – заметил обозреватель журнала “*Twórczość*”. – Иногда создается впечатление, что у нас существует административная потребность в негативном образе современной России, который должен улучшить наше самоощущение или же уменьшить постоянно присутствующие опасения перед могучим соседом с востока» [57. S. 145].

Типичным примером такого стереотипного идеологического мышления о России, отказывающего ей в принадлежности к европейской цивилизации, является книга Крыстыны Курчаб-Редлих “Пандрёшка” [58] (ссылки на страницы указываются в тексте статьи). Взгляд со стороны, как известно, полезен. То, что кажется нам обычным, в глазах постороннего наблюдателя выступает в ином, более контрастном свете. Но это происходит в тех случаях, когда наблюдатель стремится быть объективным, а не подходит к изображению чужой жизни с классически стереотипных позиций. Используя стертые клише, автор “Пандрёжки” заранее был готов увидеть дикую, нецивилизованную Россию и создал образцовый негативный польский миф о России, выражающий и антипатию, и страх, искажающий перспективу видения. Это порождение польских комплексов по отношению к России и своего рода модель стереотипного мышления, которое подменяет анализ новой ситуации наложением на новую действительность старой схемы. Изменяющийся мир требует приложения умственных усилий, но есть готовый аршин. Он позволяет сохранить психологический комфорт, рассуждать свысока, подчеркивать свое моральное и цивилизационное превосходство над “чужим”.

Направленность книги определяет ее зачин: “Россия – пространство не для нормального туриста. И не для нормального человека. Единственные иностранцы, которые сидят здесь добровольно – это чокнутые поэтические натуры и психические калеки... Ни одна русская душевная или материальная категория нигде не имеет соответствия. НИЧТО ЗДЕСЬ НЕ ПОХОЖЕ НА ТО ЖЕ САМОЕ ГДЕ БЫ ТО НИ БЫЛО” (S. 8).

Россия для Курчаб-Редлих – это “современная матрешка: сверху веселая русская баба с кривоватой улыбкой, а внизу ящик Пандоры – сплошные несчастья. Чем дальше смотрю я на нее, тем печальнее и измученней она мне кажется, хотя она и улыбается – это ведь русская матрешка, веселая, хоть и несчастная. Этакая Матрешка-Пандрежка...” (S. 42).

В сравнении с Европой Россия – страна насилия. “Костры священной инквизиции, англичане в колониях, французы в Алжире, ОАС и гаррота исчерпали, по-видимому, порывы жестокости истинных христиан. Даже гитлеровское гестапо не было течением настолько всеобщим и поглощающим, настолько глубоким и так наполненным гейзерами ужасов, подлости и трагизма, как те, которые хлещут во всех местах истерзанной русской земли” (S. 170). На многих страницах книги описываются факты произвола над личностью в современной России. Тщательно собранные воедино по газетным публикациям, они призваны доказать тезис о том, что в стране царит террор похлеще фашистского или сталинского.

Как выглядит современная русская жизнь в глазах автора? “Русские реформы 90-х годов – словно помой из демократической кухни. Куски парламентского строя, свободы слова, рыночной экономики плавают тут в нечистотах от тоталитарной власти, в воровстве, преступности и в циничном презрении к народу, который в массе своей еще не вырос в общество, а остался демографической статистической единицей” (S. 79). “Пока еще Россия – это феодальное государство, сдирающее шкуру с простых людей с помощью налоговой милиции в масках и с автоматами” (S. 80). Президент России В.В. Путин, “Великий Гипнотизер”, как именует его Курчаб-Редлих, разумеется, не легитимен. Поскольку русский избиратель осуществлял свой выбор в умопомрачении, под гипнозом “великой антитеррористической операции с могущественным международным терроризмом” в Чечне (так с потугами на иронию пишет автор), “выборы следовало бы признать недействительными” (S. 284). Президента поддерживают никчемные люди. У министра Сергея Шойгу “серьезные проблемы и с русской грамматикой, и с русской историей”, а лицо и манеры поведения чемпиона мира по борьбе и политического деятеля Александра Карелина “словно скопированы с наших пращуров” (S. 285).

В России произошло полное падение нравов. “Тотальное смешение понятий добра и зла, кича, хорошего вкуса, честности и подлости впиталось в психику и в почву посткоммунистической России” (S. 34). Не случайно у россиян якобы в ходу поговорки: “чужое горе – тройная радость” (S. 41, 70); “наглость – второе счастье” (S. 71). “Согласие с нечестностью закодировано в людях” (S. 77). «Крадет президент, мер, губернатор, директор, каждый, кому что-нибудь “само ползет в руки”» (S. 79). “Женщины презирают мужчин, мужчины не уважают женщин” (S. 91). “Моральная индифферентность” женщин, которым все равно, откуда у мужчины деньги, “заработаны или украдены” (S. 93).

Православие. “Строгость православного обряда мало привлекательна: надо часами стоять в церкви, бить головой о землю в бесконечных поклонах, а освещающие святыню свечи отбирают у общения с Богом даже тень интимности” (S. 58). Тем не менее, автор зачем-то участвует в обряде крещения, выступая крестной матерью, хотя и не умеет “по-ихнему перекреститься”, а православного священника без всяких к тому оснований упорно называет Савонаролой – только потому, что он “горел верой” (S. 63).

У русских нет никакого понятия о красоте и эстетике. Их вкус “воспитан уродством”. Гостиница “Москва” – “серое унылое здание” (S. 34). Театр – тоже плох. Дурную пьесу в “Современнике” можно поставить потому, что режиссер Галина Волчек «принадлежит к “друзьям дома” могущественного московского мера – Юрия Лужкова» (S. 87).

Быт москвичей. “Вонь в подъездах – здесь норма” (S. 13). В 1990 г. “частный автомобиль в Москве был редкостью” (S. 27). “То, что в России называется благородным словом колбаса, оскорбляет само это понятие” (S. 28). Московским хот-догам “далеко до европейского образца”, а употребление в пищу беляшей “грозит смертью или инвалидностью” (S. 36). За столом не подают ножей, русская кухня – “продукт нищеты, презрения к еде, к дому и традиции” (S. 96). За столом все чавкают – «чавкает (с небольшими исключениями) рабочий класс, трудовая интеллигенция и “новые русские”. И пьют, не вынимая ложечек из стакана или кружки» (S. 97). “Буылка – единственное убежище для чести. Без литра не разберешься, в него можно спрятать постоянное отступление, бегство от мужества, унижение” (S. 105).

Отдых москвичей. Тишина на русских пляжах производит на автора неприятное впечатление, потому что она результат требования дисциплины (S. 22). Развлечения в парке культуры “немногим более привлекательны, чем похоронная процессия”, купание в Клязьминском водохранилище (“Бухта радости”) возможно для автора только под страхом смерти (S. 26).

Ради красного словца и дискредитации страны допустимы преувеличения. При всем идиотизме советской власти для выезда за границу все же не требовалось заполнять многостраничных анкет с вопросами о “прабабке со стороны дяди”, как утверждает автор (S. 23). Самоубийство Маяковского, – авторитарно заявляет Курчаб-Редлих, – это выдумка. Его, конечно, застрелили. К тому же “при участии любимой Лили Брик” (S. 51). «Безграмотность ликвидировали, чтобы читать “Собрание сочинений” Ленина» (S. 98).

По мнению автора, этот жалкий народ ни на что не способен, даже выйти на демонстрацию (невдомек ему, что стихийные демонстрации в Москве собирали более 100 тыс. человек), разве что на похороны Сахарова: “сплотиться, чтобы плакать, каяться, просить прощения у гроба – это да. И опрокинуть в кухне стакан водки, смешанной со слезами” (S. 73).

Будущее русского народа печально. “И будет этот разъединенный народ биться в конвульсиях очередного несчастья, уготованного очередным правителем” (S. 74).

Бесконечное варьирование негативного стереотипа не приводит к лучшему познанию и пониманию соседа. Да это и не является целью книги, автор которой стремится скорее осмеять увиденное, нежели познать его. К сожалению, эта русофобская книга широко рекламировалась в польской печати и даже на презентации в Польском Институте в Москве. Единственным, кажется, исключением была критическая реплика А. де Лазари, который писал о том, что «Крыстына Курчаб-Редлих должна ездить на Запад. В России все ее раздражает: запахи, дома, улицы, столовые, официантки, пирожки, цены, священники... Единственное приятное воспоминание: “я пообедалась черной икрой, зажмурился глаза” – но тоже подпорченное: “не только от удовольствия, но и чтобы не видеть типа, сидевшего напротив» [59].

Как видно, Курчаб-Редлих подстать Куняеву, польский русофоб не уступает русскому полонофобу. Нельзя не видеть при этом, что за взаимными агрессивными-мифологическими представлениями о соседе скрывается стремление возвысить достоинства собственной нации. Мы подробно остановились на книге Курчаб-Редлих, ибо она является характерным примером умонастроений немалой части современного польского общества. Известный польский политический деятель Данута Ванек констатирует: «Страх перед

Россией и одновременная уверенность в том, что она “ниже” Западной Европы, распространены, к сожалению, сейчас не только в мышлении некоторых кругов и в будничных высказываниях, но и среди интеллигенции, создающей общественное мнение» [1. С. 8].

Миф Европы и сопряженный с ним “польский миф” до конца XX столетия был в России одним из центральных историко-культурных мифов. Сегодня он серьезно видоизменяется. Это связано, в первую очередь, с новой ролью в мире США, породившей в массовом сознании миф Америки, помещаемой, впрочем, все на том же Западе, а также с интеграционными процессами в Европе. Но это уже тема другой статьи.

Конкретная история просуществовавшего не одно столетие и постепенно уходящего в прошлое мифа раскрывается во многих частных его проявлениях. Нами были рассмотрены лишь некоторые из них. Они свидетельствуют о том, что в России, которую Запад не считал “своей”, “европейской” страной и которая сама часто сомневалась в своей принадлежности к Европе, а иногда и отказывалась от нее, постоянно отвергались мифологические представления об особой судьбе и особой миссии России. Для большинства мыслящих людей несомненно, что Россия – это европейская страна, развивающаяся в русле европейской культуры, что не означает отказа от собственных традиций и национального своеобразия. Немалую роль в приобщении России к западному миру сыграла Польша, которая, хотя и была “окраиной Европы”, ощущала себя ее представительницей и таковой воспринималась в России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Новая Польша. 2003. № 3.
2. Лихачев Д.С. О русской интеллигенции // Новый мир. 1993. № 2.
3. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1971.
4. Федотов Г.П. Россия и свобода // Знамя. 1989. № 12.
5. Герцен А.И. О развитии революционных идей в России. Соч. М., 1956. Т. III.
6. Плеханов Г.В. История русской общественной мысли. М., 1914. Т. 1.
7. Мочалова В.В. Польская тема в русских памятниках XVI в. // Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000.
8. Nowak J.R. Myśli o Polsce i Polakach. Katowice, 1994.
9. Топоров В.Н. Андрей Белоблоцкий – “Пентатеугум У. Сон жизни человека или суета”. Русский язык – польский язык: борьба и согласие (страничка из ранних русско-польских литературных связей) // “Путь романтический совершил...”. Памяти Бориса Федоровича Стахеева. М., 1996.
10. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. Книга вторая. М., 1993.
11. Остен. Памятники русской духовной письменности XVII в. Казань, 1865.
12. Соловьев С.М. Сочинения. История России с древнейших времен. М., 1993. Т. 11–12.
13. Де ла Невиль. Записки о Московии. М., 1996.
14. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. Книга третья. М., 1993.
15. А. де Кюстин. Россия в 1839 году. В 2-х т. М., 1996. Т. 1.
16. Булгарин Ф. Воспоминания. М., 2001.
17. Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1984.
18. Карамзин Н.М. История государства Российского. СПб., 2000. Кн. III.
19. Древнерусская литература. Восприятие Запада в XI–XIV вв. М., 1996.
20. Мочалова В.В. Polska i Polacy oczyma Rosjan w wieku XVII // Wizerunek sąsiadów. Polacy w oczach Rosjan – Rosjanie w oczach Polaków. Warszawa, 2000.
21. Сказание Авраамия Палицына. М.; Л., 1955.

22. Памятники истории Восточной Европы. Источники XV–XVII вв. Москва; Варшава, 1995. Т. I.
23. *Успенский Б.А.* Избранные труды. М., 1994. Т. 1.
24. *Хорев В.* Польское восстание 1830 г. и развитие стереотипа восприятия Польши в русской литературе // *Polacy a Rosjanie. Поляки и русские.* Warszawa, 2000.
25. *Чаадаев П.Я.* Полн. собр. соч. и избранные письма. М., 1991. Т. II.
26. *Тютчев Ф. И.* Россия и Германия // Полн. собр. соч. Ф.И. Тютчева. СПб., 1913.
27. Иван и Петр Киреевские в русской культуре. Калуга, 2001.
28. *Страхов Н.Н.* Роковой вопрос // *Страхов Н.Н.* Борьба с Западом в нашей литературе. Киев, 1897. Кн. 2.
29. Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. М., 1958.
30. *Дьяков В.А.* Славянский вопрос в общественной жизни дореволюционной России. М., 1993.
31. *Салтыков-Шедрин М.Е.* Полн. собр. соч. М., 1972. Т. 14.
32. *Кавелин К.Д.* Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989.
33. *Бердяев Н.* Судьба России. М., 1990.
34. *Филатова Н.М.* Польша в синтезе российской историографии (Карамзин – Соловьев – Ключевский) // *Polacy w oczach Rosjan.* Warszawa, 2000.
35. *Данилевский Н.Я.* Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. СПб., 1888.
36. *Соловьев В.С.* “Неподвижно лишь солнце любви...”. Стихотворения. Проза. Письма. Воспоминания современников. М., 1990.
37. *Соловьев В.С.* Национальный вопрос в России. Выпуск первый // *Соловьев В.С.* Сочинения в двух томах. Т. 1. Философская публицистика. М., 1989.
38. *Хорев В.А.* Стереотип поляка в русской литературе XX в. // Славянские литературы, культура и фольклор славянских народов. XII международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1998.
39. *Иосиф Бродский.* Большая книга интервью. М., 2000.
40. Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание. М., 2000.
41. *Самойлов Д.* Перебирая наши даты. М., 2000.
42. *Кузьмин Н.* Возвращение к роднику // Молодая гвардия. 1997. № 2.
43. Правда. 1996. 28 марта.
44. *Куняев С.* Шляхта и мы // Наш современник. 2002. № 5.
45. *Лескинен М.В.* Мифы и образы сарматизма. Истоки национальной идеологии Речи Посполитой. М., 2002.
46. *Mrozek S.* Kontrakt // Dialog. 1986. № 1.
47. *Gombrowicz W.* Polska a świat łaciński // Dzieła. Т. XIII. Kraków, 1996.
48. *Шахназаров Г.* Современная цивилизация и Россия. М., 2003.
49. *Klonowicz S.F.* Roxolania. Warszawa, 1996.
50. *Bystroń J.* Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Warszawa, 1976. Wyd. 3.
51. *Гейштор А.* Образ Руси в средневековой Польше // Культурные связи России и Польши XI–XX вв. М., 1998.
52. *Mickiewicz A.* Dzieła. Warszawa, 1955.
53. *Пушкин А.С.* Собр. соч. в 10-ти т. М., 1962. Т. 8.
54. *Małek E.* Где лежит Россия? (Несколько замечаний о том, как поляки видели и описывали москвитов) // *Polacy w oczach Rosjan – Rosjanie w oczach Polaków.* Warszawa, 2000; *Мочалова В.В.* Представления о России и их верификация в Польше XVI–XVII вв. // Россия – Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре. М., 2002.
55. *Kamieński H.* Rosja i Europa. Polska. Warszawa, 1999.
56. *Miłosz Cz.* Rodzinna Europa. Kraków, 1994.
57. *Paźniewski W.* Cywilizacja Pacyfiku // Twórczość. 2000. № 1.
58. *Kurczab-Redlich K.* Pandrioszka. Warszawa, 2000.
59. *A. de Lazari.* Antyrosyjska obsesja // Rzeczpospolita. Dodatek Plus–Minus. 2000. 15–16. IV. № 90.



© 2004 г. Л. А. СОФРОНОВА

МИФОЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗА ЕВРОПЫ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ XVIII ВЕКА¹

Мифу, этой константе культуры, сопутствуют новые мифологии, складывающиеся в разные эпохи и существующие довольно длительное время. В них нет информации о мире и человеке в целом. Их объект – частности, привлекающие внимание общества на конкретном временном отрезке. Новая мифология не вписана ни в вечность, ни в космос. Она принадлежит конкретному пространству, нацелена на описание существующей реальности; в ней происходит осмысление этой реальности на языке мифа, а смысловые коннотации не только мифологического происхождения существенно дополняют его, образуя некий семантический комплекс, который никогда не характеризуется устойчивостью. Так устроены и российские представления о Европе. Перед тем как рассмотреть те из них, которые бытовали в 30–40-е годы XVIII в., кратко скажем о том, как предшествующая эпоха воспринимала окружающий ее мир.

Долгое время основное внимание уделялось Азии. Европа воспринималась как переходная зона; ее упоминали, когда рассуждали о странах света или частях земли, хотя уже возникали и законченные картинки чужих, западных, быта и нравов. В “Книге, глаголемой Козмографией” о Польше и Литве, например, сказано, что подданные там живут вольготно и безбоязненно и господ своих не слушают. Затем проявлялся более последовательный интерес к культурному облику чужих стран. Так, по словам А.С. Демина, развивалась “этническая зоркость” русской культуры. Она представляла “чужое” как противопоставленное “своему”. Это “чужое” несло в себе опасность, прежде всего в конфессиональном отношении. Таким образом, противопоставление “своего” и “чужого” существенно дополнялось противопоставлением истинной и ложной веры. К XVIII в. эти две пары противопоставлений достроились оппозицией старое/новое. Она также участвовала в формировании образа Европы. Несмотря на мощное развитие светской культуры, была сделана попытка вписать ее в рамки христианского космоса. Отнюдь не рай стал художественной дефиницией Европы – петровские инновации, как известно, воспринимались как дьявольские ухищрения, а сам царь как антихрист. Напомним, что “чужое” всегда связывалось с дьяволом.

Софронова Людмила Александровна – д-р филол. наук, зав. отделом истории культуры Института славяноведения РАН.

¹ Работа выполнена при поддержке РГНФ № 03-04-00122а.

Потому он внешне выглядел как “чужой”: появлялся в зооморфном образе, который затем сменился образом чужеземца в немецком платье. Так по отношению к Европе реализовались значения нескольких оппозиций. В комплексе их значений происходила мифологизация Европы, и религиозные термины, на которых она основывалась, сменялись светскими. Происходило это не сразу. Для этого был необходим этап приживания европейского в русском, на котором произошла бы спецификация знаний о чужом. Она состоялась – описание жизни других народов перешло в ведение науки; “литература ... занялась изображением специфических литературных персонажей – шведов, немцев, французов, итальянцев, испанцев, турок” [1. С. 564]. Эти процессы шли не только на высоком уровне культуры, но и на среднем, который принял тему Европы, пока не рефлектируя ее. Рассмотрим, как она проводилась в литературе и театре, светском и школьном. Этот материал позволяет увидеть, как не в ядре культуры, а на ее периферии происходило узнавание, усвоение и присвоение чужого (см.: [2. С. 97]), что обеспечивало его широкое распространение.

Литература была одним из путей секуляризации культуры в целом. Уже в XVII в. она освоила европейский рыцарский роман, адаптировала его и запустила в массы читающего населения. Этот тип литературы был востребован, о чем свидетельствует неоднократность переводов. “Сколь бы ограничена она ни была и по своему содержанию, и по своему социальному адресату, она получает определенную автономию, и именно это представляет собой наиболее важную инновацию” [3. С. 62]. Переводные произведения вливались в культурный фонд и уже не распознавались как нечто чуждое, в чем видится продолжение древнерусской традиции. Адаптированные романы постепенно превратились в народные книги, привлекавшие своей занимательностью. Эта категория, бывшая ведущей в то время, стала своеобразным пропуском для всего европейского. Таким образом, оппозиция свой/чужой по отношению к переводному роману не активизировалась. Как пишет М.П. Одесский, “при анализе старинной литературы не совсем корректно придерживаться современных представлений о своем/чужом, российском/иностранном” [2. С. 9], что совершенно справедливо. Кроме того, при усвоении европейского романа продолжит действовать оппозиция сакральное/светское. Она, расчерчивая культурное пространство эпохи, сочетается с оппозицией старое/новое. Переводной роман полностью соответствует представлениям о светском и новом, потому и является своеобразным толчком к мифологизации Европы, но уже в светских измерениях.

Адаптированные романы образуют ядро светской культуры, где интенсивно происходит присваивание “чужого”. Читатель принимает их и не возражает против того, что герои носят иностранные имена, пребывают в заморских странах. Напротив, “иностранность” только привлекает новизной и вымыслом. Читатель не требует русификации и довольствуется тем, что имеет. Романы укрепляются в культурном обиходе настолько, что их персонажи становятся героями лубочных картинок и переходят в фольклор. Связь сказки с романом общеизвестна. Читатель опознает романы как близкие сказке, а роман неуклонно к ней приближается. Это не мешает узнаванию других обычаев и нравов, новых правил отношений между людьми, пока только начинающих артикулироваться в России. Переводные романы, таким образом, участвуют в строительстве нового типа культуры.

Здесь следует отметить один важный культурный парадокс. Массовый читатель, черпая из переводных романов знания о Европе, перемещается во времени. События, воссозданные в романах, никак не соответствуют современной европейской культурной ситуации, а относятся к иным эпохам, не совпадая во времени ни с русской, ни с западноевропейской культурной ситуацией XVIII в.. То же наблюдалось в древнерусской литературе, которая в “XI–XII вв. больше рассказывала об отдаленном прошлом чужих народов, чем об их настоящем, – в переводных житиях, повестях ... Современное состояние других народов интересовало писателей только попутно с русскими делами – в основном в летописях” [1. С. 555]. Перед читателем разворачиваются картины европейского рыцарского средневековья, с которым он знакомится основательно. Конечно, традиции средневековья еще продолжали существовать в XVIII в., но все же именно тогда Европа рассталась с ним окончательно. Для русского читателя средневековье еще подспудно длилось, и потому он легко воспринимает его западноевропейский вариант в художественной форме, естественно, по-своему. Заимствованные формы, т.е. роман, включают в действие механизм культуры, который В.М. Живов называет механизмом неадекватного перевода с одного языка культуры на другой, который именно в силу своей неадекватности приобретает творческий характер (см.: [3. С. 62]). Эти свойства переводного романа позволили ему прижиться в России и стать главным проводником знаний о Европе для широких читательских масс. Они поддерживаются, подпитываются изменениями, произошедшими в русской жизни. Государственная жизнь становится публичной, оформляется по европейским образцам, что наблюдает не только двор, но и широкие слои населения. Европейский политес и мода становятся известны настолько, что осмеиваются в лубочных картинках, ср. каталог “Представь мне щеголя ...” [4]. В нем приведены картинки, изображающие кавалера с дамой, их модные прически и костюмы, жесты и позы щеголей и щеголих. Потому читателю было нетрудно представить себе, как выглядят герои переводных романов. Он уже не недоумевает, по какой причине сражаются рыцари на турнирах, кавалеры на дуэлях и что такое бал или ассамблея.

Не меньшее значение, чем литература, в плане распространения знаний о Европе, пусть условной и отдаленной во времени, имел театр, так называемый охотничий, или любительский (см.: [5]). Появившись в эпоху Анны Иоанновны, он продолжал существовать и позднее, был массовым видом искусства и пользовался популярностью среди московского населения самых разных слоев. Этот театр никак не реагировал на петербургскую придворную театральную жизнь и существовал самостоятельно. Если в Петербурге она строилась в соответствии с требованиями организаторов и создателей культуры нового типа, то в Москве развивалась по-своему, тесно смыкаясь с литературой, а именно – с переводными романами и повестями. Можно сказать, что театр продублировал их информацию о Европе, переведя ее в визуальный ряд. Повторение сюжетов на сцене еще в большей степени позволило прижиться европейским мотивам и способствовало их повсеместному усвоению.

Со сцены любительского театра европейские новшества становятся известными не только кругу читающей публики. При Петре, “сделавшись элементом публичной жизни, секулярная культура получает совершенно новую роль: она больше не услаждает немногих, а воспитывает общество целиком

или, во всяком случае, ту его часть, до которой дотягиваются руки утверждающей новую культурную парадигму власти” [3. С. 65]. До любительского театра эти руки не дотягиваются, но тем не менее и он воспитывает публику, но делает это совершенно иначе, чем культура официальная. Его уроки давали представления о европейской жизни. Зрители не только наслаждались зрелищем, но и воспринимали, пусть заочно, некий европейский опыт, необходимый для формирования новой мифологии. Театр для этого располагает большими возможностями, чем литература. Он адаптирует ее сюжеты для сцены, перекладывает с языка прозы на язык зрелищного искусства, переводит слово в действие. Перед зрителем разворачиваются события, которые он уже хорошо знает из переводных романов. Литературные герои на сцене приобретают реальный облик, совершают действия и вступают в конфликты, разворачивающиеся на глазах у зрителей. Они не воспринимают это зрелище как экзотическое или непонятное. Сюжеты и герои были для них своими, привычными. Ф. Ф. Вигель в своих “Записках” однажды сказал, что успехи театра “тесно связаны с успехами нашей словесности” [6. С. 97]. В 30–40-е годы XVIII в. связь эта была прямая.

Очевидно, что знакомство с изящными кавалерами, которых за военные доблести награждают пристойными презентами, кавалерами, соблюдающими политес, сражающимися на турнирах и дуэлях, отправляющимися завоевывать дальние страны и прекрасных принцесс, с фельдмаршалами и карсарами не было особенно продуктивным для современного состояния культуры. Зритель, как и читатель романов, следил за теми сюжетами, которые в Европе уже вошли в культурный фонд, но никак не были ее современным достоянием. Зато представления о Европе в целом доносились до зрителя – перед ним мелькают далекие страны: Португалия, Италия, Гишпания, Англия, Франция. Герои постоянно путешествуют. Уехать в иную страну желает каждый герой старинных пьес – мир для него открыт. Он отправляется воевать, учиться, жениться. Так, мальтийский кавалер, став королем английским, желает взять в жены Декляру, принцессу французскую, для чего посылает во Францию своего посла. Но “праминад” его закончился ничем. Значит, предстоит война между Англией и Францией. Примечательно, что внутри европейского мира происходит детализация. Драматурги вслед за авторами романов различают персонажей не только по социальному статусу, но и по национальной принадлежности. Вот как проводится национальная идентификация в пьесе о Петре Златых Ключей. Мамка принцессы Магилены укоряет ее за то, что она влюбилась в иностранца: “Ей, недостойно чести сие сотворили, / что иностранново таво полюбили” [7. С. 335]. Сам Петр также постоянно отмечает свое иностранное происхождение.

Так как всякий миф и его производные живут в иных по сравнению с реальностью временных измерениях, знания о Европе, почерпнутые из романов и пьес, могли лечь в его основу. Вдобавок это знание необязательно должно быть конкретным и точным. Размытые представления об объекте могут даже усиливать мифологизацию. Такой их характер, кроме того, позволяет осовременивать образ Европы, что вызывает обилие анахронизмов в любительских пьесах. Например, короли, восседающие на тронах, размышляют о том, что у других властителей много войск и “аппарата, / инны честно своего дело правит штата” [7. С. 331]. Они повышают своих придворных “рангом”, рассылают манифесты и авизи, посещают заседания сената, кото-

рые неустанно показываются на сцене. Так реальность в какой-то мере сдерживает мифологическое начало, но одновременно и обогащает его.

Пьесы любительского театра наглядно демонстрируют придворный и частный этикет. Понятие “политеса” и “манер” в них очень важно. Оно обозначает тип жизненного поведения в целом, а не только следование правилам этикета. Театральные герои прикладываются к ручке принцесс, куртуазно снимают шляпы, отдают поклоны, как бы примеривая на себя новые правила поведения. Персонажи даже рассуждают о том, кто повел себя “политично”, а кто – “неполитично”. Театр в сжатом виде воспроизводит новые формы проведения свободного времени. Один из царей, например, обещает устроить фейерверк вместе с пиром “превеликим” и балом. В то время старинные пиры уступают место ассамблеям, а затем и балам, а сам пир уже именуется банкетом. Но театр еще держится старых правил и отражает недавние перемены на европейский лад. Театральные персоны устают от ассамблей, этих первых школ манер того времени, которые устраивались не только для забавы. Как гласил царский указ, на ассамблеях должно заниматься также делами, гости здесь могли “о всякой нужде переговорить, также слышать, что где делается, притом же и забава” [8. С. 27]. Здесь танцевали под духовую музыку, играли в шашки. За ассамблеями последовали балы, уже не имевшие торжественного характера и приобретшие легкость и изящество. “Мужчины стали галантными кавалерами, освоив танцы, приятные манеры, а также искусство вести светскую беседу, составить букет, используя язык цветов, и расшифровать послание, данное с помощью веера или мушки” [8. С. 49–50]. Бал и ассамблея в текстах пьес только упомянуты. Зато пир или банкет показываются постоянно, и даются они по любым поводам. Кроме того, театральные герои устраивают новомодные дни рождения. Даже в обряд погребения, представленный на сцене, вкрадываются новые мотивы. Царский сын желает высечь на “надгробке” своего усопшего отца эпитафию. Как видим, многие элементы культурной жизни на иностранный манер попали на сцену. Это делало европейскую жизнь театральных персон еще более узнаваемой.

Создавая картинки европейской жизни прошлого и осовременивая их в соответствии с собственными представлениями о жизни королей и вельмож, драматурги и постановщики редко говорят о Европе в целом, хотя несколько упоминаний о ней есть. Победитель турнира, например, “первым кавалером назовется Франции / изо всей европейской великой дистанции” [7. С. 317]. Персоны порой стремятся перевести события, происходящие с ними, в европейские масштабы: один из них желает “во всю Европу” написать “листы”, другой почитает князя первым “изо всей Европы”. В остальном любительский театр о Европе не помышляет. Он просто представляет ее на сцене и – что очень важно – не стремится к русификации. “Склонения на русские нравы” еще не происходит. “Чужое” настолько воспринимается как “свое”, что никакой дистанции по отношению к нему не соблюдается. В современных постановках иностранных пьес не раз проявляется стремление “разыграть” иностранную жизнь, подчеркнуть “заграничность”, понятую, естественно, на свой лад. К ней, а не к сюжету или рисунку роли не раз привлекается внимание зрителя. Любительский театр XVIII в. по определению не мог добиться аутентичности, вдобавок он не испытывает никакого почтения к “чужому”. Его рыцари пересыпают высокие монологи просторечиями, дамы плю-

ются, а аллегии без зазрения совести колотят друг друга. Так в абсолютно непринужденной форме создается основа для слияния европейского с русским, определившая первый этап мифологизации Европы, в чем немалую роль сыграли интермедии любительского театра.

Они никак не зависят от переводного романа, их авторы не интересуются Европой средневековой или сказочной. Примечательно, что в интермедиях порой делаются исторические экскурсы – они касаются петровских нововведений, которые вызывают резкую критику у такого персонажа, как Раскольник. Он крайне недоволен тем, что “русские ныне ходят в коротком платье, як кургузы, / На голавах же своих носят круглые картузы /... Свои брады наголо железом обривают. / Человецы ходят як облезаны: / Вместо главных волосов носят паруки, будто немцы поганы” [7. С. 463]. Этими “паруками” аналогичный персонаж возмущается и в другой интермедии. Раскольник до сих пор не может смириться с тем, что русский человек не носит платья апостолов и пророков, каким он представляет себе традиционный русский костюм. Гораздо чаще в русло народной смеховой культуры попадают “заграничные” персонажи, через характеристики которых просвечивают современные культурные очертания Европы, как они виделись жителям Москвы. По законам жанра эти персонажи осмеиваются, получают критическое освещение. В их образах нет полноты, обязательно выделяется какая-нибудь одна черта, подменяющая собой целое. Такая традиция описания иностранцев продолжается позднее, например в “Присовокуплении втором” к “Письмовнику” Н.Г. Курганова, в котором находилась “Опись качеств знатнейших европейских народов” [9. С. 190]. На интермедийную сцену выходят Гишпанец и Француз, на средневековый манер похваляющиеся достоинствами своих стран и обсуждающие, какая служба лучше – при дворе или в армии: “Волному ковалеру не подобает к дворовым правилам привязану быти” [10. С. 379]. Небольшую галерею иностранных персонажей, в которую входит также и Поляк, достраивает Доктор, или Аптекарь, прибывший из Амстердама и по пути захвативший в Лондон. Медицина как стык природы и культуры – всегда предмет для создания комического, но Доктор, кроме того, и носитель иного языка. Он важно беседует по-латыни и нуждается в переводчике. Если переводчик не вводится в действие, начинается игра омофонов или близких к ним форм. Часто Доктор бывает немцем, его абсолютно невежливо называют некрещеным лбом, вшивым “паручишком” (париком).

Не раз персонажи выдают себя за иностранцев, как Гаер, притворяющийся “галанцем”; в доказательство своего иностранного происхождения он показывает апельсин: его цвет – цвет голландской королевской фамилии. Новоявленный “галанец” отчаянно плутует, добывая себе пропитание. В другой раз он выходит под видом знатного заморского купца, называется купцом венецианским, умеющим читать по-русски и по-немецки, у которого будто бы есть богатые корабли, груженные большими запасами вина. Чтобы создать соответствующее впечатление, он меняет шутовской наряд на немецкий кафтан, или мундир (как известно, долгое время мундир именовался кафтаном). Так происходит смена костюма, неявно пародирующая известный культурный жест Петра. Через код одежды происходит различение русского и иностранного. “Переместившись в Россию, немецкий кафтан становился двигателем просвещения и олицетворением петровского абсолютизма, он получал воспитательную значимость и как символ новой культуры отделял про-

свещенных от погрязших в невежестве, приверженцев старины от вольных или невольных сторонников преобразований” [8. С. 13]. Р.М. Кирсанова показывает, что смена костюма означала также изменение формы демонстрации сословной одежды. Интермедия, конечно, не касается этих идей, ее задача – создать образ мнимого иностранца.

Основное достоинство этого ряда интермедийных персонажей состоит в том, что они пришли на сцену не из рыцарских романов, а являются, пусть эпизодическим, отражением новых русско-европейских культурных отношений, которые интермедии переинтерпретируют на свой лад.

Если европейское и русское в любительском театре не находились даже в скрытом противопоставлении, то европейское и азиатское четко противопоставлялись. Враги приходили из мусульманского мира в Гишпанию, боролись за прекрасных трапезонских принцесс, уводили соперников в Турцию на веревках и совершали многие другие ужасные поступки. Ни один из представителей Азии не выступает нейтральным персонажем, вдобавок они иногда получают языковую характеристику. Прибывая ко двору, они изъясняются на тарабарском языке, как в пьесе о короле Гишпанском. Это язык врага, но врага, пришедшего из тюркских стран – драматург явно старается передать его тюркские черты – “Базарчи то ужас” [11. С. 59]. Эту пьесу можно считать запоздалым проявлением русско-тюркских отношений, отразившихся в сюжете, относимом ко времени противостояния Испании и Востока.

Итак, переводной роман и любительский театр знакомили русского зрителя и читателя с Европой. Они не придавали им идеологической нагрузки. Их участие в развитии мифологических представлений о Европе состоит в том, что они уравнивали в правах русское и иностранное, пока их никак не противопоставляя и даже порой смешивая. Принципиальной установки придать европейскому черты русского не было, в чем видится проявление общей тенденции к синтезу, характерной для первой половины XVIII в. “Чужое” тогда входило в культуру на правах “своего”, воспринималось естественно и органически. Синтез в ту эпоху сказывался во всем, в том числе и в усвоении лингвистических и литературных теорий. Он определял тип костюма XVIII в., где старорусские правила действовали при введении новомодных деталей, и наряды совмещали в себе и русские, и иноземные черты. “При выборе костюма европейского образца в России долгое время сохраняли верность традиционным представлениям о том, что приличествует возрасту и общественному положению” [8. С. 33]. Также переводной роман и любительский театр демонстрировали этот синтез, который пока никого не смущал. Деятельное переложение иностранных образцов – “Что взял по-галльски, заплатил по-русски” – начнется позднее. Одновременно с этим появится и критика всякого подражания: “Пристрастие ко всему иностранному и особенно к французскому образующегося русского общества, при Елисавете и Екатерине, сильно возбуждало досаду и насмешки первых двух лучших наших комических авторов Княжнина и Фон-Визина ... Но течение подражательного потока в их время было слишком сильно, чтобы какими-нибудь благоразумными или даже остроумными преградами можно было бы остановить его, тогда как не только нам, потомкам их, едва ли нашим потомкам когда-нибудь удастся сие сделать” [6. С. 97]. Между европеизированной и традиционной культурами, таким образом, наметится конфликт, который затем выльется в конфронтацию литературных направлений (см.: [3. С. 453]). Но до середины XVIII в.

торжествовал синтез, русское смешивалось с иностранным, которое не выглядело как нечто чужое и непонятное. Господствовало “смешенье языков: французского с нижегородским”. Это принципиальное неразличение “своего” и “чужого” можно рассматривать как первый этап мифологизации Европы. Нельзя предположить, что различия между ними действительно не усматривались. Их просто не желали видеть, что является знаком мифологизации. Она, кроме того, поддерживалась официальной культурной и политической идеологией. Как писал Л.В. Пумпянский, «одним восторгом можно исповедать и Европу, и Россию! Это назовем “послепетровским” откровением (“вторым” откровением) русского народа» (цит. по: [3. С. 163]).

Если роман и светский театр предлагали мифологизацию Европы вне идеологических установок, то театр школьный, панегирический, повел себя иначе. Он проецировал на сцену элементы государственной идеологии. В аллегорико-символической форме, избегая реалий, он касался конкретных представлений о Европе, выводил ее в виде аллегорической фигуры, снабжая комплексом значений, присущих ей в официальной государственной идеологии. Европа выступает как аллегория в поздней школьной пьесе “Стефанотокос”. Она поздравляет главного героя с восшествием на престол наравне с Азией, Африкой, Америкой. Примечательно ее самописание: Европа имеет “разширенные ... державы пределы”, славится храбрыми делами и добронравием: “Всякому добру могу нарецися мати, / Ибо от мене всяко добро истекает / Обыче” [7. С. 455]. Она набожна и всех ведет ко Христу, “мироохранительна”, гнушается всяким “тиранном”. В этой краткой самохарактеристике Европа представлена в самом лучшем виде. Главная тема ее монолога – это польза, проистекающая от наук и искусств. Именно в ней сияют все славные учения. Это она обучает детей всей земли, строит и умножает богатства: “Домы и грады красной где архитектуры, / Моя созда десница; аще ж меркатуры / Размножити кто хочет к общей царства пользе” [7. С. 455]. В этом монологе сравнение Европы и России не заложено. Зато Европа прославляет Россию, вошедшую в семью европейских народов и усвоившую новый опыт. Это сравнение проступает в “Стихах по вопросам и ответам сложных, от двоих учеников пред великою монархиною сказання” (1743). Здесь Европа становится мерой величия Елизаветы и ее соратников: окружающие ее кавалеры “умом чудни, всеразсудни, всей Эвропе явни” [7. С. 504]. В “Декламации ко дню рождения Елизаветы Петровны” (1745) явственно звучит противопоставление нового и старого, участвующего в сложении мифологического образа Европы. Аллегорическая фигура Древности утверждает: “Толь древность славна, толь герои силна, / всеми обилна” [7. С. 518]. Ей возражает Слава, говоря, что она укоряет новый век. Фама вводит тему россос: “Народ чужды, кому нужды было его знати?” [7. С. 519], задавая первоначально бедственное состояние России – до Петра она была бедной, нестройной, непристойной. При Петре становится благополучной, полезной, храброй. Он поехал в “чужды не без нужды государств пределы”, и, научившись всему, принес России плод “пречудны”: “Вся полезна, всем любезна внутрь введе России, / вся заводы, фабрик роды, науки драгии, / Марс вдруг ожил и ощутил вдруг храбрость Петрову”. И теперь, “кто ни востал, всегда признал, кто – Петр, что – Россия” [7. С. 520]. Так на школьной сцене звучит сравнение России и “Эвропы” и задолго до Пушкина открывается тема ученичества России и славной Полтавской победы. В более ранней пьесе “Образ победоносия” Россия оказы-

вается столь величественной, что ею не только восхищаются, но и боятся все другие страны: “Сего велиим страхом Европа стрясеся, / Африка и Азия Петром ужашеся” [10. С. 354]. “Европа и Азия главы под руки ея (России. – Л.С.) приклонили” [10. С. 447] еще в одной пьесе, “Образ торжества российского”. Не всегда аллегория Европы столь идеологизирована. В пьесе о Гофреде она испытывает страшное потрясение – против нее восстает Гигас, но ее защищает доблестный Герой Европы.

Таким образом, фигура Европы выделяется на сцене школьного театра. Она участвует не только в поздравительных сценах, ей поручаются важные исторические темы, явным образом мифологизированные в государственном аспекте. Эта мифологизация артикулируется очень отчетливо. Она идет в паре с мифологизацией образа России. Например, в “Славе печальной” сама Россия так говорит о себе: “Кто днесь, видя Россию, не удивится, кто не возвеликовствует ... не премудра ли еси, Россие, не мужественна ли еси, не страх ли, не победа ли, не благочестна ли еси, не украшена ли еси, Россие?” [10. С. 286].

Итак, литература, адаптировавшая западноевропейские романы, и любительский театр, перенесший их на сцену, стали проводниками европейского, которое было прочно усвоено обществом средних слоев. Этой прочности не мешали условность, размытость театральных и литературных образов, как и их отдаленность во времени. Благодаря этому “чужое” не только не было отторгнуто, но и прижилось, приобретя явные черты мифологизации, поддерживаемые государственным мифом о Европе и России как об учителе и ученике – его проводил школьный театр. Время рефлексии, взгляда на Россию не в синтезе с Европой, а в сравнении еще не наступило, чему, вероятно, способствовала и особая модальность культуры XVIII в.. Основным ее ядром был праздник, трансформирующийся то в маскарадах, то в шествиях, то в окказиональной архитектуре (см.: [12. С. 23]). На празднике все равны, он не допускает отчуждения, рефлексии и собирает всех и вся вместе. Этим, в том числе, обоснован синтез европейского и русского.

Если бы этап адаптации не состоялся и не возникла бы идея синтеза Европы и России, миф о Европе относился бы только к векам XIX–XX, но он существовал и в веке XVIII, только в другом обличье: между Россией и Европой сохранялось относительное равновесие, за что позднее этот век обвинят в галломанстве, в механическом перенесении европейских образцов на русскую почву и во многих других грехах. Произойдет это в результате сдвига, той “страшной бури”, которая начала собираться на Западе: “По вкоренившейся привычке не переставали почитать Запад наставником, образом и кумиром своим; но на нем тихо и явственно собиралась страшная буря, грозящая нам истреблением или порабощением; вера в природного, законного защитника была потеряна, и люди, умеющие размышлять и предвидеть, невольно теснились вокруг знамени, некогда водруженного на Голгофе, и вокруг другого, невидимого еще знамени, на котором уже читали они слово: отечество” [6. С. 99]. Речи об особенностях русского пути будут вестись в XIX в., его будут сопоставлять с путем европейским, который то награждается абсолютной категорией свободы, то обвиняется в практицизме, в приверженности той самой пользе, о которой говорили уже школьные драматурги. В первой половине XVIII в. культурное пространство Европы обживаетея в театре и литературе, принимает реальные очертания несмотря на несовпадения русских и евро-

пейских временных параметров. Конечно, его “иностранность” осознается, что не мешает осуществляться синтезу русского и иностранного, пусть недолгому и хрупкому. Этот синтез – важный этап мифологизации Европы в русском культурном контексте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Демин А.С.* О художественности древнерусской литературы. М., 1998.
2. *Одесский М.П.* Очерки исторической поэтики русской драмы. Эпоха Петра I. М., 1999.
3. *Живов В.М.* Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.
4. “Представь мне щеголя ...” Мода и костюм России в гравюре XVIII века. М., 2002.
5. *Старикова Л.М.* Театральная жизнь в России в эпоху Анны Иоанновны. М., 1996.
6. *Вигель Ф.Ф.* Записки // И.А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982.
7. Ранняя русская драматургия (XVII – первая половина XVIII в.): Пьесы столичных и провинциальных театров первой половины XVIII в. М., 1975.
8. *Кирсанова Р.М.* Русский костюм и быт XVIII–XIX веков. М., 2002.
9. *Рак В.Д.* “Присовокупление второе” в “Письмовнике” Н.Д. Курганова // XVIII век. Сб. 12. А.Н. Радищев и литература его времени. Л., 1977.
10. Ранняя русская драматургия XVII – первой половины XVIII в.: Пьесы школьных театров Москвы. М., 1974.
11. Ранняя русская драматургия XVII – первой половины XVIII в.: Пьесы любительских театров. М., 1976.
12. *Сиповская Н.В.* Искусство к случаю // Ассамблея искусств. Взаимодействие искусств в русской культуре XVIII века. М., 2000.



© 2004 г. Л. Е. ГОРИЗОНТОВ

“ПОЛЬСКАЯ ЦИВИЛИЗОВАННОСТЬ” И “РУССКОЕ ВАРВАРСТВО”: ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СТЕРЕОТИПОВ И АВТОСТЕРЕОТИПОВ

Русско-польское противостояние имперского периода, масштабное и острое, еще и весьма многогранно, а потому может описываться различными способами. Возможные дискурсы, между тем, не одинаково плодотворны в плане получения новых знаний и адекватных представлений о сути явлений. В некоторых случаях исследовательское направление может себя исчерпать, в других – недостаточно репрезентативна для выводов источник база, в третьих – не получила должного развития теоретическая рефлексия, в четвертых – исследователи оказались в плену стереотипов.

Стереотипы, в частности этностереотипы, изучать необходимо. Они не только отражают, пусть в преломленном виде, реалии, но и формируют убеждения, управляют поступками людей, вплоть до принятия ими политических решений, способных действительно изменять. Сам феномен преломления несёт в себе уникальную информацию о менталитете эпохи. В то же время существует тенденция к коллекционированию стереотипов, ограничивающемуся их реконструкцией без должной интерпретации. В конечном счете такого рода игры интеллектуалов служат укоренению и пропаганде традиционных клише, способствуют их вторжению из прошлого в сегодняшний день, а вовсе не изживанию, как нередко декларируется.

Из перспективных, на мой взгляд, способов описания русско-польских отношений, назову несколько. Во-первых, изучение их под углом зрения национализма, причем не только собственно польского и русского, но также украинского, белорусского, литовского, еврейского. Например, сопоставительное изучение русско-украинских и польско-украинских стереотипов могло бы дать существенно больше, нежели умножение работ по узко понимаемой русско-польской проблематике. Имеет смысл продолжать изучение типологии и взаимодействия польского и русского антисемитизма и т.д.

Во-вторых, плодотворным представляется описание национального противоборства в геополитических категориях. Роль пространственных представлений очень велика, и не случайно ментальная география заняла в современной научной литературе весьма видное место. В рамках Российской империи на протяжении многих десятилетий соперничали два ядра – русское

и польское *core areas*, если пользоваться терминологией англоязычной литературы, наиболее преуспевшей в геополитическом осмыслении прошлого (сошлюсь хотя бы на работы американского историка Дж.П. ЛеДонна, который касался и русско-польских сюжетов, но применительно к эпохе межгосударственного соперничества двух стран [1]). Важно изучение русско-польского взаимодействия как в самих этих ядрах (поляки в собственно России и русские в собственно Польше), так и за их пределами, прежде всего в наиболее конфликтогенной фронтальной зоне между ними, т.е. привнесение в проблематику стереотипов регионального измерения [2].

В-третьих, немало дает учет имперского контекста, помещающего поляков в один ряд с другими народами, населявшими дореволюционную Россию – немцами, финнами и др. Именно таким образом возможно отделить уникальные черты русско-польского взаимодействия от того, что уникальным не являлось.

В-четвертых, интересен подход, который можно назвать этнопсихологическим. Он основан на теоретических разработках этнологов, посвященных тому самому феномену преломления, о котором речь шла выше, и позволяет глубже проникнуть в ментальные механизмы складывания стереотипов. Эти механизмы охарактеризованы, в частности, в работах А.С. Мыльникова, и их действие убедительно показано на русско-польском материале середины XIX в. воронежским историком М.Д. Долбиловым [3]. Собственно, еще Н.Н. Страхов задался вопросом о том, что они, поляки, думают о себе, и попытался, не дезавуируя польского взгляда, воссоздать с его помощью русский автостереотип.

Наконец, оправданы усилия по сравнительному изучению русской и польской народной культуры с точки зрения формирования и бытования в ней этностереотипов, их сопряженности с представлениями, свойственными образованному обществу.

Словом, назрела необходимость в оптимизации исследований, проводимых в русле обсуждаемой проблематики. Задача моей статьи, конечно же, более скромная. Это приглашение к разговору – в свете всего сказанного выше – о целесообразности осмысления русско-польских взаимоотношений сквозь призму цивилизационной парадигмы.

Существующая со времен античности дихотомия цивилизация – варварство [4], издавна использовалась для характеристики русско-польских отношений. Оказавшись подданными России, поляки сравнивали свое положение в начале XIX в. с Грецией в составе Римской державы, сумевшей покорить завоевателей в культурном плане [5]. Александр I рассматривал дарованную Царству Польскому Конституцию как пробный камень на пути общегосударственных преобразований, вызывая неприятие в русском обществе, представители которого ставили под сомнение право поляков на первенство, тем более что со своими соседями русские издавна вели еще и “домашний”, “славянский спор”. Одновременно в том же русском обществе было достаточно широко распространено признание цивилизационного превосходства не только западных стран, но и западных инородческих окраин империи.

Причем, как подчеркивает А. Валицкий, о цивилизационной “ущербности” русских писали представители консервативного направления русской общественной мысли. Особенно громкую известность получили выступления П.Я. Чаадаева и Н.Н. Стрехова [6]. О польском превосходстве как укоренив-

шемся стереотипе упоминает Д.А. Милютин: “Стоящий... на высшей степени цивилизации сравнительно с Россией (таков был у многих взгляд на польский народ)” [7. С. 322]. С 1860-х годов, как свидетельствует Страхов, эти представления встречались с растущим отпором, но отнюдь не исчезли. Его знаменитая статья “Роковой вопрос” в 1863 г. не только вызвала меры административного характера, но породила бурю возмущения.

И дело не только в антипольских настроениях. Многие убеждения, получившие распространение в русском обществе, вступали в явное противоречие со взглядом на цивилизационное превосходство. Оспаривалась польская религиозная толерантность, дискредитировавшаяся в глазах русских перипетиями диссидентского вопроса, ультрамонтанством, прозелитизмом католичества и антисемитизмом поляков [8]. Резкой критике подвергалось отношение польских панов к зависимым от них крестьянам, ставился под сомнение пропагандировавшийся шляхетскими кругами патернализм [9]. Десятилетиями продолжалась дискуссия об ответственности за распространение революционных настроений в России, в ходе которой с обеих сторон высказывалась мысль о том, что цивилизация, ставшая проводником разрушительных начал, есть цивилизация гибнущая [10]. Явно не соответствовали представлениям о цивилизованности и используемые польским национальным движением методы борьбы [11].

Словом, многие аргументы, которыми оперировало русское общественное мнение, говорили отнюдь не в пользу цивилизованности поляков. М.Д. Долбилов справедливо считает полонофобский стереотип поляка-анархиста перевернутым полонофильским стереотипом поляка-рыцаря и представителя европейской цивилизации. Да, поляки – рыцари, но не олицетворение вневременного благородства, а хранители средневековой дикости. И бунтуют они более по этой причине, чем по мотивам национального характера. Да, поляки – представители Европы, но Европы давно не существующей, разрушенной прогрессом цивилизации. Их образованность – средневековая схоластика. Восстание же – рыцарский турнир, навязанный вступившему в эпоху индустриального развития и новым понятиям о прогрессе русскому народу. В эпоху Великих реформ русские вынуждены охотиться по лесным дебрям за польскими бандами. Есть основания полагать, что представления о средневековой отсталости Польши восходят к бичевавшей феодализм и клерикализм политической мысли европейского Просвещения XVIII в.

Такая интерпретация снимает проблему нестабильности стереотипов, которая обычно ставит в тупик их коллекционеров: ядро стереотипа остается неизменным, но его аксиологическая интерпретация ситуационно пластична. Данный стереотип терял свое влияние по мере обострения экономической конкуренции между центром и окраинами империи. Царство Польское шло в авангарде индустриального развития, имперскому центру, внутренней России приходилось обороняться. Характерно, однако, что сами поляки продолжали считать сильно отстававшие в плане модернизации кресы, особенно историческую Литву, главной хранительницей *polskości*. Историческая память неизменно обращала их взоры на восток.

“Суть всей статьи, – комментировал В.Ф. Одоевский публикацию Страхова, еще не зная ее действительного автора (статья была подписана “Русский”), – что поляки цивилизованнее русских. Что тут под цивилизацией разумеется, праздность шляхты, конфедератки, кунтуши, роскошь богачей

или ремесленность жидов – неизвестно. Если бы сказали, что прусский или веймарнский крестьянин знающее русского, это было бы так, – но чем польский крестьянин образованнее русского? Русский понимает по крайней мере, что читают в церкви, польский того не понимает". Одоевского удивляет, как такое напечатал русский журнал, он убежден, что автор – поляк, поскольку статья пропагандирует "понятия польские" [12. С. 168]. Точно также три года спустя русское общество с трудом поверит в то, что Д. Каракозов – не поляк.

Ф.П. Еленев летом 1863 г. полемизировал с поляками и их русскими почитателями, которые "многовековую прю Польши с Россиею... выставляют как борьбу высокой польской цивилизации с русским варварством". "Истинная цивилизация" в понимании Еленева предполагает "государственный порядок, гражданскую свободу и религиозную терпимость", и этих устоев он не находит ни в исторической, ни в современной Польше. Описывая порядки Речи Посполитой, Еленев широко цитирует И. Лелевеля, Д.И. Зубрицкого и "Историю русов", автором которой тогда считали Г. Конисского.

Особенное негодование этого принимавшего деятельное участие в подготовке крестьянской реформы автора вызывало отношение шляхты к хлопам, который "переставал пользоваться правами человеческими" и находился в значительно худшем положении, нежели русские крестьяне. По своим "разрушительным инстинктам" мелкая шляхта, согласно Еленеву, превосходит западных пролетариев, на которых тогдашняя русская общественность привыкла смотреть сквозь призму "язвы пролетариата". Отказывая полякам в цивилизационном превосходстве, цивилизаторской роли по отношению к Западной Руси и нравственном праве на лидерство в славянском мире, публицист ставил под сомнение и их право на национальную независимость: "Национальная независимость есть святое и драгоценное право тех народов, которые способны ею пользоваться не во вред другим народам и самим себе". При этом Еленев выступает не с государственных, имперских, а с общечеловеческих, по его собственному определению, позиций, проявляя известное свободомыслие [13].

Таким образом, речь шла не только о шляхте, но и о крестьянстве. Полная этносоциальная структура – это один из важнейших признаков национального ядра, этнического материка. Поначалу данный признак большой роли в образах регионов империи и населявших ее этносов не играл. Гораздо существеннее оказывалось деление народов на "исторические" и "неисторические", причем российские власти обнаруживали готовность опираться исключительно на социальные элиты [14]. Много сил было потрачено на очищение региональных элит от маргинальных, с точки зрения правительства, элементов, чему, в частности, служил "разбор" шляхты.

Со временем, однако, опора на социальные низы в создании системы национальных противовесов и стабилизации империи стала рассматриваться все чаще, пока, наконец, не была использована на практике в связи с подавлением восстания 1863–1864 гг. Свою роль сыграло и осознанное желание опираться в Западном крае и Царстве Польском не только на материальную силу, но и духовно-нравственную силу идей. По сути мы имеем дело с опытом, идеологическое осмысление которого возможно в системе координат "народной монархии".

Крепло убеждение (или предубеждение) в том, что полноценность народа немислима без наличия у него полной этносоциальной структуры: для исто-

рического бытия в новых условиях недостаточно одного национального дворянства – необходима народная почва. Поляки в Западном крае такой почвы были практически лишены. Примечательно, что власти не проявляли заинтересованности в создании элитного слоя из местного восточнославянского населения. Превращения верхушки крестьянства в крупных земельных собственников опасались и по принципиальным сословным соображениям, и в предвидении их поглощения польской средой, как только изменится образ жизни вчерашних земледельцев. “Достраивание русского здания” в западных губерниях виделось путем притока свежих великорусских сил, с последними также связывались надежды на исправление польской “порчи”, за которую часто принимали этнические особенности малорусов и белорусов.

Наличие у шляхты национальной почвы ставилось под сомнение и в Царстве Польском. Шляхте припоминался ею же созданный когда-то сарматский миф, а крестьянство наделялось чисто славянскими чертами, что делало его, несмотря на католическое вероисповедание, ближе русским, нежели собственному господствующему классу. В полной мере эксплуатировалось то обстоятельство, что национальное сознание крестьянина Центральной Польши еще не сформировалось, оставляя поле для большой этнополитической игры.

Ущербность шляхты, этой главной в то время силы *Polski walczącej*, таким образом, доказывалась с помощью развернутой системы аргументов, накопленных за период нахождения земель Речи Посполитой в составе империи. Она лишена почвы, не национальна не только в общеславянской, но и собственно польской перспективе (мотив латинского отступничества или изначальной сарматской чужеродности). Она архаична и являет собой тип подлинного европейского изгоя, на часах которого давно прошедшее историческое время. Она ущербна также в сословном отношении, поскольку неоправданно многочисленна даже после нескольких десятилетий “разбора”, учиненного ей российским правительством.

Обратимся теперь к тем народам, восприятие которых в русском обществе может составить параллель стереотипу поляков. Говоря о прибалтийских губерниях, П.А. Валуев отмечал “высокомерное понятие местных немцев о превосходстве своей цивилизации над тем, что они называли русским невежеством и варварством (*russische Rohheit und Barbarei*)”. Он писал о том, что “немецкий элемент в крае имеет все преимущества развитой цивилизации и что всякая цивилизованная среда естественно поддается нравственным влияниям и столь же естественно упирается против натиска грубой материальной силы” [15. С. 422, 433]. Региональная публицистика пропагандировала идею колонизаторской миссии немцев в крае [16. С. 18]. “Если на нашей русской стороне, – писал К.Н. Леонтьев, – так сказать, идея демократическая, право этнографического большинства (эсты и т.п.), то на стороне немцев идея высшая, культурная и аристократическая в этом вопросе... Один остзейский породистый барон сам по себе стоит целой сотни эстского и латышского различия” [17. С. 313–314].

Обособление от остальной России достигалось консервацией в Остзейском крае средневековых институтов, что вызывало критику со стороны русских. Однако, согласно П.А. Валуеву, “принадлежность к великому политическому организму льстила их самолюбию. Перейдя за границу, при встрече с иностранцами, курляндцы, лифляндцы и эстляндцы называли себя русскими дворянами (*russischer Edelmann*) и своим отечеством признавали Россию” [15.

С. 422]. “Когда какой-нибудь русский немец, – вспоминал Г. Гейне свое общение с остзейцем во второй половине 1820-х годов, – патриотически хвастается и распространяется о “нашей России”..., мне кажется, будто я слушаю селедку, выдающую океан за свою родину, а кита – за соотечественника” [18. С. 227].

Материал для сопоставления дает также Финляндия. “Вообще в Финляндии... относились к России и ко всему русскому с презрением, как к чему-то варварскому, азиатскому... Шведская история, география Швеции, шведская литература изучались с такой подробностью, что едва ли в самой Швеции этим предметам уделялось больше времени и труда”. А. Редигер, кстати, военный министр империи, из воспоминаний которого взята приведенная цитата, также считал культуру Финляндии более передовой по сравнению с российской [19. С. 46]. В то же время финно-угорские народы, наряду с тюркскими, в глазах русских выступали представителями азиатства в Европе. Н.И. Надеждин писал, что в великороссах “много азиатского, но не столько южного, татарского, сколько северного финского” [20. С. 269].

Если в остзейцах со временем стали усматривать пятую колонну пангерманизма, то ареной финской экспансии были объявлены не только Карелия, но также Эстляндия и даже Поволжье, куда отправлялись финские этнографы и миссионеры. Финны обсуждали вопрос о территориальном расширении Великого княжества, что также составляло аналогию с поляками, ходатайствовавшими о расширении Царства Польского [21]. В Поволжье репутацию “поляков Востока” получили татары, в частности, проводилась параллель между татаризацией ислама и полонизацией католицизма.

“Как бы мы не расходились в самых разнообразных вещах, – читаем в мемуарах В.В. Шульгина изложение его выступления в Государственной Думе, – однако надо признать всем, что плохо с русским народом. Мы не только безнадежно отстали от наших западных соседей, но даже внутри на этой огромной равнине, которая называется Российской империей, и тут происходит страшная трагедия: мы отстаем от поляков, евреев, финнов, немцев и чехов, отстаем – это факт” [22. С. 185]. На оценку Шульгина, несомненно, повлияла ситуация в Юго-Западном крае, с которым он был связан, и имел он в виду “триединую” русскую нацию.

В рамках цивилизационного подхода способность ассимилировать другие народы и противостоять их поглощающей силе считается важным показателем. “Нужно верить, – призывал с думской трибуны П.А. Столыпин, – что Россия не культурогаситель, что Россия сама смело шагает вперед по пути совершенствования, что Россия не обречена стать лишь питательной почвой для чужих культур и для чужих успехов” [23. С. 311]. Исторический оптимизм премьера, служебная карьера которого начиналась в польской среде западных губерний, не вполне разделялся его ближайшими сотрудниками по Министерству внутренних дел. “Нельзя подчинить себе народности с высшей культурой, – писал П.Г. Курлов, – при условии, что государство, желающее этого подчинения, стоит на низшей. Этим, по-моему мнению, объясняется тщетность всех попыток ассимилировать России Финляндию и Польшу” [24. С. 111–112]. “Коренная Россия, – считал С.Е. Крыжановский, – не располагала запасом сил культурных и нравственных, которые могли бы служить инструментом подобной ассимиляции, тем более, что многие окраины, вследствие особенностей их истории и географического положения, в культурном отношении стояли гораздо выше коренной России” [25. С. 128].

За пределами внутренней России – и, что важно подчеркнуть, не только в западной части империи, но и на востоке (Кавказ, Сибирь) – русские, по многочисленным свидетельствам, которыми мы располагаем, становились другими, утрачивая чистоту великорусской идентичности, а вместе с ней и свои государствообразующие качества. Для описания этого явления до революции широко использовались такие понятия, как “полуазиатство”, “грубость нравов”, “одичание”, “малокультурность”, т.е. явно противоположные цивилизованности.

В начале XX в. с ростом контактов между национальными движениями Российской империи вопрос о культурном потенциале и “культурности” народов, прежде всего в их соотношении с русскими, стал предметом совместных обсуждений представителей различных национальностей. Об одном из них, состоявшемся в кулуарах съезда журналистов (Петербург, март 1905 г.), рассказывает в своих мемуарах украинец Е. Чикаленко. Тогда на почве стремления к федерализации империи, по инициативе украинцев, сошлись представители эстонцев, латышей, финнов, грузин и армян. Поляки, ставя перед собой цель достижения государственной независимости, от сотрудничества отказались. Не сложилось и взаимодействие с многочисленными на съезде евреями. Зато откликнулся, несмотря на сепаратистские цели своего национального движения, финн. В противовес официальному правительственному курсу “сознательные украинцы” настойчиво добивались признания своих соплеменников инородцами.

Мечтая о федеративном строе, “инородческие” журналисты “опасались совместно проживать в одном государстве с полуазиатским, некультурным народом московским”, который в Варшаве, Киеве или Тифлисе “чувствует себя народом-хозяином”. “В понимании москаля, все народы ниже него, ко всем он относится с презрением: украинец у него “хохол-дурак”, поляк – “полячишка”, финн – “чухна поганая”, кавказцы – “татарва безмозглая”, еврей – “паршивый” и т.д.”. Будучи индивидуалистами в культурном отношении и к тому же ведя “домашнюю” тяжбу со своими соседями, инородцы не могут ему противостоять.

“Кто-то заметил: какой же московский народ некультурный, если он создал такую высокую литературу, музыку, живопись, на которых воспитывались мы все и которыми восхищается весь мир?”

На это ему отвечали, что это не народная московская культура, а общерусская, выросшая, как роскошный цветок в теплице на навозе, что ее вырабатывали не только москаль, но также “инородцы”. Русский роман создал “малоросс” Гоголь, музыку – белорус Глинка и “малоросс” Чайковский, живопись – “малороссы” Левицкий, Боровиковский и т.д. А народ московский еще пребывает на первобытной ступени культуры...”. В этой связи говорилось о примитивной технике обработки земли и отсутствии частной собственности на нее, деспотии мира и большаков, полигамии в крестьянских семьях.

“А финн добавил:

– Даже прославленную “московскую баню”... они позаимствовали у нас, финнов, как и “овин”, “ригу”, где сушат огнем снопы хлеба.

Под властью московского народа финско-монгольские племена, такие как мордва, чуваша, зыряне и другие до сих пор еще полудикари, до сих пор еще язычники, поклоняющиеся идолам, тогда как родственные им племена вроде финнов, эстонцев, которые были под властью культурных народов, таких как шведы и немцы в Прибалтике, переняли у них лютеранскую веру, готический шрифт, вообще культуру и сделали самими культурными народами в России, в чьей среде нет неграмотных”.

Под московским игом произошла деградация украинской культуры, включая культуру политическую. Тем не менее “народная украинская культура стоит несравненно выше московской”, “украинский народ несравнимо более культурный, чем московский”. Это особенно хорошо известно уроженцам русско-украинского пограничья и тем, кто “проехал Россию от Черного моря до Белого” [26. С. 362–367].

Журналисты в той или иной форме доводили свои убеждения и до сведения широких читательских кругов. В дальнейшем тенденция изображать русских варварами получила продолжение в послеоктябрьской эмиграции и ныне в публицистике и паранаучной литературе ряда постсоветских стран и стран бывшего социалистического лагеря.

Европеизм, христианство и нравственность – три сопряженных между собой понятия – имели в рассматриваемое время основополагающее значение для понимания цивилизованности.

Поскольку цивилизация обычно ассоциировалась с Европой, а варварство с Азией, русско-польское соотнесение естественным образом попадало в поле вечного и глобального вопроса отношений России с Европой. Полемизируя со Страховым, М.Н. Катков ставил под сомнение как азиатство России, так и европеизм Польши. От признания последнего далек сам Запад: “Он (Страхов. – Л.Г.) вообразил себе..., что Европа видит в Польше цвет своей цивилизации” [27. С. 409, 416].

Но цивилизация ассоциировалась также с христианством, внутренние деления которого теряли значение, когда речь заходила об отношениях с нехристианским миром. В колонизации восточных пространств присутствовал более широкий цивилизационный подход: представителями имперской колонизации становились все христианские подданные, не исключая поляков. Россия на Востоке выступала в роли носителя европейского начала.

Помимо треугольника Россия – Польша – Европа, существовал другой треугольник: Россия – Османская империя – Европа, связанный с Восточным вопросом, который, в свою очередь, в представлениях людей второй половины XIX в., не был изолирован от польского вопроса. При обсуждении Восточного вопроса собственно славяно-турецкий конфликт часто отходил на второй план, уступая место инвективам в адрес Европы, которая, провозглашая поход против варварской России, поддерживает турок, т.е. в действительности руководствуется отнюдь не цивилизационными мотивами. Так рассуждал П.А. Вяземский в 1854 г., А.В. Никитенко в 1876 г. – оба, наблюдая общественные настроения в бытность свою за границей. “Мы пройдем молчанием доводы *цивилизации*, потому что чересчур смешно считать своим триумф магометанской державы,” – писал Вяземский и продолжал: “Борьба цивилизации против варварства: опять метафора, нелепая и лживая... Это не борьба цивилизации и варварства, а лжи и правды” [28. С. 466, 477, 485]. Обращаясь мыслью к событиям 1830–1831 гг. с перспективы Крымской войны, Вяземский возлагал вину на поляков, противореча своей собственной точке зрения в момент восстания [29]. Интересно, что жандарм Л.В. Дубельт, с подозрением относившийся к Вяземскому, даже когда тот занял высокий пост товарища министра народного просвещения, придерживался весьма сходных взглядов. “Честные иностранцы печатают в своих журналах, что война России с Турцией не есть война русских против турок, а война варварства против просвещения! – писал он в своем дневнике в конце 1853 г. – Наконец уже и турки народ просвещенный, а мы,

бедные, все еще варвары! Есть ли Бог, есть ли совесть, есть ли честь у этих французов и англичан?! Подлецы” [30. С. 226]. В 1863 г. Катков писал, что “за Турцию Европа вооружилась на нас с ожесточением, с каким никогда не вооружится за Польшу” [27. С. 413].

И Вяземский, и Никитенко подчеркивали моральное превосходство России. Никитенко размышлял даже в этой связи над кодексом политической нравственности, выступая противником того, чтобы “поддерживать варварские обычаи народов мало цивилизованных”, а “с народами слабейшими поступать как с себе подвластными” [31. С. 383–384]. Материальная сила, предредающая поражение слабого, – достояние варварства, нравственная же, идейная, духовная – цивилизации. Нетрудно заметить, что такое понимание формировалось не без влияния истории христианства. Тот же Страхов признавал, что жители Западного края продемонстрировали нравственную стойкость перед лицом полонизации.

Включение “варварства” в автостереотип русских в известной мере обуславливалось той идейно-политической борьбой, которая велась в рассматриваемый период, в частности, между славянофилами и западниками. Славянофилы, считал Б.Н. Чичерин, “охлаждали патриотические чувства тех, которые возмущались нелепым превознесением русского невежества над европейским образованием. Нет ничего, что бы так вредило всякому делу, как безрассудное преувеличение. Я сам на себе испытал, до какой степени прирожденная мне любовь к отечеству... страдала от необходимости вести войну с славянофилами. Приходилось напирать на темные стороны нашего быта, чтобы побороть то высокомерное презрение, с которым они относились к тому, что нам было всего полезнее и что одно способно было вывести нас из окружающего нас мрака” [32. С. 157].

И, наконец, о степени образованности поляков и русских. Следует иметь в виду, что культурные потребности польского общества во многом были связаны с особенностями его социальной структуры и прежде всего с уже отмеченной выше многочисленностью шляхетского сословия. И историческая традиция, и более чем реальная угроза социальной деградации побуждали шляхтичей стремиться к получению высокого образовательного ценза. Возможности реализации этой потребности, однако, во многом зависели от государственного курса. В 1864 г. об этом писал Н.А.Милютин: “Поколение, воспитанное после 1830 г., по несомненному свидетельству всех знающих край, невежественнее прежнего поколения, и в то же время гораздо хуже его в политическом отношении, гораздо нам враждебнее” [33. С. 303]. Связь между “полуобразованностью” и склонностью к “разрушительным началам” в России XIX в. – не только в эпоху Великих реформ, но и в пушкинские времена – считалась аксиомой.

Дело, однако, не только в доступности образования. Национальное угнетение приводило также к росту изоляционистских настроений в польском обществе, когда речь заходила о культуре русской. Вместе с тем поляки, как и ряд других народов, внесли ощутимый вклад в культуру многонациональной империи, хотя считать их культуртрегерами на просторах варварской России все же явное преувеличение.

Акцент на русско-польских цивилизационных различиях очень часто имеет следствием отрицание европейского характера русской культуры. Думается, что при поиске различий анализ должен вестись не столько в плоскости достижений высокой культуры, сколько в плоскости внедрения культурных ценнос-

тей в низовые слои общества. Эта задача решалась в ходе модернизации, которая, при всех национальных особенностях, и в Польше, и в России осуществлялась в условиях догоняющего развития. Вообще, в социо-культурном развитии двух народов при ближайшем рассмотрении обнаруживается весьма много общего: сама острота их соперничества, как мне представляется, в существенной мере определялась тем, что велось оно на “одном поле”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *LeDonne J.P.* The Russian Empire and the World, 1700–1917: The Geopolitic of Expansion and Containment. New York, 1997.
2. *Горизонтов Л.Е.* Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше (XIX – начало XX в.). М., 1999.
3. *Мыльников А.С.* Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности XVI – начала XVIII века. СПб., 1999; *Долбилов М.Д.* Полонофобия и русификация Северо-Западного края (1860-е гг.): метаморфозы этностереотипов // www.empires.ru
4. *Ziółek P.* Idea imperium. Warszawa, 1997.
5. *Wotoszyński R.W.* Polacy w Rosji 1801–1830. Warszawa, 1984.
6. Russian Identity / Polish Encounters. Bloomington (in print).
7. *Милютин Д.А.* Воспоминания генерал-фельдмаршала. 1860–1862. М., 1999.
8. *Горизонтов Л.Е.* Поляки и польский вопрос во внутренней политике Российской империи. 1831 г. – начало XX в.: Ключевые проблемы. Автореферат дисс. на соискание ученой степени доктора исторических наук. М., 1999.
9. *Горизонтов Л.Е.* Польский аспект подготовки крестьянской реформы в России // Иван Александрович Воронков – профессор-славист Московского университета. М., 2001.
10. *Горизонтов Л.Е.* Поляки и нигилизм в России: Споры о национальной природе “разрушительных сил” // Автопортрет славянина. М., 1999.
11. *Gorizontow L.* Rzut oka na rosyjską historiografię polskich powstań XIX wieku // Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku. Lublin, 2001.
12. *Одоевский В.Ф.* “Текущая хроника и особые происшествия”. Дневник 1859–1869 гг. // Литературное наследство. М., 1935. № 22–24.
13. *Еленев Ф.* Польская цивилизация и ее влияние на Западную Русь. СПб., 1863.
14. *Кателлер А.* Россия – многонациональная империя. Возникновение, история, распад. М., 2000.
15. *Валуев П.А.* Дневник министра внутренних дел. М., 1961. Т. 2.
16. *Духанов М.М.* Остзейцы. Политика остзейского дворянства в 50–70-х годах XIX в. и критика ее апологетической историографии. Рига, 1978.
17. *Леонтьев К.Н.* Избранное. М., 1993.
18. *Гейне Г.* Собр.соч. М.-Л., 1957. Т. 4.
19. *Редигер А.* История моей жизни. Воспоминания военного министра. М., 1999. Т. 1.
20. Энциклопедический словарь А. Плюшара. СПб., 1837. Т. 9.
21. *Сергеев Е.Ю.* “Иная земля, иное небо...” Запад и военная элита России (1900–1914 гг.). М., 2001; *Ульянов Н.И.* История и утопия // *Ульянов Н.И.* Спуск флага. New Haven (Conn.), 1979.
22. *Шульгин В.* Последний очевидец. Мемуары. Очерки. Сны. М., 2002.
23. *Столыпин П.А.* Нам нужна Великая Россия... Полное собрание речей в Государственной Думе и Государственном Совете. 1906–1911. М., 1991.
24. *Курлов П.Г.* Гибель Императорской России. М., 1992.
25. *Крыжановский С.Е.* Воспоминания. Б.м., б.д.
26. *Чикаленко С.* Спогади (1861–1907). Київ, 2003.
27. По поводу статьи “Роковой вопрос” // Русский вестник. 1863. № 5.
28. *Вяземский П.А.* Полное собр. соч. СПб., 1881. Т. 6.
29. *Гиллельсон М.И.* П.А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л., 1969.
30. Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. М., 1995. Т. VI.
31. *Никитенко А.В.* Дневник. М., 1955. Т. 3.
32. *Чичерин Б.Н.* Воспоминания. М., 1991.
33. Славянское обозрение. 1892. № 7/8.



© 2004 г. М. В. ЛЕСКИНЕН

МИФ ЕВРОПЫ И ПОЛЬША В “ЗАПИСКАХ” В.С. ПЕЧЕРИНА

Как ... объяснить эту тоску по загранице, это беспрестанное желание отделаться от родительского дома, искать счастья где-нибудь в другом месте?

В.С. Печерин

Автор “Замогильных записок” – В.С. Печерин (1807–1885) известен в истории русской культуры прежде всего как поэт-романтик, один из первых русских эмигрантов по политическим мотивам и российский иезуит. Все эти определения даны его современниками в XIX в. [1], но вплоть до середины прошлого столетия они не подвергались критике. В действительности, каждое из них в определенной степени есть часть своеобразного – вполне легендарного – образа Владимира Сергеевича Печерина. Легко обнаруживаются и истоки векового заблуждения. Поэтом-романтиком молодой Печерин слыл в литературном кружке “Святой пятницы”, членами которого в 1829–1831 гг. были студенты и выпускники Петербургского университета; его трагедия “Вальдемар” и поэма “Торжество смерти” распространялись в списках, создавая их автору прочную литературную репутацию (см.: [2. С. 89–90]). Первым политическим эмигрантом назвал В.С. Печерина А.И. Герцен, рассказав о встрече с ним в 1850-х годах в “Былом и думах”. После длительного забвения он вновь напомнил российской публике судьбу и само имя изгнанника [3. С. 355–364]. Но наибольшую известность талантливый профессор-филолог Московского университета приобрел по причине своего перехода в католицизм. Негативная оценка этого поступка нашла выражение и в том, что Печерину долго приписывали принадлежность к монашескому ордену иезуитов, поскольку именно эта конгрегация добилась заметных успехов на ниве приобщения в первой половине XIX в. значительного числа русских дворян и аристократов к католическому вероисповеданию. В действительности Печерин в эмиграции пришел к католицизму в результате своего разочарования идеями европейской революционной мысли и программой их действий, став одним из выдающихся деятелей монашеского ордена редemptористов. “Вечный беглец”, как он сам себя называл, через двадцать лет вышел из ордена, разочаровавшись в идеалах аскетической жизни, и через не-

Лескинен Мария Войтовна – канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

которое время возобновил прерванную на десятилетия переписку с друзьями юности. Один из них – известнейший славянофил Ф.В. Чижев не только уговорил Печерина написать воспоминания-автобиографию¹, но опубликовал еще при жизни автора небольшую часть в 1870 г. в “Русском архиве”². С этого момента биография и философские искания В.С. Печерина стали достоянием гласности, но многие вопросы по-прежнему не находят однозначного ответа.

Одна из таких “загадок” В.С. Печерина связана с его бегством из России. Причины его он сам подробно описывает в “Записках”, называя основной чрезмерную идеализацию Европы и европейского. Это заключение очевидно, и многие исследователи исходят именно из слов самого автора воспоминаний. Однако возможно рассмотреть текст “Записок”, несколько иначе расставив акценты. Обратимся к анализу условно первой части “Оправдания моей жизни”, в которой автобиография автора доведена до момента его побега из Москвы в 1836 г. Этот период его жизни включает в себя отрочество и юность, время учебы в Петербургском университете, преподавание в Московском университете, а также самый сложный, переломный момент его биографии – принятие решения об отъезде из России и осуществление этого замысла.

Отношение к Европе и России – центральная проблема и в мировоззрении, и в поэтических произведениях, и в самой судьбе В.С. Печерина. Его часто называют “западником”, что не совсем корректно с точки зрения исторической трактовки этого термина³. Политические взгляды В.С. Печерина формировались задолго до появления “Общества Любомудров” и публикации чаадаевского письма – во время его учебы в университете и после, в начале 1830-х годов. Но даже если понимать под “западничеством” культурную ориентацию, то и здесь мировоззренческая принадлежность Печерина оказывается не столь однозначной.

Историософские и политические взгляды Печерина складывались в кругу его друзей – однокашников по Петербургскому университету. Среди них – А. Никитенко и Ф. Чижев. Бегство Печерина из России почти совпало по времени с выходом “Философического письма” Чаадаева. Неприятие российской действительности, убежденность в отсталости российской истории и недо-

¹ Записки Печерина называются по-латыни – “*Apologia pro vita mea*”, что в различных публикациях переводится как “Оправдание моей жизни” (это точный перевод) или “Апология моей жизни”. В некоторые издания включены также отрывки из писем В.С. Печерина Ф.В. Чижеву и своему племяннику С.Ф. Пояркову, который и уговорил дядю в 1865 г. описывать фрагменты своей биографии в письмах. Собственно говоря, “Записки” составлены из небольших главок – эпизодов-воспоминаний, однако со значительными комментариями, отступлениями и обращениями к читателю. Это и привело к тому, что публикации “Записок” несколько отличны по составу фрагментов, иногда включают в себя отрывки из переписки Печерина (много писем сохранилось в фонде Ф.В. Чижева, предполагавшем опубликовать материалы, связанные с жизнью и деятельностью В. Печерина.). Потому и названия печеринских мемуаров различаются. В первом полном издании, подготовленном главным исследователем жизни и творчества В.С. Печерина – М.О. Гершензоном – в 1932 г. с предисловием Л.Б. Каменева они получили название “Замогильных записок”. Так называл свои воспоминания сам В.С. Печерин. Поэтому здесь и далее будут использованы все возможные названия как синонимичные.

² В задачу данной статьи не входит рассмотрение политических и религиозных воззрений В.С. Печерина, так как они получили довольно детальное освещение в [2; 4; 5. С. 47–53].

³ Н.И. Цимбаев, характеризую эпоху 1830-х годов писал, что на смену сопоставления России и Европы “пришло и глубоко укоренилось противопоставление русских и западно-европейских политических и социальных институтов” [6. С. 34].

вольство политической реальностью определяло и воззрения, и судьбы этого поколения. “Антитеза Россия – Европа” была одной из основополагающих в общественной мысли этой эпохи.

Печерин был одним из немногих, если не единственным представителем оппозиционного направления 1830-х годов, убежденного и убеждающего в величии Европы и в отсталости России, кто в полной мере реализовал идеальную модель свободной жизни на примере собственной биографии. Он покинул Родину, бросил профессорскую деятельность, сулившую ему быстрый карьерный рост в силу преподавательского и исследовательского таланта и поменял вероисповедание. Уникальность Печерина состояла в том, что он попытался привести идеалы в соответствие со своей жизнью и нашел выход в добровольном изгнании.

М.О. Гершензон объясняет отъезд Печерина увлечением его мечтой “об осуществлении потенциальной красоты человека, о водворении на земле царства разума, справедливости, радости, красоты; царства, чуждого всякой национальной окраски” [2. С. 17]. Л. Каменев считал Печерина “первым русским эмигрантом XIX века, сознательно и обдуманно вставшим на этот путь” (цит. по: [7. С. 62]). А. Сабуров называл Печерина “постоянным беглецом”, ставшим таковым из-за непрерывных конфликтов с окружающей действительностью (цит. по: [7. С. 62]). П.Г. Горелов видел истинную причину в “страхе России”, в том, что главным мотивом для Печерина стали его собственные слова о том, что в России нет будущности [7. С. 62]. Кроме того, исследователи неоднократно обращали внимание на то, что жизненный выбор Печерина был в большей степени продиктован его эмоциональным состоянием, нежели политическими убеждениями или социально-религиозными взглядами, сформировавшимися под сильным влиянием работы Ф.Р. Ламенне “Слова верующего”.

Необходимо отметить, что мировоззрение и убеждения Печерина – как философские, религиозные, так и связанные с отношением к России – менялись на протяжении его долгой жизни в изгнании. Рассмотрим период их формирования и обратимся к образу Европы в детском и юношеском сознании Печерина.

На склоне лет, размышляя о причинах бегства из России, Печерин в записках, названных “Апология, или оправдание моей жизни” начальной точкой своего преклонения перед Западом считал особенности русского дворянского воспитания и образования. Оно, однако, было типичным для своего времени – 20-х годов XIX в. (см.: [8–9]), включало изучение европейских языков на основании общения с носителями разговорной речи (гувернерами), чтение французской литературы с десяти лет. Не было особенным ни описанное В.С. Печериным учительство немца-гувернера с убеждениями атеиста и “бонапартиста”; ни краткое пребывание в киевской гимназии, ни интерес мальчика к книгам из собрания дедовской библиотеки с любовными романами и философскими сочинениями французских энциклопедистов.

Подробный рассказ о детстве и отрочестве занимает в “Записках” Печерина очень важное место; именно ему явно придается решающее значение в “оправдании перед Россией”. Перед читателем проходят не столько воспоминания, сколько “роман жизни” исключительно духовно-одаренного человека. Его эстетические, нравственные и политические идеалы формирует европейская литература, которая с ранних лет стала для Печерина эталоном

образованности и просвещенности. Из русской он знаком только с беседами Иоанна Златоуста и житиями святых. Все прекрасное и возвышенное рано ассоциируется у ребенка с рассказами иностранца-учителя о своей родине и с французскими романами. Краткий список авторов любимых мальчиком произведений полностью отвечает европейской ориентации и родителей, и гувернера: Коцебу, Жанлис, Сервантес, Радклиф, Расин, Салиньяк, Лафонтен, Шиллер, позже – Ж. Санд. В 17 лет он осваивает “Рассуждения о всеобщей истории” Боссюэ; “Письма Эмилю о мифологии” Демонтье; “Генриаду” Вольтера; “Эмиля” Руссо и т.д. ... Европа становится олицетворением далекой, но притягательной жизни, местом обретения славы и почестей.

Не без иронии отмечает Печерин резкое противопоставление этого “книжного” мира, открытого ему гувернером Кессманом, негативному опыту детского общения с русскими “учителями” грамоты и нравственности – православными священниками. “Не лучше было бы, например, вместо какого-нибудь немца, француза, отдать мальчика на воспитание какому-нибудь доброму священнику? В этом позволено сомневаться. Ведь я всего попробовал – и даже православного воспитания. Старик учил меня всему, что знал сам, – разумеется, когда был трезв... о нашем полковом священнике нечего и говорить. Он был разбитной малый, совершенно в уровень со своим военным положением. Как загнет, бывало, двусмысленную шутку, что твой уланский вахмистр! ... это ... для сравнения двух систем. Учитель преподавал мне французский и немецкий языки, а остальные сведения я сам почерпал из разных источников” [10. С. 153].

Автор “Записок” отмечает, как очень рано просыпается в нем чувство “странного влечения к образованным странам – какое-то темное желание переселиться в другую, человеческую среду” [10. С. 152]. Оно еще не имеет конкретно-географического определения, само желание еще смутное, невысказанное, но культурные образцы уже заданы, и они совершенно не совпадают с окружающей “мрачной”, “серой”, “грубой” повседневностью, существуя в изначальной оппозиции к “книжному” миру, который стал родным и понятным. Мальчик пытается побороть окружающее “невежество”. Он мечтает быть “посредником между тиранами и жертвами” [10. С. 151] по примеру античных героев и благородных просветителей. В восьмилетнем возрасте это побуждает его к первому мысленному бунту: “В день рождения Христова, когда ... торжествовали избавление России от Галлов и с ними двенадцати язык, я про себя молился за французов и просил Бога простить им, если они заблуждались” [10. С. 152]. В 12 лет (1819) он совершает неудачную попытку побега во Францию – обитель свободы и справедливости.

Политические идеалы будущего изгнанника также складываются довольно рано. Этим он обязан своему учителю – гувернеру Кессману, к которому был страстно привязан. “В политическом отношении он был пламенным бонапартистом и вместе с тем отчаянным революционером” [10. С. 152]. Кессман был знаком с полковником Пестелем и дружил с польским заговорщиком отставным поручиком Сверчевским, с которым обсуждал план восстания в присутствии ученика. Сверчевский был расстрелян во время польских событий 1831 г. отцом Печерина, которого сын ненавидел с ранних лет.

“Учение Кессмана совершенно меня преобразило... Я даже сделал попытку революционной пропаганды и политического красноречия. Какие-то мужики работали около нашего сада. Вот я так и грянул им речь о свободе!”

[10. С. 155]. Он пытается воплотить знакомые образцы поведения в жизнь: "Идеи вольности и христианского равенства глубоко запали в душу, и я решил привести их в буквальное исполнение. Я решительно отказался от прислуги (мальчика) к крайнему неудовольствию своего отца. Я не хотел иметь рабов – я сам себе прислуживал. Когда солдаты делали мне фронт..., я снимал картуз и учтиво раскланивался. Это было смешно и совершенно неприлично" [10. С. 154–155]. Забавно, но косвенным подтверждением того, что такое поведение присуще просвещенным европейцам, мальчик получил от полкового камердинера: "Помилуйте, батюшка Владимир Сергеевич! – пожурил тот его, – Ведь вы вовсе не как следует русскому барину: вы словно какой-нибудь француз или итальянец!" Ироничный комментарий автора из будущего: "Если бы я в эту минуту замахнулся и дал бы ему оплеуху, он бы, наверное, глубоко бы передо мной преклонился и признал бы меня за истого русского дворянина!" [10. С. 155] – призван еще раз противопоставить врожденному рабству всякого русского человека присущее любому просвещенному европейцу и "естественному" (в просветительском смысле) для ребенка понимания свободы.

Не только европейская культура, но и само географическое пространство становится объектом поклонения. Географический атлас, по которому Печерин-подросток совершает мысленные путешествия на Запад, в Европу, является священным предметом в посредничестве между миром действительности и "страной мечты": "Бывало, по целым часам сижу в безмолвном созерцании над картой Европы. Вот Франция, Бельгия, Швейцария, Англия! ...Воображение наполняло жизнью эти разноцветные четвероугольники и кружки – эти миры, департаменты и кантоны..., а сердце на крыльях желания летело в эти блаженные страны" [10. С. 159]; "Посреди русских степей я в долгие зимние вечера сидел и мечтал перед картой Англии, ... и душа неслась туда, туда, в неведомую даль!" [10. С. 261]. Неопределенность предмета мечтаний, лексика, характерная для романтического описания идеала создают образ далекого, призрачного края, который, правда, имеет вполне конкретное название. Так географическое пространство мифологизируется, становясь воплощением культурного и общественного идеала и одновременно сакральным локусом, местом паломничества (см. [11. С. 242–246]). Это отразилось и в лексике: Европа называется "землей обетованной", "Палестиной", "святыми местами", что накладывает отпечаток и на положительную характеристику самого паломника: достижение цели (исход путешествия) таким образом воспринимается как награда за добродетель. Вера в свое избранничество и непогрешимость наделяет юношу правом стремиться к этой священной цели.

Россия же у Печерина ассоциируется с обыденностью; ей нет места ни на карте, ни в мечтах. Она для юного романтика гораздо дальше, нежели красочный мир путешествий. Профанный мир связан с "низменным" бытом, ненавистной повседневностью. Он, однако, также не имеет конкретных черт, – ни добродетелей, ни пороков; его не существует как значимого элемента в мифологическом пространстве. Идеальный мир близок, реальный – далек. Неопределенность очертаний, отсутствие деталей в описании оппозиции *Европа – Россия* – характерный признак этого пространства. Вместе с тем размытость значений позволяет в период юности Печерина еще оставить вопрос о том, где Родина, а где Чужбина, открытым. Вскоре система знаков приходит в равновесие; а идеал Европы находит воплощение в поэзии В.С. Печерина. Оппо-

зия поэтического мира как своего – прозаическому как чужому – типична для поэтики романтизма. Одновременно образ “величавого Запада” наделяется в его стихах очевидными утопическими признаками. “Таинственный предел надежды” [7. С. 65] есть мир, где побеждает добро, торжествует справедливость, воплощается свобода: “Там венки виются славы! Доблесть, правда там блестит”; там “мрак и свет” ведут бой, там “блестит хоругвь свободы! И цари бегут, бегут!”. Используются характерные метафоры: свет, блеск, золото. Особое значение приобретает образ Солнца (“Солнце к западу склонялось, вслед за солнцем я летел”). Этот же образ встречается и в “Записках”: «В степях Южной России я часто следил за заходящим солнцем, бросался на колени и простирал к нему руки: “Туда, туда, на запад”» [10. С. 300]. Наречия “туда” и “там” автор использует исключительно применительно к Европе. Запад и Европа – синонимы, образ Америки появляется в Записках позднее. Смена значений в оппозиции *восток – запад* (т.е. *чужой – свой*) приводит к объединению символов Запад – Солнце – Рай. Европа в стихах Печерина уподобляется райскому саду на земле: там сладкий покой, вечное лето, золотые плоды, звучат звуки райской лиры и слышен благовонный аромат цветов. В довершение ко всему автор признается в том, что этот вожделенный мир и есть его “родная страна”. “Далекий приют” становится для него воплощением “своего” мира, а путешествие туда – возвращением домой. Перед нами приметы утопии: идеальное общественное устройство; победа добра над злом; гармония рая; сакральный локус. Утопические признаки существенно упорядочивают элементы мифологического пространства Европы.

Одновременно дополняется определениями и анти-образец, негативная ипостась идеала. Образ России задан также в терминах романтизма: “Я родился в стране отчаяния! ... Жить в такой стране, где все твои силы душевные будут навек скованы – ... нет, безжалостно задушены – жить в такой стране не есть самоубийство? Мое отечество там, где моя вера!” (цит. по: [2. С. 102]). Несмотря на то, что жизнь его проходит в юго-западных губерниях, она вызывает у него ассоциации с “холодом”, “мраком” и “грязью”. Дополняет картину обозначение своего местопребывания как “Сибири” – в том значении этого слова, в котором оно использовалось в творчестве романтиков – как место ссылки невинно-осужденных, как последний приют для борца-изгнанника. Так реальное пространство осмысливается через литературное и наоборот, что также является характерной чертой русского романтизма (см.: [8. С. 341–350]): “За что же меня сослали в Сибирь с детства? ... Тут никто не виноват... Это – закон географической широты” [10. С. 161]. Особенности отрицания вызывают у Печерина проявления русского духа, его “бытование”, к которому он испытывает чувство брезгливости. Неприятные воспоминания остались у юного Печерина от общения с представителями православного духовенства и “цвета южнорусского дворянства”, жизнь которых – “мерзости” и “умственный разврат” [10. С. 158]. Причину видит он в неизбывном, вечном рабстве и деспотизме: “Рабами мы родились, рабами мы живем, рабами мы умрем!” [10. С. 158].

В 18-летнем возрасте воззрения Печерина получают законченное выражение: это обожание Европы и ненависть к России. Запад теперь воспринимается им как единственно возможное место реализации исключительной личности – ее “внутренней доблести и независимости духа”, а Россия остается воплощением деспотизма, “скуки, досады, грусти, отчаяния”. “Сколько

тут накипелось ненависти ко всему окружающему, ко всему родному, к целой России! Да из-за чего же мне было любить Россию? У меня не было ни кола ни двора – я был номадом, я кочевал по Херсонской степи, – ... родина была для меня просто тюрьмой, без малейшего отверстия, чтобы дышать свежим воздухом. ... Я читал Байрона и упивался его ненавистью!” В “припадке байронизма”, как пишет он, написал в Берлине через десять лет следующее четверостишие, благодаря которому прослыл для многих своих соотечественников-потомков русофобом: “Как сладостно отчизну ненавидеть / И жадно ждать ее уничтоженья / И в разрушении отчизны видеть / Всемирного денницу возрожденья!” [10. С. 161]. Однако этот, возмущающий русских читателей, пассаж вполне вписывается в стилевые нормы романтизма, санкционирующие байронизм и в декларациях, и в поведении [8. С. 344].

Объясняя причины своей ненависти к отечеству, Печерин приводит для сравнения возможности своего ровесника в Англии или Америке: «Преждевременно возмужалый под закалѣм свободы он... уже занимает значительное место среди своих сограждан. Родись он хоть в Калифорнии, хоть в Оризоне – все же у него под рукою все подспорья цивилизации. Все пути ему открыты (наука, искусство, промышленность, торговля, земледелие и, наконец, политическая жизнь с ее славными борьбами и высокими наградами, – выбирай что хочешь! Нет преграды. Даже самый ленивый и бездарный юноша не может не развиваться, когда кипучая деятельность целого народа беспрестанно ему кричит: вперед! Go ahead! ... А я в 18 лет едва-едва прозябал, как былинка. Я все просился в университет. Отец однажды сказал мне: “Вот я тебе дам 500 рублей, поезжай в Харьков и купи себе диплом”. Боже праведный! ... Но как же это рисует русские нравы, русский взгляд на вещи! В других странах стараются развить человека, а у нас об одном хлопочут – как бы сделать чиновника» [10. С. 161]. Европейской будущности юноши препятствует природный закон – тот самый “закон географической широты”, определяющий страну рождения, рок лишает его свободы индивидуального выбора.

Следующий период жизни Печерина – очень важный с точки зрения биографической и профессиональной, почти полностью выпадает из повествования. В это время он блестяще завершает учебу в университете, начинает научную деятельность, сочиняет и печатается, становится членом кружка А. Никитенко. Но эти события для Печерина относятся к обыденности, рутине. Поэтому описание почти шестилетнего периода в Петербурге и Москве сводится к рассказу о разочаровании одаренного человека, предназначившего себя к другой жизни: “Преподавание было ужасно поверхностно, мелко, пошло” [10. С. 289]. В Москве он “увидел эту грубо-животную жизнь, эти униженные существа, этих людей без верований, без Бога, живущих лишь для того, чтобы копить деньги и откармливаться, как животные!” [10. С. 172]. Это тем более поразительно, что совершенно не соответствует фактам биографии Печерина: в Петербурге он становится известен на литературном поприще, как одного из лучших выпускников университета его посылают на стажировку в Берлин, а по возвращении он становится профессором Московского университета.

Постепенно, в период первого путешествия Печерина, формируется новый, уточненный конкретным опытом, образ Запада. Он начинает дифференцироваться (подробнее об этом см.: [12]). Германия (в Берлине он стажировался вместе с другими российскими профессорами) ему не понравилась, и

Швейцария становится главной целью его устремлений. Он воодушевлен возможностью принести себя в качестве осмысленной жертвы свободе и идеям справедливости: “Еще при первом отъезде за границу я решился не возвращаться и броситься стремглав в объятия республиканской партии, и жить и сражаться и умереть с этими героями и мучениками свободы!” [10. С. 276].

Прочитав о революционере Дж. Мадзини, скрывавшемся в Лугано, Печерин грезит “поклонением святым местам”, связанным с его именем [10. С. 176], и готовяся к отъезду, мечтает именно о них. Франция же, которая по-прежнему ему незнакома, остается абстрактным “таинственным пределом мечтаний и надежд” [10. С. 168].

Первая же поездка в вожделенную Европу (Берлин) убеждает его в бессмысленности преподавательской карьеры: результаты сравнения России и Европы были предопределены: “На меня подул самум европейской образованности, и все мои верования, все надежды, (связанные с наукой? – *М.Л.*) облетели как сухие листья”. Печерин грезит не о такой славе, и сразу же после вынужденного возвращения в Россию начинает планировать отъезд. В это время он впервые серьезно задумывается о том, что есть Отечество и долг перед ним, одновременно тщательно и вполне трезво разрабатывая детали: “Все было обдуманно, взвешено и рассчитано до последней копейки” [10. С. 175].

В этот период все в его взглядах было подчинено рационализации, особенно поразительной в сравнении со всей его предыдущей духовной жизнью. Так, вопрос о долге был одним из определяющих в мировоззрении Печерина (“выше всех философий и религий стоит во мне священное чувство долга” [10. С. 175]). Долг для него не чувство, а поддающаяся рационализации идея. Вообще он более склонен к размышлению о чувствах, нежели к их переживанию: “Глыба земли – какое-то сочувствие крови и мяса – неужели это Отечество?” (цит. по: [2. С. 102]). Будучи честолюбивым и высоко оценивая свой творческий и личностный потенциал, он убеждал себя в том, что человек рожден реализовать себя и не должен действовать вопреки своим идеалам, для него связанным только с Европой. Возможность свободно выбирать свой путь независимо от деспота, законов, морали отождествляется им с обретением истинной родины – этой духовной Отчизны – т.е. Запада. «Однажды я услышал голос моего бога... этот голос прокричал мне: “Что ты тут делаешь?! Встань! Покинь страну своих отцов!” ... то была живая вера» [10. С. 173]. Но и вера понимается Печериным не в религиозном смысле, а как верность убеждениям: “Мой долг, – пишет он, – ... прежде всего повиноваться моим убеждениям; ... какое мне дело до моей чести, до моего доброго имени, только бы восторжествовало мое убеждение”. Но тут же проговаривается: “Слава! Волшебное слово! Небесный призыв, для которого я распинаюсь!” [10. С. 173]. Объединить верность идее с обретением славы возможно только в политике и именно к такому заключению приходит Печерин накануне своего отъезда: он увидел “новую веру, которой суждено обновить дряхлую Европу! ...пожертвовать жизнью святому делу – вот благородная и возвышенная цель. Политика стала моей религией, и вот ее формула: республика есть республика, и Маццини – ее пророк” [10. С. 175].

Но при этом он сам неоднократно подчеркивает, что решение его было тщательно продумано. Он вполне рационально обозначил три причины, по которым для него стало невозможно оставаться в России: религиозная (он не верил в Бога), профессиональная (отсутствие призвания к преподавательской деятельности) и невозможность свободно заниматься литературной деятельностью.

План побега в Швейцарию удался Печерину в июне 1836 г. Романтический герой совершил не мысленный, не поэтический, а вполне реальный побег в свою утопию, и с этого момента он начинает жить и мыслить по новым правилам. Так заканчивается первая часть “Записок”.

Вторая часть “Апологии”, как и вторая половина жизни В.С. Печерина, кардинально отличается от первой. И не только главное решение его жизни о бегстве в Европу является своеобразной границей между ними. Меняется стиль записок и содержание их. Детальные описания мечтаний, фантазий и идей уступают место точным и скупым характеристикам бытовой, прозаической жизни. В начале второй части время от времени еще встречаются зарисовки, близкие к поэтическим, но вскоре они исчезают, уступая место рациональным и эмоциональным рассуждениям и логически выверенным обоснованиям причин принятия католицизма в 1840 г. – через четыре года после приезда в Базель (в мае 1836 г.), когда Печерин “в первый раз свободно вздохнул” [10. С. 177]. Вместе с тем все рассмотренные выше черты романтизма – стилистика изложения, отношения между главным персонажем повествования (Печериным в детстве и юности) и рассказчиком-комментатором (Печериным полвека спустя), поэтические штампы и клише, особенности романтической утопии (составной части печеринского мифа Европы), а также наиболее существенные признаки самого этого мифа (оппозиция *реальное – идеальное, далекое – близкое, холодное – горячее* и т.п.), – все это дает возможность сделать предположение о том, что “Апологию” неверно читать только как мемуары. Она – и, кажется, вполне осознанно – построена по правилам художественного произведения. Это повесть, написанная в духе раннего русского реализма с характерным для него “разоблачением” романтического героя, когда литературный персонаж выводился за пределы самой литературы и превращался в героя реальной жизни, сталкивающегося не с литературными сюжетами, а с действительностью” [13. С. 446]. Обращение к этой литературной форме, безусловно, не было первым и главным мотивом В.С. Печерина, но оказалось весьма уместным для художественного воплощения идеи автора “Записок”: рассказать о своей жизни не как о духовном подвиге (хотя иногда об этом намерении автор все же проговаривается), а как о заблуждениях человека. “Записки” не стали вполне и исповедью монашествующего философа – литературное прошлое и ораторский талант оказались сильнее. И дело не только в том, что Печерина последовательно разочаровали идеи христианского социализма, революционной борьбы, своеобразия католической монашеской аскезы, с конкретным содержанием и практикой которых он познакомился в Европе. На склоне лет он пришел к выводу о том, что всякая идеализация непременно ведет к разочарованию, что всякая действительность далека от любого идеала.

Одним из первых исследователей серьезно проанализировал особенности романтизма В.С. Печерина В.Г. Шукин, который назвал поклонение Печерина Западу “религиозным” [12. С. 559], и считал его создателем оригинальной романтической модели русского мифа о Западе [12. С. 561]. С этим нельзя не согласиться, если не принимать в расчет эволюцию взглядов автора “Оправдания моей жизни”, его склонность к трезвому размышлению и жестко-рациональному обоснованию не только поступков, но и движений собственной души. Восторгавшийся лекциями Ганса, ученика Гегеля, в 1830-е годы в Берлине, талантливый католический проповедник и полемист, Пече-

рин-монах не склонен к идеализму и восхвалению. Даже комментированный автором спустя 40 лет рассказ о некоторых очевидно неблагоприятных своих поступках, зачастую ставит читателя в тупик. Так, декларируемая любовь к свободе и ненависть к деспотизму вполне уживается (причем безо всякого раскаяния глубоко верующего монаха) с откровенной брезгливостью – и физической, и нравственной – в отношении и к своей несчастной крепостной старухе, рискнувшей прибегнуть к заступничеству молодого барина, и к солдатам – подчиненным отца-командира (“священное холопское негодование” – это он пишет о реакции старика-камердинера, раздосадованного “свободолюбивым” нарушением воинского этикета со стороны барчонка). Болезненная любовь к оскорбляемой грубым и безнравственным (в оценке Печерина) отцом маменьке, которая – единственный любящий мальчика родной человек, не может объяснить того, почему по прошествии десяти лет после отъезда из родного дома, уже приняв решение навсегда покинуть Россию, молодой Печерин делает все, чтобы не увидиться с родителями. Причем из принципа: он дал себе слово больше никогда не общаться с ненавистным отцом. Не говоря уже о том, что, оказавшись в затруднительном финансовом положении примерно через полгода после отъезда, он пишет близким друзьям письмо с просьбой о высылке денег, ни словом не упомянув о том, что возвращаться он не намерен. Его университетские товарищи, ничуть не богаче самого Печерина, собирают ему деньги [14. С. 63–64]. Таких примеров немного, но они красноречиво свидетельствуют о том, что эти противоречия служат выходу автора-романтика из данной художественной системы, несоответствие поступков героя его декларациям призваны подчеркнуть “полевическое” и вполне осознаваемое отталкивание от романтизма [13. С. 447].

В своей биографии и своем творчестве Печерин прошел путь от романтических грез к реальным бытовым проблемам, от эффектного жеста к ежедневной работе, от поэзии к проповеди. Излюбленный сюжет “столкновения жизни и ее романтического отражения” в “Апологии” В.С. Печерина наполнен биографической подлинностью, но ему присущи все черты данного направления. Его “идеальной моделью становится Дон-Кихот” [13. С. 447], – пишет Ю.М. Лотман. Именно так автор “Замогильных записок” призывает воспринимать себя. Печерин как бы раздваивается, выступая и в роли повествователя, и в роли главного героя, он не раз называет себя Дон-Кихотом. Этот образ настойчиво повторяется и в автокомментариях Печерина, и в его прямом диалоге с читателем. Подтверждает наше предположение резкое стилизованное и содержательное отличие второй части “Записок”, рассказывающей о скитаниях Печерина в Европе. На смену эмоциональным, ярким, поэтическим образам с характерными для романтизма сравнениями приходят жестко-ироничные замечания автора; некоторые из его зарисовок “с натуры” – просто сатира. Автор как бы наслаждается самоиронией и самобичеванием. Эта часть совершенно отлична и по форме, и по выбору описываемых фактов. Знакомство с самой Европой (образом жизни, бытом, культурой, людьми) находит отражение не столько в описаниях жизни духа, сколько в конкретных событиях и обстоятельствах биографии автора. Несмотря на то, что с принятием орденов Печерин погружается в иной мир – философии, религии и размышлений, он очень мало говорит об этом, заменяя рассказ о духовной работе ироничными мозаическими отрывками, почти маленькими новеллами в сатирическом духе. Именно в этой части “Романа жизни” он

рассказывает о встрече с поляками-эмигрантами – медиком-выпускником Цюрихского университета Бернацким и Потоцким. Эти знакомства происходят уже после того, как Печерин принимает католицизм, разочаровавшись и в революционных идеях, и, в особенности – в их носителях.

Столкновение с реальной европейской действительностью побудило Печерина к размышлениям об истоках и особенностях национальных типов. Его характеристика эмигрантов-поляков дается именно в этом контексте, поэтому она далека от детального анализа исторических и культурных причин их формирования. Рассуждая о национальных стереотипах вообще, и о польских в том числе, Печерин находит наиболее “уязвимые” особенности национального образа, иначе говоря, акцентирует внимание главным образом на негативных стереотипах. Однако в этих рассуждениях он не отталкивается (как это обычно происходит с носителем этнокультурного стереотипа) от сравнения характера народа с национальным своеобразием той культуры, которая есть “своя”. Для В.С. Печерина такой точкой отталкивания, своеобразным эталоном, является Франция и французский национальный характер, оцениваемый им крайне отрицательно. В своем сопоставлении он, следовательно, исходит не из позитивного автостереотипа, а от идеального образа, который непосредственно с этнической принадлежностью не связан. Поскольку в его прежней – до вхождения в орден – жизни таким образцом были взгляды и политическая деятельность французских революционеров, то он вынужден признаться: “У меня есть зуб на Францию – именно за то, что она своими идеями заставила меня жить и действовать наперекор моим врожденным наклонностям. Нет ничего противнее моей натуре, чем французские фанфаронство и рассеянность. Но чего не сделает человек из так называемых убеждений? ... от этого я теперь ненавижу все возможные убеждения” [10. С. 218]. Относясь к убеждениям и воззрениям как “неестественным” для натуры человека качествам, мешающим его истинной самореализации, В.С. Печерин на склоне лет (а, может быть, под влиянием католической веры) приходит к мысли о том, что целенаправленная практическая деятельность есть один из важных критериев оценки и человека и народа в целом.

Отсюда – ироничное и довольно суровое изображение особенностей французского национального характера: “У француза свое особенное мирозерцание. Спросите, например, у англичанина, для чего человек живет на свете, для чего он создан? Он вероятно будет вам отвечать: “To do business” – “Для того, чтобы делать дело”; американец-янки прибавит: “To make money” – “Для того, чтобы зашибить копейку”. Но все-таки у обоих есть понятие о какой-то полезной деятельности. Теперь предложите тот же самый вопрос французу, – где бы вы его не встретили..., он непременно вам ответит: “L’homme est ne pour le plaisir” – “Наслаждение – вот конечная цель человека”. В сен-симонистской религии предполагалось заменить церковь театром. ... Это чисто парижская идея ... во французской голове вовсе не находится понятие о долге, т.е. о нравственной обязанности. Нельсон перед Трафальгарскою битвой говорит своим матросам и солдатам: “Англия надеется, что каждый из вас исполнит свой долг” ... Русский генерал сказал бы: “Ну, теперь ребята постарайтесь за царя да за Русь святую!” – “Рады стараться! Ваше пррррр...” – отвечает тысяча голосов? Тоже очень скромно и без малейшего фанфаронства, потому что у русского, как у англичанина, есть понятие о священном долге служить царю и отечеству. А у француза оно вовсе не существует, а есть, напротив, без-

мерное, ничем не истощимое тщеславие” [10. С. 217–218]. Отказывая французам в возможности осуществлять “полезную деятельность”, обвиняя их в стремлении прожигать жизнь, В.С. Печерин косвенно упрекает их в невозможности вести серьезную политическую подготовку к революции. Кроме того, он явно одобрительно относится ко всякой жертвенности во имя чувства долга. И именно этот критерий становится для него вторым по значимости в оценке европейских народов.

Но тогда справедливо будет предположить, что отношение к полякам, именно в эту эпоху прославившихся героизмом и жертвенностью во имя независимости своей Родины, у Печерина должно быть кардинально противоположным – т.е. положительным. Но, к удивлению, это совсем не так. Характеристика поляков далека от основательности и сводится к почти карикатурному перечислению стереотипных черт. Наиболее яркие образы поляков у В.С. Печерина – эмигранты Бернацкий и Потоцкий. Они описаны как чудаковатые, невоздержанные, но весьма практичные – “материалистические” – революционеры. Оба они отражают в своих взглядах и – это особенно подчеркивает Печерин – во внешнем облике и поведении – “грубость славянской натуры”. К славянам Печерин причисляет также и русских. Типичные русские и польские черты проявляются в приземленности духа, в крайней невоздержанности, любви к удобствам и роскоши: так, для Бернацкого – студента университета – коммунизм есть идеал “братской роскоши и довольства, каких свет еще ни видал”. “Это была грубая, коренастая славянская натура, без малейшего понятия о нравственных условиях общества” [10. С. 202], – заключает автор “Апологии”. Мир коммунизма по Бернацкому – средневековая утопия сытости. Отвечая на вопросы Печерина об организации общества будущего, поляк вынужден признать, что наличие рабов в таком обществе все же необходимо. Вместе с тем “Бернацкий не признавал никакой власти и никакого повиновения; о них он и слышать не хотел. ... Апостол мой терпеть не мог аристократов” [10. С. 203]. Общей и самой печальной, поскольку неизменной, польской чертой является, по Печерину, лень и как следствие ее – желание получать, не прилагая усилий. “Идеал польского шляхтича” по мнению автора, воплощен в Потоцком: “Он, как и все поляки, получал от Бельгийского правительства один франк в день, этим довольствовался и решительно ничего не делал: или лежал, развалившись, в постели, или бродил по городу. Как же это решительно ничего не делать? Но такова уж славянская природа. С самого детства я слышал пословицу: лень прежде нас родилась” [10. С. 224]. Печерин считает лень характерной славянской чертой и противопоставляет ей присущее европейцам трудолюбие, которое он иронично называет “ересью англосаксонского племени”: “Ведь какой-нибудь англичанин, американец или немец даже пустился бы на разные хитрости, чтобы зашибить копейку и доставить себе более удобств или вообще чтобы иметь какое-нибудь занятие” [10. С. 224–225].

Этим Печерин объясняет и неэффективность славянской (и польской, и русской) политической оппозиции, и полное отсутствие предпринимательской жилки, основанной на любви к работе, а не на принуждении к ней. Однако свободолюбивая восторженность польских политических изгнанников казалась ему принципиально отличной от “серьезной” мотивации своего собственного отъезда, хотя читателю, напротив, бросается в глаза их очевидное сходство. “У русских бездна честолюбия, но это честолюбие не любит трудиться и терпели-

во достигать цели: нам всем хочется подцепить славу как-нибудь мимоходом при первом благоприятном случае ...у нас всякий считает себя способным на все без малейшего приготовления» [10. С. 276], – так характеризует В.С. Печерин настроения и действия русских эмигрантов в Европе. Он отмечает явное сходство польского и русского революционных движений лишенных основательности политической культуры и склонных к ненужной аффектации.

И Бернацкого, и Потоцкого отличает, по мнению Печерина, черта, присущая полякам в большей степени, нежели другим славянам – хвастовство и склонность ко всякого рода утопиям и преувеличениям. Так, первый называет себя “апостолом коммунизма”, проповедуя, по замечанию Печерина, “по кабакам самый бешеный коммунизм”. «Он представлял себе коммунизм как “рай с гуриями”: ... как это славно будет, - воскликнул Бернацкий, – вот эдак мы сидим – вольные граждане за общим столом. Тут разумеется, все отборные роскошные яства – вино льется рекою – гремит лихая музыка, и под музыку перед нами пляшут нагие девы!» [10. С. 203–204]. Потоцкий же рассказывал о Польше “небылицы, что у меня просто уши вянули ... Польша благословенная Аркадия, страна патриархальной невинности и чистоты нравов. О невинности польских нравов я кое-что слышал от наших офицеров, да и сам был на Волыни и в Подолии. Но ... мое свидетельство ничего не значило перед авторитетом Потоцкого: ведь он ПОЛЯК! А в то время каждый поляк был украшен двойным золотым венцом (ореолом): воинской доблести и несчастья” [10. С. 225]. Однако славяне достойны, по мнению Печерина, жалости, а не осуждения: “Несчастное славянское племя! Мы какую-то непреодолимою силою увлекаемся к рабству. Раболепие в нашей крови” [10. С. 225].

Печерин считает, что характер народа формирует тот самый “закон географической широты” и выделяет в Европе несколько национальных типов: англо-саксов, французов, славян и итальянцев. Поляки и русские представляют славянскую натуру; они и все другие европейцы являются антагонистами по своей природе. Будучи более озабочены материальными вопросами, нежели жизнью духа, славяне неспособны к кропотливому труду, изнурительному духовному самосовершенствованию, которое только и может привести к европейскому благоденствию. Вместе с тем представления о неславянах и славянах тяготеют к оппозициям *старый – юный; мудрый – неопытный, трудолюбивый – ленивый, основательный – легкомысленный*, и т.п. Таким образом, Польша для В.С. Печерина не вписывается в европейский культурно-географический миф (более подробно см.: [12. С. 560, 573; 15. S. 48])⁴. Поляки для

⁴ Необходимо упомянуть, однако, что и в 1860-е годы декларативные заявления В.С.Печерина расходятся с некоторыми фактами его биографии. Именно тогда произошел глубокий конфликт Печерина с Ватиканом, (он отказался от предложения папского окружения “стать во главе русского католического движения в Европе, занявшись обращением в католицизм представителей высших кругов русского общества”). Узнав об этом, некоторые русские общественные деятели всерьез пытались привлечь его к прорусской пропаганде. В частности, в 1863 г. разгорелась полемика между Катковым и Погодиным (в “Московских ведомостях”) о “возможном благотворительном прорусском влиянии Печерина на польское католическое духовенство в восстании 1863 г.”. В резко возмущенном ответе Печерина можно увидеть его политическое отношение к польским делам: “Я живо сочувствую геройским подвигам и страданиям католического духовенства в Польше: если б я был на их месте, я бы действовал, как они действуют... Я никогда не думал, что католическая религия, в какой б то ни было стране должна служить опорой самодержавию...” [14. С. 257].

него не являются представителями европейской культуры в российской империи, а скорее видятся носителями европейского провинциализма, хотя и отличного от русского. Он однозначно относит их к еще не цивилизовавшимся молодым народам, со всеми присущими юности чертами: легкомыслием, неволедержанностью и неспособностью к рациональному мышлению.

Таким образом, романтический миф Европы, который юный В.С. Печерин создал себе в молодости, оказался весьма своеобразным. Его уникальность состоит в том, что он был не просто рожден, но и пережит своим создателем трижды – в мечтах и грезах юности, в стремлении воплотить его в реальность (бегство в Европу), и, наконец, в своем литературном воплощении (“роман жизни” – согласно определению самого В.С. Печерина). Эта мифологическая конструкция при кажущемся внешнем сходстве с аналогичными идеями русской общественной и художественной мысли 30-х годов XIX в., оказалась принципиально отличной от них по своим трагическим последствиям для конкретной судьбы⁵.

Антитеза *Россия – Европа* была для В.С. Печерина с детства не вопросом, а ответом. Печерин оказался далек и от историософских, и от религиозных исканий в этом направлении. Он довел до логического завершения идею преклонения перед Западом, тайно покинув Россию. Это определило его уникальное положение в русской культуре XIX в. На мой взгляд, именно буквальное, прямолинейное и потому неверное прочтение главного труда Печерина – “Оправдание жизни” – создало и надолго закрепило за ним репутацию русофоба. В своем стремлении воплотить художественные идеалы в жизнь, а потом создать из собственной биографии роман, Печерин был типичным русским романтиком. Великая утопия его жизни стала реальностью, чтобы вскоре смениться разочарованием и новым бегством: “судьба заперла меня в тесном круге”, – напишет он в конце жизни. Миф Европы – как и всякий миф – развеялся при попытке воплотить его в действительность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Печерин В.С. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона; Печерин В.С. // Христианство. М., 1995. т. 2.
2. Гершензон М.О. Жизнь В.С. Печерина. М., 1910.
3. Герцен А.И. Былое и думы. М., 1987. Т. 2.
4. Гершензон М.О. История молодой России. М., 1908; *Сабуров А.А.* Из биографии В.С. Печерина // Литературное наследство. М., 1941. Т. 41–42; *Сабуров А.А.* Из переписки Печерина с Герценом и Огаревым // Литературное наследство. М., 1955. Т. 62; *Śliwowska W.* W kręgu popszedników w Hercena. Wrocław, 1971.
5. *Walicki A.* Rosja, katolicyzm i sprawa polska. Warszawa, 2002.
6. *Цимбаев Н.И.* “Под бременем познания и сомнений”... Идеиные искания 1830-х гг. // Русское общество 30-х гг. XIX века. Люди и идеи. Мемуары современников. М., МГУ, 1989.
7. *Печерин В.С.* Оправдание моей жизни. Памятные записки // Наше наследие. 1989. № 1.
8. *Лотман Ю.М.* Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). М., 1994.
9. *Егоров Б.Ф.* Очерки по истории русской культуры // Из истории русской культуры. М., 1996. Т. 5. XIX век.

⁵ В конце жизни Печерин окончательно разочаровался и в капитализме, и в идеалах европейского общества; последние дни провел в полном одиночестве, забытый всеми.

10. *Печерин В.С.* Замогильные записки (Apoloia pro vita mea) // Русское общество 30-х гг. XIX века. Люди и идеи. Мемуары современников / Подг. текста и комментарии С.Л. Чернова. М., МГУ, 1989.
11. *Лотман Ю.М.* Внутри мыслящих миров. М., 1999.
12. *Щукин В.Г.* Запад как пространство “романтического побега” // Из истории русской культуры. М., 1996. Т. 5.
13. *Лотман Ю.М.* “Человек, каких много” и “исключительная личность”. (К типологии русского реализма первой половины XIX в.) // Из истории русской культуры. М., 1996. Т. 5. XIX век.
14. *Симонова И.* Федор Чижов. М., 2002.



© 2004 г. Н. М. ФИЛАТОВА

ВЗГЛЯДЫ НА БУДУЩЕЕ ЕВРОПЫ И ПОЛЬШИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. МИЦКЕВИЧА И К. БРОДЗИНСКОГО

Образ Европы в литературе польского романтизма нельзя представить без “Книг польского народа и польского пилигримства” (1832) А. Мицкевича [1]. Это наиболее яркий из созданных романтиками образцов этноцентризма и негативного восприятия западноевропейской цивилизации. Ниже анализ этой работы объединен с исследованием другого романтического произведения, написанного тремя годами позже и под большим влиянием “Книг”, – “Послания братьям-изгнанникам” (1835) К. Бродзинского. Они сходны как проблематикой – это судьба и историческое предназначение Польши в Европе, гражданская этика поляков в эмиграции, – так и библейской стилизацией, которая позволяет авторам решать нравственные проблемы в глобальном масштабе. Сопоставление этих литературных текстов дает возможность полнее проиллюстрировать положения, которые внесла в концепцию Европы романтическая идеология.

“Книги” уникальны для своего времени как художественное произведение, до предела насыщенное политикой. Их текст, по выражению З. Стефановской, “аж гудит от истории и политики” [2. S. 116]. Страницы “Книг” полны политической фразеологией, историко-географическими названиями, которые, взятые вместе, представляют собой почти всю европейскую карту. Создается целостный образ Европы – такой, какой она виделась Мицкевичу в 30-е годы XIX в.

По традиции, заложенной просветителями, Европа должна была представляться как воплощение высших ценностей, которые принесли с собой буржуазные революции XVII–XVIII вв. К ним относились свобода личности, равенство сословий, благополучие государства (согласно либеральной доктрине – идея разделения властей), богатство страны. Ориентируясь на них, польские мыслители эпохи Просвещения, как указывает Е. Едлицкий, строили единую шкалу общественного прогресса, с помощью которой мерили Европу и определяли место Польши среди других государств [3. S. 186]. Доминировало убеждение, что передовые страны Западной Европы (Франция, Англия) создали высший тип цивилизации, которая служит для всего мира

Филатова Наталья Маратовна – канд. ист. наук, научный сотрудник Отдела истории культуры Института славяноведения РАН.

мерой и нормой. При этом считалось, что ценности этой цивилизации являются универсальными и будут постепенно распространяться на другие страны. Польшу безусловно относили к кругу западной цивилизации, но полагали ее отстающей в своем развитии.

Автор “Книг” строил свою историософскую концепцию на оппозиции по отношению к философии эпохи Просвещения. Пренебрежение рационализмом XVIII в. – существенная черта видения Мицкевичем Европы и ее проблем. Создавая образ современной ему Европы, поэт определял свое отношение ко всем ценностям западной цивилизации. Все они, в его понимании, извращены, как сама современная трактовка этого ключевого понятия эпохи Просвещения, когда цивилизацией называют мир материальных вещей: “модные и изысканные наряды, вкусные блюда, удобные гостиницы, красивые театры и широкие дороги” [1. S. 40]. Поэт призывает вернуться к первоначальному высокому значению слова *цивилизация*, которое происходит от *civis* (гражданин). Истинная цивилизация, по его словам, должна быть христианской, поэтому поляки, которым принадлежит особая роль в развитии христианства, должны учить чужеземцев.

Промышленное развитие и материальное благосостояние не являются, по мнению Мицкевича, определяющим фактором. Паровая машина и Корабль, которыми англичане подменили Небесного Отца, не спасут их (как и немцев с Ремеслом и Пивной, и французов с Биржей) от Страшного суда. Благополучие, которому молятся немцы, – это языческий Бог Молох. Вообще, благосостояние – это одно из искушений дьявола, которое сбilo с пути истинного блудных детей – европейские народы. Поддавшись ему и мировой славе, они забыли отеческое лоно – христианскую церковь – и стали подобны пьяницам и развратникам. Европейцы – идолопоклонники: “Стол – алтарь их; чрево – божество” [1. S. 56]. Языческим является их обычай отмечать национальные праздники едой и питьем, языческая – страсть к нарядам, которыми украшают себя цари, короли и должностные лица. Мицкевич отрицает возвышающую роль ремесел и искусств в жизни человеческого общества. Им можно научить – “не только у европейцев, но и у турок, и у дикарей” [1. S. 45].

“Наука Европы – глупость” [1. S. 38], – провозглашает Мицкевич, отрицая тем самым ключевую ценность эпохи, стремившейся к рациональному устройству мира. Он не принимает характер современного европейского просвещения (“мудрость этого века” – “большая вода”, у которой только неразумные пытаются искать спасения в грозу [1. S. 33]), более того, не признает решающую роль рационалистической науки в жизни общества. По его словам, “Греция, мать философов, умерла и лежала в гробу, пока не забыла обо всех науках”, а когда “превратилась в простеца, тогда зашевелилась” [1. S. 32]. Просвещенными были и созданные Наполеоном королевства, но они погибли и не воскресают.

Особую претензию поэт предъявляет европейским ученым и философам. Это они – Вольтер и Гегель – “раздавали вместо хлеба яд”. Учения Ф. Гизо и В. Кузена подобны “шуму пустых мельниц”, в которых нет “зерна Веры”, и никто из них не напится. Это они – “фальшивые мудрецы” – отреклись от Христа и, превратившись в “жрецов Ваала, Молоха и Равновесия”, велели народам кланяться этим идолам. Подлинное знание, по Мицкевичу, должно быть “словом Божьим” [1. S. 33–34], ибо “самые просвещенные” и “самые цивилизованные” афинские мудрецы были покорены словом апостолов. На-

ука должна быть одухотворена и далека от доктрин и теорий – ведь недаром глупого человека называют в Европе доктринером (здесь Мицкевич обращается к своим любимым предметам – лексике и этимологии). Бранным, по его мнению, должно в будущем стать и слово “профессор”.

Отвергая “немецкие тоги и береты” (символ университетской науки), Мицкевич отвергает и “красные французские шапки” – символ свободы во времена Великой французской революции – и “английские горностаи” – символ конституционной монархии [1. S. 50]. Политические идеалы Европы 1830-х годов и ее устройство свидетельствуют, по его убеждению, о ее глубоко кризисе. Вдохновленное Богом законодательство, в основе которого должна лежать любовь к отчизне и свободный акт волеизъявления народа, уступило место выдуманному кодексам, харизматическая власть – парламентским дебатам, свидетельствующим о дезорганизации и отсутствии силы.

На самом деле, в Европе царит деспотизм монархов. Он абсолютно господствует в Австрии, Пруссии и России, в которой процветает рабство, сравнимое лишь с тем, которое было в Римской империи. Россия для Мицкевича символизирует ужасы насилия – даже адское пекло он описывает при помощи русских слов *кнут* и *указ* [1. S. 87]. Не только по географическому положению, но и по своему общественному устройству Россия у Мицкевича смыкается с Азией. Москали и азиаты, в отличие от “детей свободы” – европейских народов – подобны камню, глухому к идее свободы. При этом сравнение России с Азией не всегда в пользу последней. Обращая внимание на то, что русский император является главой церкви, поэт замечает, что даже турецкий султан подчиняется законам Магомета [1. S. 4].

Деспотизм подобен огню, стелющемуся по Европе (Мицкевич имеет в виду подавление революций начала 1830-х годов). Немцев он полностью поглотил, подобрался и к Франции с Англией. Монархи стремятся к такой власти, какую имели некогда правители диких язычников, а в XIX в. сохраняют лишь цари африканских племен.

В борьбе с тиранией то, что противопоставляет ей либеральная доктрина, бессильно. Ведь даже абсолютные монархи творят произвол, прикрываясь фальшивыми лозунгами “законодательства” или “свободы совести” [1. S. 18]. Конституция, парламент, законы, аристократия, демократия – все это вымысел доктринеров, “ветхозаветные”, по Мицкевичу, ценности. Тот, кто основывается на них, живет по “старому закону”. Рассуждающие о двух палатах парламента, о выборах и свободе печати подобны фарисеям и саддукеям, препирающимся о чистом и нечистом в еде.

Поэт с презрением отзывается о существующих в Европе формах правления и общественного устройства: “Сейчас власть в Европе – это поругание” [1. S. 38]. “Правители и учреждения этого века”, в его представлении, слабы и несостоятельны, хотя и носят громкие названия. Недаром в народе существует презрение к министерствам, и человека низкого называют в Европе “министерским”. Подобное издевательское значение будут в скором времени иметь существующие в разных языках наименования титулов и должностей – “*roi, lord, par, minister*” [1. S. 36].

Правам, законам и правительствам Мицкевич противопоставляет высшие, в его понимании, ценности – отчизну и свободу, дебатам о форме правления – силу чувств и самоотверженность. Зерно будущих законов, по его убеждению, находится в душе самого народа. Поэт подчеркивает роль вдох-

новения в законотворчестве, когда пишет, обращаясь к полякам: “То, что вы постановите, будет законом не только для вас, но и для всех свободных народов” [1. S. 81].

Здесь Мицкевич последовательно антирационален. Подобная концепция истории просматривается и в другом его произведении – “История будущего”, наброски к которой появились также в начале 1830-х годов. В одном из вариантов своей утопии Мицкевич описывает общеевропейскую революцию и разразившуюся одновременно с ней гражданскую войну во Франции. В то время как вся карта Европы стремительно меняется в результате действия стихийной силы, французские пролетарии беспрерывно “вырабатывают принципы идеального общественного устройства”, но так и не могут прийти к согласию по поводу основ будущей конституции. В итоге Франция, в которой было создано столько “теорий рационального правления”, оказывается исторически несостоятельной, неспособной не только возглавить мировую революцию, но и завершить ее у себя без вмешательства объединенных сил революционной Европы. Бесплодным теоретическим спорам Мицкевич противопоставляет “безошибочность народного инстинкта” [4. S. 101–102] (подробнее см.: [5. С. 79–83]).

Неприятие либеральной идеологии сближало Мицкевича со многими европейскими романтическими мыслителями – Ф. Баадером, Ф. Шлегелем, А. Мюллером [6. S. 53]. Общность идей видна в его отношении к рационализированным, деперсонализированным связям между людьми, к рациональному законодательству. Отрицание всяческих дискуссий роднило Мицкевича с Ж. де Местром.

Однако, главным предметом критики Мицкевича в “Книгах” являются основы европейских международных отношений. Описывая историю народов Европы как историю отречения их правителей от Христа и развития идолопоклонства, Мицкевич дает идолам символические названия. У французов это Почет, у испанцев – Политическое превосходство или Политическое влияние, у англичан – Господство на море и Торговля. Во имя них народы, в эпоху крестовых походов сражавшиеся вместе за христианскую веру, теперь воюют между собой. К фальшивым божествам Мицкевич относит и общеевропейские лозунги, которыми оправдываются войны: Политическое равновесие и Политическое Округление, ради которого народы, созданные по образу Божьему, обрезают как монеты. Подобно языческому богу и эгоистическое понятие Корысть, которому кланяются и во имя которого бьются между собой все отступившие от истинной веры народы. Идолы у Мицкевича – это ложные ценности, культивируемые Западом. Условиями подлинного возрождения человечества являются отказ от них и введение христианского начала в политические отношения. Интересы правителей должны, по Мицкевичу, уступить место интересам “свободных народов” – тогда потеряют смысл и территориальные претензии.

Польша, в концепции Мицкевича, это, безусловно, – часть Европы, при этом – ее ведущая часть. Она противостоит типу цивилизации, созданному Западом. Мицкевич отводит ей роль носительницы иных идей, противоположных доминирующим на Западе. Поляки – единственный народ, оставшийся верным идеалам христианства. Не создавшие своего и не кланявшиеся другим европейским идолам они последовательно осуществляли идеал христианского универсализма. Примеры тому Мицкевич находит в польской истории и языке. Идеи единства воплощены в отношениях поляков с другими народами, в

обычае воинов называть друг друга братьями и существовавшей возможности возведения в шляхетское достоинство людей из низших сословий. Поэт ссылается также на неверную, хотя принятую в его время этимологию слова *szlachta* (по его мнению, оно происходит от обычая братания других сословий со свободными и равными воинами, происходящими от легендарных ляхов). Союз с Литвой Мицкевич описывает, сравнивая его с супружеством: “Соединение и брак Литвы с Польшей являлся фигурой будущего объединения всех христианских народов во имя Веры и Свободы” [1. S. 22]. По его словам, “француз, и немец, и москаль должны быть как поляк и литвин” [1. S. 79]. Подчеркивает Мицкевич и роль Польши в защите европейского христианства от варваров и язычников, вспоминая подвиги короля Владислава III под Варной и Яна Собеского под Веной.

Поляки, по Мицкевичу, – народ, хотя и просвещенный, не пренебрегающий знаниями и прогрессом, но не отошедший, в отличие от французов или англичан, от учения Христа. Поэтому у них вся Европа должна “учиться, кого называть мудрым” [1. S. 38]. Поляки превосходят другие народы своей верностью высшим ценностям – Вере и Свободе. Они апостолы Свободы; их высшей заслугой является то, что в борьбе с главным европейским злом – деспотизмом – они жертвуют собой во имя других народов. “Передовые” же страны – Франция и Англия – не участвуют в этом общеевропейском деле, поэтому им суждено пасть под гнетом тиранов. Миссия поляков – народа, политическая смерть которого, подобно смерти на кресте Иисуса Христа, была осуществлением плана Провидения, – вывести человечество из упадка, разрушить языческие иды, возродить веру и христианский дух самоотверженности и распространить христианские принципы на политические отношения.

Характерно, что Мицкевич, провозглашая поляков исключительной нацией и наделяя их миссией общечеловеческого значения, выделяет и некоторые другие народы. По его словам, “мир возлагает надежду на народы верующие, полные Любви и Надежды” [1. S. 45], такие как ирландцы и венгры – народы христианские, не зарекомендовавшие еще себя в европейском масштабе. (Симпатия Мицкевича к ирландцам была обусловлена аналогией между положением католической Ирландии, которая вела борьбу за освобождение с протестантской Англией, и ситуацией Польши, входившей в состав православной России и протестантской Пруссии. Венгрия же удостоилась внимания поэта из-за популярности там польского вопроса во время восстания 1830–1831 гг.) В “Истории будущего” среди объединившихся в федерацию революционных сил упоминается чешская и казацкая кавалерия, а вожди федерации носят украинские и венгерские имена. Так на первый план выдвигаются экзотические в западноевропейском понимании народы, не осуществившие еще своего исторического предназначения. (Эта идея применительно к славянам будет подробнее развита Мицкевичем в “Лекциях о славянских литературах”).

Какой же видит Мицкевич Европу будущего? Безусловно, обновленной и единой. “От огромного политического здания Европы не останется камня на камне”, – провозглашает он в “Книгах” [1. S. 85]. Оно будет разрушено путем сокрушительной революции, низвергающей троны, разрушающей ложные ориентиры европейской политики. Ее образ подобен образу Страшного Суда над согрешившими против Свободы монархами и правителями: “И порушат их идолов, а идолопоклонников будут судить по закону Моисея и Ии-

суса Навина, Робеспьера и Сен-Жюста, истребляя всех от старика до ребенка” [1. S. 77]. Муки правителей, мудрецов, торговцев Англии и Франции (т.е. создателей западной цивилизации) будут, в интерпретации Мицкевича, подобны адским. Революцию осуществит федерация свободных народов.

Идея будущей европейской федерации лишь намечена в “Книгах”, подробнее она развита, как уже упоминалось выше, на страницах “Истории будущего”. Там федеративная армия, воюющая против монархов, молниеносно продвигается по Европе, чтобы “нанести последний удар старому режиму, только после этого наступит время подумать о национальных конституциях и местных делах” [4. S. 89]. Подробно описывается разгром армии монархистов в Пруссии и казнь прусского короля – “первого монарха, окончившего жизнь на виселице”, что символизирует крах абсолютизма. Он умирает “в мундире российского генерала и с орденской лентой Священного Союза”. Из всех монархов помилован лишь саксонский правитель, который “не был замешан в заговорах против свободы народов” [4. S. 99]. Бегло намечен и дальнейший ход событий: голландская армия убивает своих командующих и присоединяется к революционным силам. Заняв Голландию, часть объединенной армии высаживается в Англии, а часть занимает Италию. И все это, подобно действию стихии, происходит очень быстро – меньше, чем за шесть месяцев.

Так образу Европы Мицкевич противопоставляет романтический миф революционного универсализма, который воплощает у него федерация свободных народов. В идеале, полагает поэт, групповых или национальных интересов быть не должно, ибо идея свободы всеобща и должна осуществляться в естественном единении народов. По Мицкевичу, идея равенства и братства возникла вместе с христианством, проявилась в “духе солидарности и самоотверженности крестовых походов”, в унии Польши и Литвы и должна в будущем определить способ сосуществования народов.

Европа будущего, таким образом, целиком обновляется. Подобная перспектива в полной мере отражает исторические предчувствия Мицкевича в начале 1830-х годов. Не только “Книги” и “История будущего”, но и его публицистика того времени свидетельствуют, что он рассматривал ситуацию в Европе как переломную для будущности всего мира. По словам Мицкевича, это “печальная и удивительная эпоха исторического финала” для всего западного общества. В современном ему мире, по его мнению, нет общественных ценностей, которые следует сохранить. В программе задуманного в то время поэтом издания говорилось, что “следует считать это положение временным, преходящим, недостойным мысли и пера поляков, занятых великими проблемами будущности народов” (цит. по: [7. S. 133]). Настоящее Мицкевича не интересовало, ибо грядущее, в его представлении, будет основано на полном разрыве с традицией. Измениться, обновиться должно все – политические и экономические отношения, институты, наконец, сами люди. Он готов был к тому, что в любую минуту может грянуть революционная буря, низвергающая троны, разрушающая ложные ориентиры европейской политики.

Идея обновления Европы сближала Мицкевича с Бродзиньским, который в “Послании братьям-изгнанникам”, хотя и более сдержан в своих оценках, также склонен видеть в западной цивилизации царство прагматизма и бездуховности. “Наступил век равнодушия, и болезнь эта самая страшная”, – писал он [8. S. 39]. Сравнивая современную эпоху с Римской империей накануне

не пришествия Христа, он усматривает в ней черты кризиса: подобно тому как у римлян единственным божеством был тиран, сейчас “деньги являются кесарем и богом одновременно” [8. S. 55]. Кризис, по Бродзиньскому, означает преддверие возрождения.

Оценивая свой век, как время господства низменных страстей (“повсюду в народах благородные чувства угасли, а личная выгода и торговля составляют их душу”), Бродзиньский подчеркивает исключительную роль в Европе польской шляхты. Сражающаяся за благородные цели – веру, свободу и национальную независимость, – она остается оплотом духовности: “Лехиты сегодня являются европейским благородным сословием” [8. S. 72].

Стоит обратить внимание на единый язык описания Европы, которым пользуются поэты. Он основан на скрытой оппозиции *внешнее – внутреннее*. И Мицкевич, и Бродзиньский подчеркивают несоответствие политических лозунгов и терминов их внутреннему содержанию, указывают на подмену понятий. По мнению Бродзиньского, современный мир полон фальши, европейцы разучились различать добро и зло – “не знают, где правда и сила, потому что сбились с пути любви... Многие вещи сегодня поменялись именами, и люди не разберутся, что умное приведет к глупому, а то, что окрестили глупостью, – к доброй цели”, – писал он [8. S. 33].

Бродзиньский также оценивает как никчемные “системы министров, философов, реформаторов”, которые в будущем обратятся в ничто. Пустыми словами, на которые молятся правители и которые вводят народы в заблуждение, он считает лозунги “веротерпимости” и “законности”, во имя которых якобы была разделена Польша. (Здесь, как замечает А. Витковская, видна явная аналогия с политическими “идолами”, упомянутыми Мицкевичем [9. S. 479].)

Бродзиньский использовал суждение Мицкевича о “мудрецах и монархах” как виновниках испорченности мира. “Вывученной мудрости”, заимствованной извне теориям он противопоставляет “мудрость домашнюю”, т.е. врожденный инстинкт народа. Ученый выступает за преемственность “народного разума”, который один только позволяет верно оценить отечественную историю [8. S. 67–68]. Тем не менее Бродзиньский мягче в своих оценках, чем Мицкевич. Он критикует XVIII в., как “эпоху неверия”, но не отрицает ключевых лозунгов XIX ст. – таковыми он считает *свободу* и *просвещение*, – подчеркивая, однако, что они воплотятся в жизнь на основе любви и веры. Тем самым Бродзиньский акцентирует внимание на отличии принципов современной цивилизации от “мудрости” XVIII в., основанной на атеизме. Мыслитель видит в просвещении силу, противостоящую тиранам – “коронованным ученикам Вольтера”. Это просвещение, по мысли Бродзиньского, разгорится в огонь всеобщей любви, который уничтожит могущество поработителей. “Вершиной цивилизации века” должно стать восстановление Польши, которое ознаменует торжество божественных и благородных человеческих принципов.

Европейские “короли и князья”, в интерпретации Бродзиньского, подобно римскому императору Юлиану – отступники веры (например, участвовавший в разделе Польши Фридрих II, покровитель философов эпохи Просвещения), предатели благородства и правды (французские монархи, поступившиеся польскими интересами). В “Послании братьям-изгнанникам” они выступают, как и в “Книгах польского народа и польского пилигримства”, в роли антагонистов европейских народов, и, в первую очередь, народа польского. Поляки

замучены и “убиты королями”, их погребальным костром Господь осветил преступления монархов.

Особо подчеркивает Бродзинский негативную роль Священного Союза, названного им с сарказмом “святой троицей” (Ср. с “дьявольской троицей” монархов, разделивших Польшу, у Мицкевича). Его “вооруженное апостолство” направлено против свободы.

Бродзинский усматривает проявление кризиса современной эпохи в разрушении изначальных семейных и национальных уз, связывающих народы и правительства, человечество в целом. “Король перестал быть отцом, а народ – одной семьей, все священные узы порваны; гаснет любовь к семье и народу, а штык и весы купца – единственное, что объединяет народы”. Именно семья и национальное начало должны занять первое место в иерархии политических ценностей, ибо “из семей возникли народы и к семейным отношениям и семейному правлению должны вернуться” [8. S. 32]. Царства, королевства и княжества без национальной души ничтожны и бrenны и неизбежно распадутся в результате потрясений.

Исторически неприятие современного политического устройства Европы польскими мыслителями было связано с той ролью, которую в польском национальном сознании сыграл Венский конгресс. Для поляков он означал несправедливый передел мира, в то время как для России и Запада – установление равновесия на континенте [10. S. 369].

К. Бродзинским создан образ обновленной Европы. В проекции на будущую историю Царство Божие трансформируется у Бродзинского в “царство мира”, в котором “народы и правительства будут вести себя в соответствии с учением Христа, так, как до сих пор истинный христианин ведет себя по отношению к своим братьям” [8. S. 31]. “Королевство мира” установится на земле после восстановления Королевства Польского, ибо поляки подадут пример народам и правительствам жить по учению Христа. Искупительная жертва поляков приведет к тому, что в правителях пробудится совесть и настанет “братская любовь между народами и союз добра против зла, основанный на законе Божьем” [8. S. 26].

Центральное место в образе будущего, созданном Бродзинским, занимает ключевая и для Мицкевича идея братства народов. В будущем “род человеческий еще больше породнится”, и “соседние народы будут связаны узами супружеской любви”. Ложно понятые религиозные интересы уступят место “унии вероисповеданий и наций”, и “народы объединятся в одну церковь” [8. S. 34]. Церковь и станет монархом, который будет поистине милостивым королем, так как будет пользоваться народной любовью, и благодаря этой любви станет монархом сильным и непобедимым. В чем-то Бродзинский предвосхищает идеи крупнейшего польского философа эпохи романтизма А. Чешковского, который в “Пролегоменах к историософии” (1838) характеризует будущую эпоху следующим образом: “Государство откажется от своей абстрактной обособленности и станет само членом человечества и конкретной семьи народов. Естественное состояние перейдет у народов в состояние общественное, а до сей поры существовавшее, еще очень молодое международное право станет развиваться все более бурно в международную мораль и международную нравственность” [11. S. 58].

Опираясь на христианскую идею любви, Бродзинский предсказывает возникновение подобия Европейского союза. В будущем исчезнут окопы и

межевые столбы между государствами; наступит союз “земледельческого народа с промышленным, многолюдного народа с немногочисленным”, и все будут равны перед правами народов. По мысли Бродзиньского, не будет больше ни завоевателей, ни покоренных, народы “по-семейному договорятся, их правительства станут соответствовать их природе”, а “школа, воинство и слуги Божии возьмутся за руки и запоют один гимн во славу Господа” [8. S. 35]. Это “королевство мира” реализует цели истории человечества и будет достигнуто благодаря искупительной жертве избранного народа – поляков.

Но если в Европе будущего Мицкевича зло будет побеждено “всеобщей войной за свободу народов”, то Бродзиньский особо подчеркивает решающую роль терпения. Историческая миссия поляков осуществится через их покорность Божьей воле, ибо “зло само разобьется о Божьи муки”. Однако их мученичество и смирение также должны привести к нравственному обновлению европейских народов, а вслед за ними и правителей.

В “Послании братьям-изгнанникам” Бродзиньский развивает мессианистскую концепцию польской истории, впервые сформулированную им в “Речи о польской национальности” (1831). Подобно Мицкевичу, он усматривает в истории Польши воплощение двух начал: Веры и Свободы. Поляки, по его словам, не разделяли средневекового фанатизма, придерживаясь истинно христианской любви; не отступили они от веры и в атеистическом XVIII в. Об исключительной религиозности поляков говорит, по Бродзиньскому, и особое почитание ими Богородицы (“их святая земля посвящена Деве Марии”), и отличающая их от греков, немцев или итальянцев приверженность земледелию – “единственному занятию, которое сам Бог указал человеку” [8. S. 55–56].

В своей истории, считает Бродзиньский, польский народ осуществляет миссию общеевропейского, и шире – общечеловеческого значения. Он стоит “на страже европейской цивилизации”, защищая ее от “восточного варварства”. Утратив отчизну после разделов, поляки стремились служить “свободе народов” под знаменем Наполеона, в котором обманулись. Восстание 1830–1831 гг. описано поэтом в духе его времени как попытка защитить европейскую свободу от посягательств “колосса” – России. “Польская война” приравнивается Бродзиньским к мировой. Вся история Польши, таким образом, свидетельствует, что она необходима человечеству.

Но главная заслуга поляков, по Бродзиньскому, состоит в том, что они “сердцем поняли братство во Христе, породнились между собой и породнили народы” [8. S. 38]. В польской истории для ученого, считавшего Польшу первооткрывательницей идеи взаимозависимости народов, подобно тому, как Коперник в свое время открыл систему взаимозависимости планет, также как и для Мицкевича, важно воплощение идеи единства наций. Плодом мудрости поляков были Брестская и Люблинская унии, реализовавшие эту идею. Предназначение польского народа состоит в том, чтобы привести в политическую организацию Европы семейную и национальную основы – “единственные естественные узы, связывающие правителей с подданными и народы между собой” [8. S. 32]. Бродзиньский считал, что поляки, в отличие от других народов, которые “утратили чувство национальности, и угнетаемые королями, сами угнетают друг друга” [8. S. 31], сохранили естественные общественные связи, которые он называл *rodzinnność*, распространяя понятие семьи на социум.

Итак, оба представителя польского мессианизма основывались на сходных вариантах видения Европы 30-х годов XIX в. Общей была идея неминуемого кризиса и последующего духовного обновления, выступающие на первый план как у Мицкевича, так и у Бродзиньского. В обновлении исключительная роль, по их мнению, должна принадлежать Польше: шляхетская демократия будет служить моделью для будущего общества. Характерное для мессианизма слияние религиозных идей с историческими проявилось в сакрализации и пророческой интерпретации польской истории. Миссия Польши, сравниваемая с миссией Иисуса Христа, виделась в том, чтобы преобразовать отношения между народами.

Предложенные обоими писателями концепции будущего укладываются в рамки романтического национализма. Мицкевич, у которого мессианистское ожидание возрождения человечества сочеталось с консервативной критикой достижений западноевропейской цивилизации и апологией революционного террора, представлял его консервативно-радикальный вариант. Создавший по существу свой “антимиф Европы”, Мицкевич продемонстрировал крайние взгляды, не разделенные другими романтиками, в том числе вдохновленным национальной идеей “Книг польского народа и польского пилигримства” Бродзиньским. Единство романтической модели проявилось, однако, в общем для обоих поэтов языке описания созданной Западом цивилизации и идеям привнесения нравственных норм в международные отношения и европейского интернационализма (как революционного, так и мирного – основанного, в романтическом понимании, на любви и братстве).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Mickiewicz A. Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego.* Wrocław; Kraków, 1956.
2. *Stefanowska Z. Historia i profecja. Studium o “Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” A. Mickiewicza.* Warszawa, 1962.
3. *Jedlicki J. Polskie nurty ideowe lat 1790–1863 wobec cywilizacji Zachodu // Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej.* Warszawa, 1973.
4. *Mickiewicz A. Historia przyszłości // Dzieła wszystkie.* Warszawa, 1936. T. VII. Cz. I.
5. *Филатова Н.М. “История будущего” Адама Мицкевича как романтическая антиутопия // Утопия и утопическое в славянском мире.* М., 2002.
6. *Walicki A. Filozofia a mesjanizm.* Warszawa, 1970.
7. *Witkowska A. Mickiewicz: słowo i czyn.* Warszawa, 1975.
8. *Brodziński K. Mowa o narodowości Polaków i Pośłanie do braci wygnańców.* Lwów, 1878.
9. *Brodziński K. Wybór pism.* Wrocław, 1966.
10. *Lunatov A.B. Стереотипы национального восприятия, специфика национальной истории, особенности национальной культуры и адекватная оптика научного рассмотрения // Studia polonica. К 70-летию В.А. Хорева.* М., 2002.
11. *Walicki A. Między filozofia, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu.* Warszawa, 1983.



© 2004 г. А. де ЛАЗАРИ

ЧЕМ СТРАШНА ЕВРОПА ПОЛЬСКИМ И РУССКИМ “СЛАВЯНАМ”?

(замечания на полях “Энциклопедии русской души.
Романа с энциклопедией” В. Ерофеева)

Иль нам с Европой спорить ново?
А. Пушкин. “Клеветникам России”

Все народы Европы имеют общую физиономию, некоторое семейное
сходство.

П. Чаадаев. “Философическое письмо”

Русификация окраин есть не что иное, как демократическая
европеизация их...

К. Леонтьев. “Православие и католицизм в Польше”

Для Европы не может быть иного исхода, как
превращение в Соединенные Штаты... Иное дело – Россия.

П. Бицилли. “Проблема русско-украинских отношений в свете истории”

Значительная часть Евразии – именно вся Украина и Белоруссия – попала под
власть католической Польши, этого форпоста Европы на Востоке, и только с боль-
шим трудом удалось части этих исконно евразийских и русских земель восстано-
виться с евразийским миром под
властью Москвы.

Н. Трубецкой. “Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока”

Это как профессора литературы.

На первый взгляд – свои люди. А на второй – чужие и мертвые.

В. Ерофеев

Еще недавно мне казалось, что, в отличие от “России и Европы” Н. Данилевского, в Польше книга “Польша и Европа” может быть лишь дорожным атласом, где союз “и” соединяет, а не противопоставляет, как у Данилевского. Оказалось – я ошибся: “и” в книге П. Ярошинского противопоставляет, а не соединяет [1]. П. Ярошински – председатель общества “Польская семья”, профессор, руководитель кафедры философии культуры в Люблинском Католическом университете – издал в последние годы еще несколько книг [2]. Во всех он ведет борьбу за “польское национальное сознание”, за “право

Лазари де Анджей – д-р филол. наук, профессор (Лодзинский и Торуньский университеты).

Польша на собственную культуру” и призывает спасти Польшу от “византийско-еврейской цивилизации” Европы. Польша – хорошая, весь остальной мир – плохой. Это при том, что вся либеральная часть польского общества и многие “правые” мечтают о скорейшем присоединении Польши к Евросоюзу.

“Словом, процесс европеизации разрушил всякое национальное единство, изрыл национальное тело глубокими ранами, посеял рознь и затаенную вражду между всеми” [3]. А это уже не П. Ярошински, а Н. Трубецкой о временах Петра Первого в России. Удивительная вещь – история...

Вот я перевел на польский язык “Энциклопедию русской души. Роман с энциклопедией” В. Ерофеева и решил, что настало время написать что-то вроде плагиата – о польской душе. Один сюжет мог бы звучать так (достаточно у Ерофеева поменять слово *русский* на *поляк*):

“Когда приходит черный день, поляк переключает скорости: европейский активизм – на азиатскую созерцательность – и впадает в дрему духовности”.

Чуть сложнее было бы приспособить к польской действительности фрагмент об *истории национального футбола*: “Петр Первый повел мяч в Европу, ударил, промахнулся – разбил окно. / Сборная команда мужиков с бородами погнала мяч в Азию. / Задрав юбки, Екатерина Великая перехватила инициативу. / Павел отобрал мяч и погнал его в сторону азиатских ворот. / Александр Первый, завладев мячом, отправил его в сторону Европы. / Николай Первый погнал его в сторону Азии. / Его сын, Александр Второй, отбил его далеко в сторону Европы. Александр Третий отфутболил мяч в Азию. / Николай Второй побежал трусцой в западную сторону. / Ленин повел мяч в сторону Азии. / Сталин, с подачи Ленина, забил гол. / Счет стал 100:0. / Хрущев начал с центра поля и, сам не зная почему, погнал мяч в Европу. / Брежнев отправил его в Азию. / Горбачев играл на европейской стороне поля. / Ельцин продолжил его игру, но во втором тайме растерялся. Стоит и не знает – куда бить. / Раздался свисток. Кончился пропущенный век” [4].

Перенесение этих слов на польскую действительность не получается, так как, по справедливому замечанию Н. Страхова, “Польша от начала шла наравне с остальной Европой” [5]. Единственное существенное отклонение – четыре десятилетия коммунизма. И все-таки боюсь, что поляки не менее русских способны “пропустить век”. Еще немного, и я смогу сказать вслед за Ерофеевым: «Мы разочаровали Запад и в чем-то самих себя, оказавшись “другими”, не такими, какими бы европейцы хотели нас видеть».

А какими европейцы хотели бы нас (русских, поляков) видеть? «Когда я смотрю, – пишет Ерофеев, – на Алексея Матвеевича, Федора Максимовича, Ларису Владимировну, Василия Михайловича, Дмитрия Васильевича, Ирину Никаноровну, Софью Ивановну (если она еще не умерла), ди-джея Элеонору, на моего механика Володю и на сторожей из гаража “европейским” взглядом, мне кажется, что они – уроды.

А стоит мне на них посмотреть русским взглядом [а мне – польским. – А.Л.], то – никакие они не уроды. Вот так я и существую [мы существуем. – А.Л.]: то уроды – то не уроды» (см.: [4. С. 141–142]).

Так какими европейцы хотели бы нас видеть? В чем суть Европы? Для меня ответ однозначный: в *достойном Я* против *тоталитарного Мы*.

А может быть это миф? Ведь Евросоюз = союз = *Мы*? Чем тогда отличается европейское *Мы* от нашего “славянского”? Ерофеев пишет: «Напрасно

думать, будто наше “мы” состоит из сложения самозначимых “я”. Русское “я” как элемент не жизнестойко и обретается исключительно в семейственной молекуле. Выходит, не “я” формирует идею “мы”, но “мы” манифестно и речетворно. “Мы” плодит ублюдочных “я”, как мелкую картошку. Все силы русского правописания – на стороне “мы”, и сколько бы литературных терзаний ни вкладывать в развитие “я”, они не окупятся за недостатком грамматических резервов. Взять, для примера, подсознательное мыканье Платонова и сопротивленческое яканье Набокова, чтобы увидеть разность потенциалов. На “мы” можно гавкать, как Замятин, над “мы” можно хихикать, как Олеша, но “мы” имеет самодержавное качество, известное под именем “народ”. “Народ” – одно из самых точных понятий русского языка. Оно подразумевает двойной перенос ответственности: с “я” на “мы” и с “мы” на – род: “мы-они”, внешне-внутренний фактор, что означает вечные поиски не самопознания, а самооправдания. Слово “народ” зацементировало народ на века» [4. С. 15–16].

В 1980-е годы многим полякам *казалось*, что, в отличие от русских, они постигли суть и ценности европейского достойного Я. В своей знаменитой книге “Этика солидарности” польский философ, ксендз Ю. Тишнер говорит о солидарности как об этическом движении. Солидарность не является для него ни понятием, ни готовой этической теорией. Это *идея*, и, как таковая, однозначного определения она никогда не получает [6].

«Этика солидарности, – говорит Тишнер, – хочет быть этикой совести. Она предполагает, что человек обладает совестью как природным “этическим чувством”, во многом не зависимым от разных этических систем. Совесть в человеке – самостоятельная реальность, наподобие разума и воли. Человек может упражнять волю и разум, но может и забросить упражнения, может слушать свою совесть, но может и отречься от нее. Совесть – это голос, звучащий в человеке. К чему призывает он сегодня? Прежде всего к тому, чтобы человек *хотел* иметь совесть» [6].

Не всякое *Мы* является солидарностью. Подлинная солидарность – это солидарность совестей. С человеком без совести можно ехать в одном вагоне поезда, сидеть за одним столом, читать те же книги, но это еще не солидарность. Суть солидарности в пробуждении чувства сострадания, братства со страдающим человеком. Солидарность – особая межчеловеческая связь: люди объединяются, чтобы заботиться о том, кто в заботе нуждается. Я с тобой, Ты со мной, Мы вместе для него. Но все начинается с Я и совести. Мы вторично. Мы – это Я и Ты в диалоге. «Добросовестный диалог, – говорит Тишнер, – имеет в качестве своего источника предпосылку, что ни я, ни ты не в состоянии узнать правду друг о друге, если мы далеко друг от друга, если каждый из нас спрятан в подполье своего страха. Чтобы получился добросовестный диалог, Мы (Я и Ты) должны начать с признаний: “наверное, ты в какой-то степени прав” и “наверное, я не во всем прав”. Таким образом мы приближаемся друг к другу, так как каждый из нас готов личную правду другого сделать частью своей правды. Диалог – это создание взаимности и основное средство достижения общественной правды. Диалог означает, что люди вышли из подполья, приблизились друг к другу. Начало диалога – выход из подполья. Надо переступить порог, протянуть руку, найти общее место для разговора. Это место не будет уже укрытием, в котором человек остается один со своим страхом, а будет местом встречи, началом какой-нибудь общины, дома» [6].

Казалось бы, что здесь нового для русского человека? Не о том ли говорил еще Достоевский? Ведь Мы-община (коллектив, класс, народ, Евразия, соборность) – это основа “русского” мирозерцания. Почему тогда Ерофеев издевается? Чем Евросоюз, где солидарное Мы, по крайней мере в теории, основа общежития, отличается от Евразии?

Разница существенная! Солидарное Мы, в отличие от “русской” (и тем более коммунистической) общины, не поглощает свободного, пусть даже гордого Я. Ведь Я – это “хранитель древностей” (совести, чести, гонора...), без которых нет культуры и такого существенного элемента культуры, выработанного тысячелетиями, каким является право. И без Я нет диалога. Если нет Я – нет и Ты. Остается тоталитарное Мы, которое не нуждается ни в диалоге, ни в праве; остаются политики, для которых все, о чем здесь говорится, – “факультет ненужных вещей”.

На Мы, неприемлемое для Ерофеева, в России работали поколения. А.С. Хомяков, противопоставляя свой идеал западному мышлению, писал: “В Европе [...] не допускают ничего истинно-общего, ибо не хотят уступить ничего из прав личного произвола” [7]. Вся борьба за так называемую *народность*, начатая в русской мысли в эпоху романтизма, привела в конце концов к полному поглощению индивида в советском Мы-народе. Когда Замятин создавал свою антиутопию, советское Мы еще не образовалось, но уже “носилось в воздухе”. Ведь богоискатель Горький говорит: “Все несчастья начались от того, что первая человеческая личность оторвалась от чудотворной силы народа... и сжалась от страха, перед одиночеством и бессилием своим... Я – злейший враг человека” [8]. И коммунизм уничтожил этого “врага”, чтобы получилось как в “Катехизисе революционера” Нечаева: “Революционер – человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени” [8].

Среди русских мыслителей были, однако, и те, кто в какой-то степени предвосхитил суждения Тишнера о солидарном Мы. Это – духовные отцы существующего с 1930 г. в эмиграции Народно-Трудового Союза русских солидаристов: С. Франк, С. Левицкий, С. и Е. Трубецкие, И. Ильин. Франк пишет: “Я никогда не существует и немислимо иначе, как в отношении к ты – как немислимо левое вне правого, верхнее вне нижнего и т.п. [...] Мы совсем не есть просто множественное число от я (как этому учит обычная грамматика), простая совокупность многих я. В своем основном и первичном смысле я [...] вообще не имеет и не может иметь множественного числа; оно единственно и неповторимо. [...] Поэтому мы есть не множественное число первого лица, не многие я, а множественное число как единство первого и второго лица, как единство я и ты (вы). В этом – замечательная особенность категории мы. Вечная противопоставленность я и ты, которые, каждое само по себе и в отдельности, никогда не могут поменяться местами или охватить одно другое [...] – противопоставленность и противоположность преодолеваются в единстве мы, которое есть именно единство категориально разнородного личного бытия, я и ты. С этим непосредственно связана и другая особенность мы: в отличие от всех других форм личного бытия оно принципиально безгранично. Правда, эмпирически мы всегда ограничено: всякому мы, будь то семья, сословие, нация, государство, церковь, противостоит нечто иное, в него не включенное и ему противостоящее, – какие-то вы и они. Но вместе с тем мы в ином, высшем, соединении может охватить и

включить в себя всех *вы* и *они* – принципиально все сущее; в высшем, абсолютном, смысле не только все люди, но все сущее вообще как бы предназначено стать соучастником всеобъемлющего *мы*, и потому потенциально есть часть *мы*. Если я могу сказать *мы* про узкое единство моей семьи, партии, группы, то я могу вместе с тем сказать *мы*, *люди* или даже *мы*, *тварные существа*. *Мы* есть, следовательно, некая первичная категория личного человеческого, а потому и социального бытия” [10].

Здесь основная разница между русским солидаризмом и идеей солидарности в толковании Тишнера, для которого солидарное *Мы* не первично, а вторично, и даже не по отношению к *Я* и *Ты*, а по отношению к *для него*. Сперва – раненый и его крик, потом – отзывается совесть, сумевшая услышать и понять этот крик, и только тогда рождается община. Персонализм, человеческое достоинство здесь на первом плане, на втором – диалог, на третьем – солидарное *Мы*. Для коллективизма, как бы его ни назвать, здесь вообще нет места, как нет места и для коллективизма в “Европе” и Евросоюзе.

Формулируя этику солидарности, Тишнер предполагал, что ей не нужен враг. Десять лет спустя он осознал свою ошибку. В 1990 г. он писал: “Надо ясно сказать: этика солидарности уже не в состоянии охватить и разъяснить все вырисовывающиеся конфликты. Ибо что говорила эта этика? Она говорила, что нам надо быть вместе, действовать без применения силы, что этика должна стоять выше политики. Все это было ясно, когда был враг [...] Когда враг исчез, наше *вместе* расплодилось [...] Некогда Норвид, размышляя над причинами упадка народов, писал, что не в силу неуважения к власти, а особенно королевской, одни народы существуют, а другие перестают существовать. Потому что, будь это так, вся Европа развалилась бы. Причины упадка и развития народов одни и те же: уважение или неуважение к Человеку. Я возвращаюсь к этой мысли Норвида при особых обстоятельствах, в которых мы оказались. Ларек коммунизма развалился. Но толпа перед ларьком пока еще стоит. Что сделать, чтобы эта толпа стала обществом, чувствующим свое национальное достоинство? В этом направлении сделано уже немало. Но следует сделать еще кое-что. Следует вернуться к простейшему опыту – уважению Человека” [11].

Для Тишнера однозначно, что идею и этику солидарности можно спасти лишь путем уважения к личности и ее неотторжимым правам, что еще сильнее надо связать персонализм с солидарностью, что самой большой ценностью должен быть всегда Человек-личность, а не *Мы*-коллектив.

И вот прошло очередное десятилетие, Тишнера в живых уже нет, а толпа перед ларьком коммунизма все стоит – и в Польше, и в России.

А уважение к Человеку? – Вот Вы, Человек-славянин, подходите к пешеходному переходу в “Европе” (Лондоне, Берлине, “какой-нибудь” Лозанне...), а потом – в Варшаве и в Москве. Закон везде одинаковый: “Водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу”. В “Европе”, едва лишь Вы подошли к пешеходному переходу, машины остановились. В Варшаве Вам придется пропустить несколько машин – пятая-шестая остановится. А в Москве? Риторический вопрос? Это ведь не миф – это реальность. А попробуйте лечь в больницу “с улицы” в каком-нибудь из этих городов. Не хотите в Москве, у “всечеловеков”? Предпочитаете в Лозанне, а не в

Варшаве? Это понятно – ведь Вы хотите уважения к своей личности, а по крайней мере – к своему больному телу.

“Славяне”, почему же вы тогда боитесь Европы? Разве там на самом деле эгоизм больше польско-русского? Разве действительно кто-нибудь в Европе захочет отнять у Вас Вашу польскую или русскую душу и переделать Вас в немца или француза?

И опять, перефразируя слова Ерофеева, хочется сказать: “Всего того, что мы носим в себе, на самом деле нет. Мы выдумали оба мира. В себе самих мы их скрестили. Мы, видимо, те самые русские и польские европейцы, которые и не европейцы, и не русские, и не поляки. У нас получилось то, что не получается. Можно ли нас считать удачным гибридом? Мы потеряли возможность абсолютных критериев. Поскольку два мира не совпадают, мы ощущаем превратности морали”.

Достоевский считал, что лишь война по-настоящему объединяет. “Европа” объединяется без войны. Пока удачно. Кто прав? – риторический вопрос.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Jaroszyński P.* Polska i Europa. Lublin, 1999.
2. *Jaroszyński P.* Suwerenność nie jest przeżytkiem. Lublin 2000; *Jaroszyński P.* Ocalić polskość!. Lublin 2001; *Jaroszyński P.* Kim jesteśmy. Lublin, 2001; *Jaroszyński P.* Europa bez Ojczyzn? Warszawa, 2002.
3. <http://www.auditorium.ru/books/1323/>
4. *Ерофеев В.* Энциклопедия русской души. Роман с энциклопедией. Москва, 2002.
5. <http://www.auditorium.ru/books/1323/>
6. *Tischner J.* Etyka solidarności. Kraków, 1981.
7. *Хомяков А.* О сельской общине. Ответное письмо А.И. Кошелеву. СПб., 1849.
8. *Горький М.* Исповедь. СПб., 1908.
9. <http://www.hrono.ru/docum/katehizrev.html>
10. *Франк С.* Духовные основы общества. Париж, 1930.
11. *Tischner J.* В тени коммунистических ларьков. Этика солидарности сегодня // “Русская мысль”. Париж, 14 XI. 1990.



© 2004 г. О. В. ПАВЛЕНКО

“СВЯТОЙ МУЧЕНИК” КАРЕЛ ГАВЛИЧЕК-БОРОВСКИЙ. МИФОЛОГИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ

19 августа 1862 г. в 10 часов, в провинциальном чешском городке Борове (Немецкий Брод) началось торжественное шествие. На площади царил праздничная суета. Присутствовавшие выстраивались в колонны по заранее разработанному плану, повсюду развевались флаги. Впереди выступали известные политики и писатели, за ними музыкальный хор, физкультурное пражское общество “Сокол”, делегации от чешских городов, хоровых обществ, представители студенческих организаций и многочисленные гости праздника. Сначала шествие двинулось к местному храму Пресвятой Богородицы, где прозвучал торжественный реквиум в память уроженца здешних мест Карела Гавличека, затем – к дому, в котором он родился. Открытие памятной доски сопровождалось стихами, патриотическими песнями, выступлениями политиков и поэтов. Я. Неруда посвятил Гавличеку такие строки: “Ты был истинным сыном этого народа, / Что кровь свою отдал за свободу других, / Ты был не только апостолом свободы, / Ты был и ее святым мучеником” [1. С. 4].

В стихотворении И.В. Яна вновь была продолжена тема мученического подвига Гавличека: “Громада вечных льдов / Душит чувства, убивает воодушевление, / Неотвратимо свет пробивается впереди / И из бури выступает румяный день, / Одна мысль исчезает, новая возникает / И возвращает мученика, / Умирает один человек, но дело живет – / И мир продолжает свое развитие!” [1. С. 8].

В речи К. Сладковского, одного из лидеров младочешского направления, приводилось сравнение жизни Гавличека с путем на Голгофу. После библейских аналогий следовало красочное описание состояния “чехославянского народа” до появления К. Гавличека. Абстрактный образ народа, которого терзали “несчастные, разнесчастные разногласия”, был одушевлен им: “Нет у меня слов, чтобы неодолимым потоком красноречия пресечь бесправие, которое творят многочисленные и могучие враги народа чехославянского (именно чехославянского, а не чехословацкого. – О.П.)!”. Деятельность К. Гавличека в период революции 1848 г. оратор с пафосом рисовал как явление Мессии: “И стало мужественным лицо смятенного, со всей решительностью несломленного духа своего встал навстречу всему сонму врагов первый защитник за по-

следние два века угнетения народа чехославянского, явился как создатель общественной печати прославленный наш, в памяти народа своего, славный Карел Гавличек-Боровский!" [1. S. 13].

...Прошло всего шесть лет после смерти К. Гавличека, в течение которых о нем мало вспоминали в патриотических кругах. И вот во время торжественного праздника его образ реконструировался уже сознательно и целенаправленно. Речь К. Сладковского представляет интерес уже тем, что в ней были намечены контуры образа национального героя-мученика, отдавшего жизнь за свободу народа.

Такой образ-символ в начале 1860-х годов был необходим чешскому движению, постепенно приобретавшему массовый характер. В материалах Славянского съезда 1848 г. содержалось много идей, которые активно использовались в целях коллективной солидарности австрийских славян. Особое значение имели образы-фрустрации "врагов австрийского славянства", в роли которых выступали сторонники немецкого объединительного движения – "франкфуртисты", а также "мадьяры". Но на том уровне национальной агитации фактически отсутствовала идея национального чешского героя. В середине XIX в. обращение к героической традиции гуситского движения стало своеобразной нормой патриотических выступлений. Но современных примеров, на основе которых возможно было бы персонифицировать национальную борьбу, в арсенале чешского движения тогда не было.

Торжественное шествие 1862 г. феноменально тем, что впервые воссоздавался национальный образ героя-современника, "святого мученика". Неудивительно, что в книге, посвященной этому событию и изданной буквально по горячим следам, после стихов и политических речей в честь К. Гавличека были помещены воспоминания доктора Подлипского о болезни и последних минутах жизни героя. Он детально описал болезнь жены Гавличека – Юлии и ее смерть, затем – те же симптомы и смерть "великого, искреннего, самоотверженного, единственного нашего Гавличека" [1. S. 34]. Доктор открыто писал, что причиной ранней кончины Юлии и Карела явилась ссылка в Бриксен. Идея жертвенного подвига была поддержана всеми политиками патриотического направления. Эти черты усиливали эмоциональный заряд, заложенный в образе "святого мученика". Чешский историк Й. Кочи в книге "Возвращение Карела Гавличека из Бриксена" подробно описал его похороны 1 августа 1856 г. на основе свидетельств близких, а также полицейских донесений. Несколько тысяч участников похоронной процессии открыто обсуждали слух о том, что Гавличека отравили полицейские агенты. Возникновение этого домысла не случайно, представление об "убийстве" Гавличека надолго запечатлится в народной легенде, станет составной частью общего восприятия его "мученической смерти". Ранняя смерть стала ключевым мотивом героизации образа.

К. Гавличека лично знали многие деятели чешского движения, и их взаимоотношения были достаточно сложными. Он был искренним и конфликтным человеком. Когда он вернулся из ссылки и посетил Прагу, то не узнал любимого города. Сестра Юлия вспоминала слова Гавличека: «Все меня как будто избегают, друзья обходят за несколько шагов. Что так изменилось? Неужели этот Бах сумел сделать из них таких баб? Только госпожа Немцова (Божена Немцова. – *О.П.*), когда меня увидела на Пршикопах, подбежала ко мне. Я удивился и сказал: "Пожалуйста, не создавайте себе проблем", на

что она мне ответила: “Ах, я с правительством ничего общего не имею”» [2. S. 15]. Даже Ф. Палацкий отказался обсуждать с ним политические новости, заявив, что обещал жене “больше не влезать в политику”. Собственно за освобождение Гавличека из ссылки ходатайствовали перед правительством только родственники, ни одного коллективного протеста со стороны друзей и политических сторонников за три с половиной года не последовало.

Теперь же политики либерального толка сознательно участвовали в формировании его посмертного “культа”. Кавычки здесь не случайны. Это не был культ в прямом смысле слова, скорее – устойчивый национальный миф о неггибаемом герое-мученике. Обращает внимание тот факт, что после поражения революции 1848–1849 гг. ведущие радикалы были по решению австрийского суда сначала осуждены на смертную казнь, затем ее заменили на долготлетнее тюремное заключение. Они сражались на пражских баррикадах, претерпели суровые условия заключения. Тем не менее ни один из них не привлек такого внимания общества, и вокруг них не сложился ореол народных мучеников. Условия ссылки Гавличека в тирольской горной деревне были сравнительно благоприятными: он вызвал туда жену Юлию, больную туберкулезом, отмечая, что в Бриксене прекрасный, альпийский воздух. Дом, который они снимали, имел пять комнат, у Гавличека был отдельный кабинет. В письмах к родным он признавал, что здоровье жены и его самого здесь улучшилось. Их мучили скорее моральные проблемы – трудно давалось общение с местными жителями-католиками, было болезненным ощущение собственной изолированности и оторванности от родины, угнетал постоянный полицейский контроль. Но в народной легенде ссылка Гавличека приобрела зловещий характер – мучения и жестокие лишения в тяжелых климатических условиях, приведшие к скоропостижной смерти.

В историографии сложилось отдельное направление, исследующее видо-вые функции национальных мифов [3]. Мифы по сути представляют довольно жесткие идеологические конструкции, обладающие устойчивым набором качеств и ясно выраженной формулировкой цели. Национальные мифы, ориентированные на активизацию интеграционных процессов, как правило, имеют логичную завершенную форму.

В. Шнирельман в ряде работ убедительно доказывает, что процесс мифотворчества напрямую зависит от конкретной этнополитической ситуации [4]. Общества, переживающие стадии активной интеграции, естественно нуждаются в зримых и доступных символах, усиливающих сознание коллективной солидарности. Процесс строительства нации неизбежно сопровождается реконструкцией исторической традиции; рождаются новые мифы, образы, представления, которые призваны противодействовать культурной и государственной нивелировке, аргументировать борьбу общества за повышение собственного административно-политического статуса, наконец, усилить сознание коллективной солидарности и чувства национальной идентичности.

Миф национального героя К. Гавличека-Боровского в 1860-е годы получил широкое распространение в чешской патриотической журналистике, особенно среди младочехов. Он стал фактически признанным посмертно лидером национального движения, образцом истинного патриота, личностью, авторитетной для разных политических направлений. Старочехи конфликтовали с младочехами, радикалы критиковали и тех, и других, но они сходились в том, что К. Гавличек стоял у истоков современной чешской истории и

был организатором национального движения. Даже такой непримиримый радикал, как Й.В. Фрич, сторонник революционного насилия, в своих мемуарах подчеркивал: “Гавличек всегда был нашим человеком”.

Осмысление личности Гавличека и его творческого наследия имеет несколько уровней. Наиболее масштабный – образ национального героя, преодолевающего все трудности, нестигаемого борца за свободу своего народа, замученного абсолютистским режимом. Именно такой образ был зафиксирован в публичных речах, патриотических статьях, произведениях искусства, именно таким Гавличек сохранился в исторической памяти чешского народа.

Другой уровень осмысления его деятельности формируют научные исследования, которые насчитывают сотни работ, созданные за последние полтора столетия. В академической среде многознание об этом человеке до настоящего времени так и не дает возможности ответить на вопрос: В самом деле, кем же он был – “первым чешским диссидентом”, по выражению чешско-австрийского историка И. Моравы, или носителем идеологии “многонационального австрийства”, как считает чешский историк И. Коржалка; ревнителем славянской взаимности или убежденным противником России, основоположником чешской национальной идеологии или человеком с трагическим ощущением собственной несвоевременности, так и оставшимся до конца жизни непонятым современниками? [5].

В этой статье не ставится цель разработать авторскую версию ответа на поставленный вопрос. В ряде работ я пыталась проанализировать взгляды К. Гавличека на славянство и принципы соотношения “национальной свободы” и “свободы социальной” (этим термином в прессе середины XIX в. определяли демократические права личности). Исследование его публицистики, а также материалов, свидетельствующих об особенностях развития чешского общества в 1840-е годы, показало, что К. Гавличек во многом предвосхитил процесс национальной интеграции: не имея серьезного политического веса в годы революции 1848–1849 гг., он тем не менее обосновал фундаментальные принципы чешской национальной политики, признанные уже в 1860-е годы.

Этот блестящий журналист не был теоретиком и мыслителем такого уровня, как Ф. Палацкий, не имел политического такта и осторожности, как Ф. Ригер, но умел убеждать своих читателей и искренне верил в силу печатного слова. Противоречия и сомнения, ошибки и раскаяния, которыми насыщена биография К. Гавличека, исчезли из мифологизированной трактовки его образа. Уже во время торжеств 1862 г., затем в 1871 г., а в 1906 г., когда отмечалась пятидесятая годовщина его смерти, образ Гавличека превратился в “интеллектуальный монумент”, растиражированный на массовом уровне. Еще в 1862 г. известный пражский песенник Ф. Хайис написал слова и музыку к песне “Спи, Гавличек, в своей могилке”, которая стала очень популярной. Ни одно общественное собрание не обходилось без этой незамысловатой песни, которую исполняли торжественно, с чувством народной любви и глубокого преклонения перед его мученическим подвигом.

Во второй половине XIX ст. его произведения неоднократно переиздавались в серии “Библиотека чешских классиков-беллетристов” и отдельными изданиями [6]. В 1876 г. впервые издано его сочинение, написанное в ссылке, “Крест святого Владимира”, в котором он резко критиковал не только российскую монархию, но и всю систему неограниченной монархической власти.

Ведущие чешские художники В. Черны, А. Гоффмайстер, Ф. Бидло, Й. Лада и другие считали за честь предложить в это издание свои иллюстрации. Очень скоро последовало второе издание от крупнейшего чешского издательства “Одеон” с иллюстрациями Ф. Геллнера.

В начале XX в. помимо произведений Гавличека в чешских городах продавали дешевые офорты его портрета кисти художника Т. Геверта. Рекламировались эти произведения как “лучшие украшения для домашних комнат и присутственных мест”. В обширном “Собрании стереоскопических картин” среди чешских замков, видов “Царьграда”, старой Праги и Палестины выделялась серия “Памятные места из жизни Гавличека”. Ведущий мотив народных картин о Гавличеке – его ссылка в тирольскую деревню Бриксен, ставшая символом героических мук, которые он испытал за народную свободу. Арест, насильственная высылка, полицейский контроль, суровые условия жизни в Бриксене вдохновили чешского художника В. Оливу на создание нескольких картин. Затем они были изданы в виде открыток и поступили в широкую продажу. Именем Гавличека называли всевозможные просветительские общества, а с 1918 г. – даже армейские подразделения. Почти в каждом чешском городе периода Первой республики обязательно была улица Гавличека. А. Сташек, известный чешский писатель-реалист в 1930-е годы пытался объяснить причины столь широкой народной популярности его личности: “По своему характеру он был и прототипом, и собирательным идеалом чешского человека, потому что понимал людей, и люди понимали его. Он разговаривал с ними не по душам, а из души” [2. S. 37].

Почему именно из Гавличека был создан образ национального героя? Какие основные позиции закладывались в персонифицированный образец истинного патриота и героя-мученика?

Вот краткая хронологическая биографическая сводка. Карел Гавличек родился 31 октября 1821 г. в семье купца из Борова. С 17 лет он жил в Праге. Сначала хотел стать священником, штудировал богословие, но затем увлекся славянской идеей. В Пражском университете, на философском факультете, центром притяжения патриотически настроенной молодежи была кафедра чешского языка и литературы, созданная в 1804 г. Примечательный факт: ее воспитанники были в основном выходцами из среднеобеспеченных городских слоев, а дети высокопоставленных родителей (адвокатов, высших чиновников, профессоров) составляли лишь 2%. Начало биографии Гавличека – типично для представителя формировавшегося в чешских землях среднего класса.

Увлечение славянством было искренним. Впоследствии он с иронией вспоминал “блаженное время” студенчества в Пражском университете: «В то время, когда большая часть молодых людей была влюблена в девушек, другая, меньшая – в идею, осенило меня тогда нечто о великом Славянском народе, о братстве, одинаковом образе мысли различных племен... Отрывки из “Дочери Славы” мы декламировали про себя и вслух, мы также сами создавали стихи, учили различные алфавиты и грамматики разных славянских языков, почитали за великую честь спеть две польские, одну русскую и две иллирийские песни» [7. S. 37]. В 1842 г. он получил место воспитателя в семье С.П. Шевырева, близкого друга М.П. Погодина. Гавличек жил в Москве, Петербурге и Киеве. После двух лет пребывания в России окончательно “излечился” от всеславянских мечтаний и вернулся на родину, по его собствен-

ному выражению, “чехом, настоящим, необратимым чехом” [7. S. 37], начал работать в редакциях чешских газет “Česká Včela” и “Pražské Noviny”.

5 апреля 1848 г. под влиянием начавшейся во Франции революции Гавличек стал издавать газету на чешском языке “Národní Noviny”. Собственных средств он не имел. Финансировал издание его друг граф В. Дейм. Тогда же Гавличек принял самое активное участие в организации Славянского съезда в Праге, объезжал славянские провинции империи. В июне 1848 г. он был вместе с восставшими на пражских баррикадах, после подавления революции в Вене и наступления реакции начал резкую антиправительственную кампанию в своей газете.

13 апреля 1849 г. состоялся первый судебный процесс над Гавличеком по обвинению в подстрекательстве против закона и порядка. Это был его первый общественный триумф. Суд вынужден был признать Гавличека невиновным. Но преследования продолжались. Ему постоянно приходилось отстаивать право на издание газеты. 19 января 1850 г. “Národní Noviny” официально запретили. Формальный повод – публикация статьи Ф. Палацкого “О централизации и национальном праве в Австрии”. С 8 мая Гавличек начал издание новой газеты “Slovan”. И опять – сильное цензурное давление. К этому прибавились неразрешимые финансовые трудности, равнодушие друзей и бывших единомышленников. На десять лет чешское общество, которое еще недавно сотрясали революционные брожения, впадает в “летаргический сон”, именно так будут характеризовать 1850-е годы политики последующего десятилетия.

14 августа 1851 г. Гавличек сам прекратил издание “Slovan”, но, один из немногих, не сдался, вновь пытался наладить в Праге выпуск политической газеты. Безуспешно. Кругом боязнь и равнодушие. 12 ноября 1851 г. его вновь обвинили “в нарушении общественного мира и порядка, а также в подстрекательстве народа против правительства”. И снова суд. И вновь – победа. Его признали невиновным. Уникальный случай в тех условиях. Вскоре он все же был отправлен, без публичного суда, по личному приказу императора в ссылку в альпийскую деревню Бриксен, которую Гавличек в “Тирольских эллегиях” назвал “моя Сибирь”. В ссылке его морально поддерживали письма от Ф. Палацкого, его советы написать популярную историю России, книги, которые ему посылали родные и друзья из Праги. На родину Гавличек вернулся лишь спустя четыре года. Смерть жены Юлии, разделившей с ним годы лишений, окончательно подорвала здоровье. Гавличек умер 29 июня 1856 г.¹

Вот и все о человеке, который прожил 35 лет, и только три года (с 1848 г. по 1851 г.) активно занимался политикой. Вторая его биография – это многочисленные статьи в “Národní Noviny” и “Slovan” и их интерпретации в патристической среде.

Попробуем выделить основные черты в трактовке личности Гавличека, которые заложили К. Сладковский и Э. Тоннер, первым описавший его биографию: Гавличек – герой революции 1848 г., который “острым пером своим” защищал “национальную, гражданскую и религиозную свободу своего народа”. Благодаря его усилиям австрийские славяне “спасли династию и империю” от немцев и венгров; Гавличек провозгласил, что народ чехославянский должен искать свою свободу в Вене, только в границах Австрийской

¹ Первые опыты подробных исследований биографии К. Гавличека см.: [8].

монархии; Гавличек был “первым вождем народа чехославянского”, его “*Národní Noviny*” “стала духом защиты национальной свободы чехославянской”, он вырвал народ из “духовной спячки”.

С пафосом Сладковский восклицал: “Выйдите сюда, чехи, мораване и силезцы, которые в духе “*Slovan*” здесь собрались, выйдите и провозгласите всему миру чехославянскому, провозгласите всем народам в пределах родины чешской, моравской и силезской, провозгласите в общинах и семьях своих, что нам явил дух “*Slovan*”, чтобы верой в самого себя наш народ из лицемерного круга свободомыслия вышел и вступил на желанную родную почву свободы безусловной и чтобы сегодняшнее торжество стало торжеством воскресения народа чехославянского” [1. S. 13, 14, 16, 17, 22, 23, 28, 29].

Мифологизация образа Гавличека и столь пристальное обращение к его творческому наследию можно объяснить тем, что репрессии после революции 1848–1849 гг. серьезно деморализовали национальных радикалов, имевших раньше популярность среди студенчества и средних городских слоев. Роль ведущей политической силы общества перешла к либеральным умеренным кругам, которые возглавляли Ф. Палацкий и Ф. Ригер. Гавличек принадлежал к этому кругу, поддерживал с семьей Палацкого тесные отношения и лично ему посвятил собрание своих политических статей “Дух Народных Новин”, которое издал в 1851 г. Образ национального героя Гавличека фактически вытеснял из народной памяти некогда популярных радикалов. С другой стороны, его взгляды соответствовали новому национальному курсу, разработанному в конце 1850 – начале 1860-х годов либералами.

С началом конституционных экспериментов в Австрийской империи чешская журналистика патриотического толка стала активно использовать приемы национальной агитации, образы “чехославянского народа”, созданные Гавличеком. Формула новой чешской идентичности, впервые изложенная на страницах “*Národní Noviny*”, была воспринята умеренными либералами в 1860-е годы как наиболее емкое отражение “национального духа”. Апелляция к “Духу Народных Новин” создавала новую историческую традицию. Особо обращает на себя внимание, что образ Гавличека наделялся не чертами бойца-патриота, а именно – мученика. В этом новом национальном мифе было выражено по сути кредо чешской политики второй половины XIX в., давшее отраженный свет и на историю XX ст. Идея мученичества включала не только осознанный протест и противостояние с абсолютистским режимом, но и “непротivление злу насилием”, отказ от насильственного свержения этого режима. Герой-мученик – тот, кто до конца боролся за национальную свободу, претерпел мучения, но протестовал нравственно, а не с оружием в руках. Моральное влияние образа героя-мученика трудно переоценить, поскольку миф о Гавличеке стал основой формирования нового типа чеха-патриота. В чешской политической традиции поэтому так укоренился образ “будителя” народа, а не революционера. Рассмотрим более подробно базовые принципы “национальной идеи”, сформулированной Гавличеком, и их развитие последующим поколением политиков.

“Кто мы, чехи?” Этот вопрос был ключевым как в 1840-е, так и в 1860-е годы. Гавличек был действительно первым, кто развернул на страницах своих газет национальную агитацию, целью которой было формирование нового самосознания. Он целенаправленно выстраивал внеисторическую схему, представляя “единый народ” вечной и неизменной целостностью. Констати-

руя реальное существование этого народа, к которому относил и себя, Гавличек трактовал его образ как единый и монолитный, лишенный всяких внутренних противоречий.

В 1860-е годы, когда интенсивно формировалась национальная идентичность чешского народа, формула Гавличека и методы его национальной аргументации приобрели колоссальное значение. Младочешская популярная газета “*Národní Listy*”, старочешский “*Národ*” и радикальная газета “*Pravda*” активно использовали те этноцентристские мифологические конструкции, с которыми первым выступил Гавличек.

Уже в статье “Славянин и чех”, опубликованной в “*Pražské Noviny*” в 1846 г., он шокировал общество таким высказыванием: «Я с гордостью скажу “я – чех” и никогда “я – славянин”». Близкий к Ф. Палацкому и имевший авторитет в интеллектуальной среде Я. Малы открыто обвинил Гавличека в отсутствии патриотизма и политического такта. Некоторое время Гавличек находился в своеобразной изоляции, знакомые и друзья прекратили с ним общение. Впоследствии ему приходилось неоднократно возвращаться к этой провокационной фразе, вновь и вновь объясняя ее смысл и оправдываясь за столь откровенный ригоризм. Тем не менее с каждым десятилетием эта формула теряла свое первоначальное шокирующее значение. В 1860-е годы ее уже понимали как выражение первичности национальных чешских интересов над идеями славянской солидарности. Т.Г. Масарик характеризовал знаменитую фразу Гавличека как отражение “*cesství*” – чешского национального самосознания, более высокого уровня развития нации по сравнению с первоначальным всеобщим увлечением славянской взаимностью [9. S. 139–140].

К. Гавличек писал о “чехославянах”, которые, по его мнению, образуют единый народ из чехов, мораван, силезцев и словаков. По образу “единого иллирийского народа”, в реальность которого он искренне верил, Гавличек считал, что целью освободительной борьбы должно стать объединение “чехославянского народа”. Он разрывался между этим идеальным иррациональным образом единого сплоченного народа и, увы, неутешительной реальностью. С одной стороны, он с пафосом писал: “Русских повсюду ненавидят, поляков жалеют ..., но на нас, чехов, смотрит мир с симпатией и уважением. Прекрасное, великое это зрелище – народ, героически и мужественно борющийся за собственное сохранение, за свою жизнь, за национальность!” По уровню образованности, в искусстве и литературе, чехославяне, по его мнению, превзошли и русских, и поляков. Но, с другой стороны, настоящая ситуация вызывала у него горечь и разочарование. Чехославяне более других “растратили свой особый характер и национальность, а деревенские пань Францы с гордостью заявляют, что по-чешски даже читать не умеют”. Летом 1848 г. издаваемые им “*Národní Noviny*” имели только 1015 подписчиков. В “Слове редактора к своим верным подписчикам” он признавал с грустью, что большинство соотечественников предпочитают читать немецкие газеты: “Народ не понимает вас, потому что его язык на кухне, да в хлеву не имеет слов для обозначения более высоких предметов, остальные же, неразумные, злобно посмеиваются над вами, те, о которых вы печетесь, не нуждаются в этом и не признают ваших стараний” [10].

Тем не менее за этот идеальный “чехославянский народ” Гавличек готов был бороться до конца и верить в его будущее, несмотря ни на что. Ради этой идеи он публично клеймил “словацкий сепаратизм”, обрушивался с

критикой на Г. Ваянского и Л. Штура и, уподобляясь немецким публицистам, намекал на то, что словацкие патриоты подкуплены российским правительством [7. S. 38; 11. С. 3]. Весной 1848 г. он совершил поездку в Моравию для того, чтобы добиться более тесного союза между чешскими и моравскими политиками и пропагандировать идею объединения Чехии и Моравии. “Наше племя чешско-моравское достигнет большой силы и признания в мире”, “мы, славяне, моравско-чешские”, “единый народ чешский и моравский” – все эти определения, которыми Гавличек награждал будущую нацию, должны были аргументировать историческое единство двух ее составных частей, но путевые впечатления от поездки по моравским городам и селам приносили большие разочарования. Он не мог их скрыть, откровенно признавая на страницах “*Národní Noviny*”: “Любой образованный человек выгладит как немец, славянство и пошлость там одно и то же” [12].

Традиция, заложенная Гавличеком, наиболее активно в 1860-е годы была продолжена на страницах чешской политической газеты “*Národní Listy*” (редактор Ю. Грегр). Использовался не только введенный Гавличеком этноним “чехославяне”, но и его базовые характеристики “единого народа”. К примеру, в редакторской статье “Нашим политическим друзьям” Ю. Грегр указывал на огромное значение наследия К. Гавличека-Боровского для единого чехославянского народа. В статье “О моральных качествах народа” констатировалось, что “в настоящее время наш народ силен, сейчас он страшен для иностранцев, как святой Вышеград, стоящий на крутой горе”. Основная идея перекликалась с “Духом Народных Новин” – единый, могучий чешский народ достоин равноправного с другими народами положения в империи, борьба его справедлива, а требования – законны. Лозунг “Будем единодушны!” отражал основную тактическую линию борьбы за конституционное устройство Австрии на основе представительства всех земель. Главными направлениями национальной деятельности признавалось развитие предпринимательства и образования, “борьба в храме науки и искусства”, поскольку “вся сила нашего народа состоит в моральном и научной образовании” [13].

Газета, созданная по примеру “*Národní Noviny*” Гавличека, стремительно завоевывала популярность, уже в первый год существования “*Národní Listy*” имели тираж до 6 тыс. экземпляров. Знаток истории патриотической прессы К. Гох особо отмечал, что для Грегра “образцом для подражания была личность К. Гавличека. Он был очень упрямым, честолюбивым, но действительно искренним” [14. S. 453–454]. Ю. Грегр во многом подражал Гавличеку, его умеренная оппозиционность режиму стала по сути нормой для патриотической прессы того времени. Редактор “*Národní Listy*” несколько раз отбыл кратковременные заключения за слишком критические статьи и платил штрафы, широко информируя об этом общественность.

Второй важный мотив, привлекавший внимание либералов к творчеству Гавличека – это обоснование ненасильственных методов национальной борьбы. В его статьях второй половины 1840-х годов основным понятием для определения национальной идеи было “*humanita*” – слово, заимствованное из тогдашней немецкой публицистики. В конце 1840-х годов пангерманское движение захлестнуло не только немецкие земли, но и владения Габсбургов. Под лозунгом за объединенную немецкую Австрию по всей стране создавались многочисленные общества, издавались журналы. Наиболее час-

то употреблялся тезис о великой роли германского культуртрегерства, поднявшего славянские народы Центральной Европы до цивилизационного уровня. В пангерманской публицистике весьма активно использовалось тогда понятие “humanität” для того, чтобы подчеркнуть, “что Дух человечности был рожден в немецком народе” (см.: [15]). К. Гавличек, убежденный противник пангерманизма, нашел понятию “humanität” чешский аналог – “Lidskost” (дословно – человечность). Он придал этому слову новое значение, связав его воедино с чешской национальной идеей.

В августе 1848 г., когда империя Габсбургов переживала тяжелейший революционный кризис, Гавличек сформулировал кредо чешской политики: “Нам нужна справедливость в национальном смысле и умеренность – в политическом” [16]. Политическая умеренность пропагандировалась в то время, когда Прага была расстреляна пушками А. Виндишгреца, а австрофильский, верноподданнический по своему характеру Славянский съезд был разогнан, когда венгерская революционная армия воевала за национальную свободу, а в самой австрийской столице едва удавалось сдерживать кровопролитие. Эти два принципа – справедливость в национальном вопросе и политическая толерантность – стали основой новой идеи “нравственной политики”. За два года, с 1848 г. по 1850 г., Гавличек создал довольно четкую систему принципов национального движения.

Первый принцип – “политическая свобода без национальной не имеет смысла”. “Справедливость”, равно как и “нравственность”, в политическом смысле являлись для Гавличека отражением демократического порядка, а демократия рассматривалась не только как строй с равными социальными гарантиями и суверенитетом личности, но прежде всего как порядок, при котором все национальности уравниваются в правах. Идея борьбы за “национальную справедливость” занимала приоритетное положение, поэтому Гавличек выступал за то, чтобы патриотический лагерь не разделялся по политическому признаку на либералов, консерваторов, радикалов или демократов. Гораздо важнее быть истинным патриотом своего народа, т.е. бороться против абсолютизма, аристократизма, бюрократизма.

Второй принцип – “свобода без образования народа невозможна”. Разрушение абсолютистских основ государства, достижение демократического устройства возможны в понимании Гавличека только ненасильственным путем. Он был убежден в том, что народ должен быть внутренне подготовлен к новой демократической форме государства. Революционным путем достичь этого невозможно. Свобода должна вызревать из внутренней силы народа, и “такой плодотворной почвой для свободы являются образованность, благородство и мужественность граждан”.

Отказ от радикальных форм борьбы, который проповедовал Гавличек, должен был сочетаться с активной национально-образовательной деятельностью. Став образованным народом, “мы, народ чешский, народ славянский, сможем оказывать огромное влияние на развитие всей Средней и Восточной Европы ... Только так чехи смогут снискать славу, еще большую, чем во времена Карла и Оттакара” [17].

Третий принцип – справедливого решения национального вопроса и демократического общественного устройства “малые народы” смогут добиться в границах Габсбургской монархии. На первый взгляд парадоксальное утверждение для человека, призывавшего бороться с консерватизмом и

аристократизмом. Тем не менее именно Гавличек, несмотря на гонения со стороны австрийского правительства, оставался убежденным австрофилом. Во время революционных потрясений австрофильство трансформировалось в программу австрославизма, которую провозгласил Славянский съезд в Праге. Австрославизм (с 1860-х годов – австрофедерализм) являлся, с одной стороны, программой федерализации имперских земель, в которой прослеживалось стремление чехов стать ведущей политической силой обновленной Австрии, а с другой – концепцией центральноевропейской безопасности, построенной на принципе равновесия сил в регионе. Предполагалось, что реорганизованная Габсбургская монархия станет крепостью, сдерживающей натиск экспансионистских соседних держав – России и Германии. Действительно, союз австрийских славян с Габсбургами, за который так ратовал демократ Гавличек, мотивировался не столько романтической приверженностью трону или трогательным осознанием общей исторической судьбы, сколько трезвыми прагматичными расчетами.

Гавличек откровенно признавал, что чехам будет не по карману содержать армию, чтобы защищать независимость, да и революция обойдется народу слишком дорого. Поэтому его газета обрушивалась с критикой на радикалов (или как он писал – “подстрекателей”), пытавшихся подтолкнуть народ к силовым действиям. Необходимо не вооруженное сопротивление, а примирение с исторической властью, компромисс с ней на основе конституционной монархии и федерализации [16]. В этом смысле австрославизм можно рассматривать как важную составную часть складывавшейся чешской национальной модели. Жертвуя идеей государственного суверенитета, Гавличек отстаивал суверенитет национальный, ограниченный федералистскими установками, более безопасный и более дешевый.

На протяжении XIX в. и вплоть до 1915 г. чешские политики продолжали соблюдать легальность и лояльность – два основополагающих принципа, сформулированных Гавличеком. Неоднократно они уходили в пассивную оппозицию, демонстративно отказываясь участвовать в заседаниях представительских органов. Подобная форма протеста должна была заставить правительство и венский двор прислушаться к требованиям федералистского лагеря. Выступления чешских политиков на парламентских заседаниях, довольно резкие по форме, были обращены против непримиримых врагов – немецких централистов и венгерских сторонников дуализма, но никогда – против Габсбургского дома. Тактика пассивной оппозиции не смогла привести федералистов к победе. На первый взгляд, принципы “нравственной политики” не оправдали себя, но потерпев поражение в большой политике, чешские патриоты с успехом осуществили национальную консолидацию. Большое распространение получила тактика “малых дел”, суть которой сводилась к тому, что “быть патриотом” – значит учиться, заниматься самообразованием, увеличивать свое материальное благополучие. За сравнительно небольшой отрезок времени в чешских городах были созданы физкультурные, хоровые, читательские общества, экономические товарищества. Всех их сближала культурно-просветительская ориентация и общее правило – члены обществ должны были разговаривать друг с другом только по-чешски. Действительно, чешское движение представляло собой яркий пример того, как патриотически настроенная интеллигенция смогла воспитать общество, привить ему

определенные качества и ориентиры, составлявшие “национальную нравственность”.

Идеи Гавличека были развиты Т.Г. Масариком, который придавал особое значение разработке проблем “демократической этики”. В своей широко известной работе “Социальный вопрос” (1898) он подчеркивал важность отказа от насилия как метода решения конфликтных вопросов: “Демократизм – это не только политическая структура, но также нравственная, прежде всего нравственная... Эта этика имеет свой ясный и определенный, социальный и политический идеал”. Это – “работа, трудолюбие, энергия. Настоящая работа, которая противостоит всем несметным врагам, маленьким, суетным, ежедневным, всем микробам зла и нищеты физической и нравственной”, это и “любовь, которая вообще не допускает насилия” [18. S. 58].

В свое время К. Гавличек, перефразируя известную библейскую заповедь, сформулировал идею, которую Т. Масарик поставил во главу угла чешской идеологии – “не делай другим того, что не желал бы себе” [19. S. 236]. Таким образом, понимание нравственности приобретало новый оттенок – от сугубо индивидуального качества (“возлюби ближнего как самого себя”) к идее гармоничного социального и национального компромисса. Утопичная позиция? Но утопичность сознательная, имеющая компенсаторную функцию. Еще в 1898 г. Т. Масарик отчетливо определял смысл национальной идеи: “Палацкий нам показал, что наша чешская идея действительно является мировой идеей, наиболее важным жизненным вопросом, определяющим отношение человека к человеку, народа к народу *sub specie aeternitatis* – в смысле вечности” [20. S. 780].

Континуитет традиции – главный принцип национальной политики – это отрицание насилия, причем под “насилием” чешскими политиками понимался весьма широкий спектр политических действий – от революции до национальной самозащиты, отстаивания интересов своего народа вооруженным путем. Т. Масарик был категорически против насилия – “грубого политического материализма, который губит в человеке все нравственные основы и прежде всего свободу духа”. Если К. Гавличек аргументировал отрицание насилия прагматическими соображениями, то у Масарика мотивация уже другая, в духе либерально-этических тенденций начала XX в. – нравственность человечества торжествует над “материей” и кровью [21. S. 69, 70]. Идея “ненасилия в политике, в экономике, в семье, в духовной работе” стала определяющей темой в трудах Т. Масарика в начале XX в.

Содержание персонифицированного мифа о Кареле Гавличеке как “святом мученике” отражает, на мой взгляд, специфику чешской идентичности. Этот миф сознательно реконструировался патриотическими кругами, стал важным структурным компонентом новой национальной идеологии, и что очень важно, был воспринят самыми широкими слоями чешского общества. Эффект глубокого распространения в массовом сознании образа героя-мученика, который боролся с абсолютизмом исключительно интеллектуальными средствами, объяснялся конкретными целями национальной борьбы. Этот миф играл инструментальную роль, усиливал значимость патриотического наследия Гавличека и служил стереотипизации представлений об истинном патриоте – образованном, политически умеренном, занятым конкретными “малыми” делами на собственное благо и благо родины, склонного к компромиссам во имя сохранения социального мира.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Na památku Karla Havlíčka a slávností Borovské dne 19. Srpnu roku 1862. Praha, 1862.
2. *Kočí J.* Návrat Karla Havlíčka z Brixenu. Praha, 1986.
3. Реальность этнических мифов. М., 2000; *Хюбнер К.* Истина мифа. М., 1996; *Eriksen Th.* Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. London, 1993; *Здравомыслов А.* Трансформация смыслов в национальном дискурсе // Язык и этнический конфликт. М., 2001.
4. *Шнирельман В.* Ценность прошлого: этноцентристские исторические мифы, идентичность и этнополитика // Реальность этнических мифов. М., 2000; *Шнирельман В.* Национальные символы, этноисторические мифы и этнополитика // Македония: проблемы истории и культуры. М., 1999.
5. *Kořálka J.* Tschechen im Habsburgerreich und in Europa 1815–1914. Wien; München, 1991; *Morava G.* Dissident Karel Havlíček. Wien, 1989.
6. Duch Národních Novin, spis, obsahující úvodní články z Národních Novin roku 1848, 1849, 1850, sepsaných od Karla Havlíčka Borovského, redaktora těchto novin. Kutná Hora, 1851; Výbrané spisy Karla Havlíčka Borovského. Kutná Hora, 1886. Díl. 1; S.A., Díl. 2; 1896. Díl. 3; Karla Havlíčka Borovského Politické Spisy. Praha, 1901. Díl. 1–2; *Havlíček K.* Epištoly Kutnohorské a výbrané články politické. Praha, 1906; Belletristické spisy Karla Havlíčka Borovského // Knihovna českých klasiků belletristů. Praha, 1906. Sv. 3.
7. *Havlíček K.* Slovan a Čech // Epištoly Kutnohorské a výbrané články politické. Praha, 1906.
8. *Chalupný E.* Havlíček. Obraz psychologický a sociologický. Praha, 1908; *Tum K.* Karel Havlíček Borovský. Kutná Hora, 1883–1885.
9. *Masaryk T.G.* Česká otázka. Snahy a tužby národního odrození. Praha, 1948.
10. *Havlíček K.* Výklad hesla Národních Novin // Národní Noviny. 1848. 4 VI.
11. *Францев В.А.* Чешско-словацкий раскол и его отголоски в литературе сороковых годов. Варшава, 1915.
12. *Havlíček K.* Nové volby do Frankfurtu // Národní Noviny. 1849. 22 II; Zásady Národních Novin // Národní Noviny. 1848. 5 VI; Přátelům našim na venkově srdečně pozdravení // Národní Noviny. 1848. 29 VI; Z Moravy // Národní Noviny. 1848. 4 XI.
13. O mrávních pováhach v národě // Národní Listy. 1862. 14 V; Čeho nam nyní především zapotřebí // Národní Listy. 1861. 5 I; Nýnejší naše úloha // Národní Listy. 1862. 8 VI; Naší mladeži // Národní Listy. 1863. 10 I.
14. *Hoch K.* Dějiny novinářství od r. 1860 do doby současné // Československá vlastivěda. Praha, 1933. D. VII.
15. Schwarz-Roth-Gold. 1848. 11 VII.
16. *Havlíček K.* Článek, o kterém bych si přál, aby jej každý přečetl a rozvážil // Národní Noviny. 1848. 30 VIII.
17. *Havlíček K.* O směřů Národních Novin // Národní Noviny. 1848. 23 IX.
18. *Masaryk T.G.* Otázka socialiní. Praha, 1898.
19. *Masaryk T.G.* Karel Havlíček. Praha, 1896.
20. *Masaryk T.G.* Palackého idea národa českého // Naše doba. Praha, 1898.
21. *Masaryk T.G.* Naše nynější krise. Praha, 1895.



НОВОЕ В ЗАРУБЕЖНОМ СЛАВИСТИЧЕСКОМ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
(1990–2000-е ГОДЫ).
МАТЕРИАЛЫ “КРУГЛОГО СТОЛА”

Л.Н. Будагова. Давно назревшая у литературоведов Института славяноведения РАН потребность осмыслить особенности развития науки о литературе у западных и южных славян в постсоциалистический период, а также познакомиться друг друга с некоторыми работами зарубежных ученых и критиков частично реализовалась 10 июня 2003 г. на “круглом столе”, посвященном Дням славянской культуры и письменности и организованном Центром истории славянских литератур до 1945 г. Об интересе к мероприятию свидетельствовало участие в нем сотрудников как всего Отдела истории славянских литератур (в том числе и работающих в Центре по изучению современных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы), так и Отдела истории культуры славянских народов. Организаторы и участники “круглого стола” не ставили своей целью давать максимально полную информацию о литературной жизни, литературоведении и критике в славянских странах “дальнего зарубежья” с обзором и анализом наиболее примечательных работ в этой области. Для этого нужно было бы подготовить специальный сборник и провести крупномасштабную конференцию, для чего нет еще, к сожалению, подходящих условий. Выступления на “круглом столе” 10 июня 2003 г. были своего рода “попутной песней” для его участников, специалистов по разным литературам. Каждый из них работает в своей области, имеет свое “амплуа” и свой круг чтения. Учитывая это обстоятельство, а также недоступность многих зарубежных изданий и роль случая в обеспечении ими, было решено исходить в подготовке выступлений из собственных интересов и возможностей, не стремясь к полноте картины и не стесняясь субъективности информации.

На заседании были названы многие имена и работы зарубежных коллег, но еще больше имен и трудов остались неназванными, что никак не связано с их значением и местом в национальной (и европейской) науке о литературе. Одни доклады тяготели к общему освещению литературной жизни в стране, другие – к анализу отдельных произведений, но все они существенно расширяли кругозор участников, показывая – несмотря на субъективную выборочность материала – некоторые объективные и общие тенденции, проявившиеся в современном литературоведении (и критике) разных славянских стран. В результате из комплекса выступлений сложилась, пусть не полная, но наглядная картина зарубежного славистического литературоведения последнего десятилетия, на которую полезно взглянуть и читателям журнала. Очередность

докладов и сообщений отвечала принятому в некоторых наших трудах “географическому” принципу освещения материала: от западных – к литературам южных славян.

В.В. Мочалова. Польское литературоведение исключительно богато, это обусловлено мощной академической традицией, сочетающейся с известным литературоцентризмом польской культуры.

Дать хотя бы краткий обзор новейшей научной литературы весьма затруднительно, настолько она разнообразна и обширна¹. Поэтому мы остановимся лишь на некоторых изданиях последних лет, которые так или иначе оказались в поле зрения, стали доступными благодаря командировкам в Польшу и щедрости коллег (им за нее – сердечная благодарность).

Бережное внимание к культуре, систематизм, планомерность и последовательность в ее изучении, неслучайность исследований – характерные признаки польской литературоведческой школы. Это бросается в глаза и при знакомстве с такими масштабными серийными изданиями, как энциклопедические словари, посвященные отдельным литературным эпохам (см., например, такие серийные выпуски: [1]), с биобиблиографическим справочником польских писателей – от начала письменности до рубежа XIX–XX вв. [2] или библиографией неподцензурных публикаций [3], выходящими наряду с публикуемым с 1963 г. многотомным библиографическим словарем “Новый Корбут” [4], который, в свою очередь, продолжает масштабный труд “Польская литература” Г. Корбута [5]. Институт литературных исследований ПАН издал многотомный труд, посвященный спорным фигурам современной литературы [6].

Поражает своим размахом программа научного издания текстов. Наряду с известной серией “Национальная Библиотека”, непрерывно публикующей уже более 80 лет, с 1991 г. выходит серия “Польская Библиотека”, а с 1995 г. Институтом литературных исследований ПАН издается “Библиотека старопольских писателей”, успевшая уже выпустить 20 томов под общей редакцией А. Карпиньского и К. Мровцевича, с 2000 г. – “Библиотека писателей польского Просвещения”.

Систематизм в изучении литературного процесса прошлого и настоящего выражается, в частности, в том, что постоянно выходят обобщающие труды, посвященные истории польской литературы в целом, ее отдельным хронологическим периодам [7], тем или иным эстетическим эпохам (в частности, широко было отмечено столетие литературы Молодой Польши, см.: [8]).

Представляется, что особое место среди этих исследований традиционно занимает романтизм, важнейшая и самая долгая эпоха в польском литературном – и не только – процессе (см., например, [9]). О неслабшем интересе к программным идеям польских романтиков свидетельствует, в частности, новое дополненное издание соответствующей антологии в серии “Национальная Библиотека” (см.: [10].) Даже сейчас, когда крупнейший знаток этой эпохи М. Янион заявила о конце парадигмы романтической культуры, это, по ее мнению, не означает “конца романтизма” [11. S. 257]. Романтическая литература прочитывается по-новому, подвергается переосмыслению, как свидетельствует ряд новых работ (см.: [12]), например, выпущенный Инсти-

¹ Благодарю Виктора Александровича Хорева за ценные дополнения данного обзора, касающиеся исследований литературы XX в.

тутом литературных исследований ПАН сборник “Тринадцать романтических шедевров” [13], отразивший попытки нового прочтения классики (Мицкевича, Словацкого, Норвида, Фредро, Крашевского), ее восприятие в контексте современности, а также представления о сегодняшнем каноне обязательного чтения (ср. также: [14]).

Стимулирующим поводом для публикации новых работ, посвященных этой эпохе, стали юбилейные даты, связанные с ее выдающимися фигурами – 200-летие Адама Мицкевича (см. посвященную ему капитальную энциклопедию [15]), 190-летие Юлиуша Словацкого [16] и 150-летие его смерти. Мицкевич предстает в новых публикациях не в юбилейном глянце, а в перспективе уже 200-летней традиции восприятия его творчества, его мысли, становясь неким камертоном в диалоге сменяющихся поколений об универсальном и национальном, о личности и сообществе, искусстве и науке, действии и созерцании [17]. Несмотря на то, что труды о Мицкевиче могли бы составить целую библиотеку, парадоксальным образом его жизнь и творчество все еще таят в себе некую притягательную загадочность, и слово “тайны” присутствует как в названии сборника материалов приуроченной к юбилею конференции, так и в заголовках и содержании вошедших в него исследований [18].

Новое прочтение декларируется участниками юбилейной конференции, посвященной другому романтическому “поэту-пророку”: сборник ее материалов озаглавлен “Современный Словацкий” [19]. (Эта тенденция к новому прочтению заметна и в исследованиях творчества других романтиков; ср., например [20].) Каждый из авторов избирает свой аспект интерпретации поэзии и прозы Словацкого – ориентализм, ирония, наркотики, постмодернизм, интертекстуальность (ср. также посвященную этому аспекту монографию [21]), экспрессионизм, европеизм [22], театральность и т.д., – побуждая усомниться в возможности как-то гармонизировать эти столь различные направления, найти их общий знаменатель. “Современный” Словацкий, по признанию редактора сборника, предстает во всей своей ироничной неоднозначности, в ошеломляющем разнообразии, что делает его живое присутствие в эпохе деконструкции и постмодернизма вполне естественным. Исследователи отмечают, что Словацкий, трагически непонятая фигура в своем времени, смог стать провозвестником многих явлений в польской культуре последующих эпох. Во времена модернизма в нем видели недвусмысленного представителя “искусства для искусства”, сегодня европейского читателя (и писателя) в нем привлекают, в частности, открытая форма, отсутствие финала, наличие нескольких вступлений, интертекстуальность.

О неослабевающем интересе польских исследователей к Словацкому свидетельствуют работы как монографического характера [23], так и посвященные отдельным проблемам его творчества [24], а ставший классическим труд Ст. Треугутта о поэме “Беневский” вышел вторым изданием [25].

Вообще можно отметить тенденцию к переизданию наиболее значительных литературоведческих трудов – помимо уже указанных, следует упомянуть и серию “Классики современной польской гуманитарной мысли”, выходящую при поддержке Министерства национального образования под общей редакцией А. Новаковского. Так, событием стал выход в свет двух первых томов избранных трудов М. Янион, одного из ведущих исследователей польской литературы и культуры (достаточно упомянуть такие ее книжные публикации последних лет, как [26]), истории идей [27]. Первый том [28] вклю-

чает новую редакцию известных книг исследователя, вышедших три десятилетия назад – “Романтизм, революция, марксизм” и “Романтическая лихорадка” [29], причем по замыслу издателей различия прежнего и нового вариантов могут послужить читателю дополнительным материалом для понимания судеб польской гуманитарной науки последних десятилетий и ее связей с мировой мыслью. Во второй том – “Трагизм, история, приватность” [30] вошли работы, также известные по более ранним изданиям [31] и посвященные проблемам трагизма как особой категории отношения к миру (“Конрад Валленрод” Мицкевича, трагизм польской истории, фаустовский миф как антропологическая трагедия), философии истории, в значительной степени анализируемой на материале творчества З. Красиньского, а также различным отражениям в слове (переписка, дневник, автобиография, эссе) приватной экзистенции, взаимодействию “философии жизни” и “теории литературы”.

Интерес к “приватности”, субъективности, к бытию и переживанию (истории, литературы) частного человека, будь то романтический поэт или его современный исследователь, вообще представляется в современном польском литературоведении заметной тенденцией. Так, известная исследовательница польского романтизма проф. А. Витковская посвятила свою книгу “Честь и скандалы” описанию эмиграции как образа жизни, неизбежно придающего иное измерение самому переживанию существования [32]. М. Янион и М. Жмигродская в своем недавно вышедшем исследовании “Одиссея воспитания. Гетевское видение человека в “Годах учения и странствий Вильгельма Мейстера”” [33], открывающемся словами: “Человека должен более всего интересовать человек”, стремятся объединить прочтение романа, “врастание в него” – с “вырастанием за пределы себя”, с гуманистической трансценденцией. Именно Гете положил начало процессу эмансипации суверенной личности, творящей современную духовность, которая “освящает” все человеческое, и потому он смог стать опорой во времена кризисов, отрицающих человеческие ценности и достоинство. Поэтому роман Гете оказался и объектом размышлений авторов этой достойной внимания книги, в основу которой легли материалы проводимых ими в 1990-е годы семинаров (включая и тексты их слушателей) в Польской Академии наук, в Варшавском и Ягеллонском университетах.

Одно из проявлений этой тенденции к “приватизации” литературы можно усмотреть и в попытке выдающегося польского поэта, нобелевского лауреата Ч. Милоша (упомянем хотя бы некоторые посвященные ему исследования: [34]) дать собственную картину развития польской литературы [35], и в его постулате “приватных обязательств по отношению к польской литературе”, весьма яркой и последовательной реализацией которого представляется творчество известного исследователя, а также поэта М. Барановской. От антологического жанра, позволяющего путем отбора текстов представить свой собственный выбор и взгляд на поэзию, которую она любит [36], М. Барановская переходит к непосредственному высказыванию, издав книгу о нобелевском лауреате В. Шимборской [37] (Шимборской посвящены и другие исследования [38]), где тонкий анализ сочетается с очень личным прочтением ее стихов, а затем публикует свою собственную “Приватную историю поэзии” [39], где интерпретация текстов подчинена субъективности дневникового жанра, что создает неповторимо индивидуальный симбиоз жизни и литературы, точнее – бытия в литературе.

Возможно, и заметный в польском литературоведении интерес к интердисциплинарным исследованиям, особенно к психологической перспективе рассмотрения литературного текста, допустимо связать с данной тенденцией [40].

Значимость и своеобразие личности исследователя могут быть подчеркнуты и благодаря давней академической традиции издавать сборники статей, посвященные юбилеям видных ученых. Два недавно вышедших значительных труда обогатили исследования польского романтизма, интерпретации соотношения “поэзии” и “правды”, литературы и истории. Один из них – “Зеркала истории” – коллеги из Института литературных исследований ПАН посвятили 50-летию научной деятельности профессора М. Жмигродской [41], открыв его изысканным историко-литературным эссе М. Бенчика с подчеркнуто личной адресацией – “Шесть тостов для Пани Профессора”. (В 2002 г. в память М. Жмигродской Институт литературных исследований издал ее книгу: [42].) Другой труд – “Романтизм. Поэзия. История” [43] посвящен 55-летию научной работы проф. З. Стефановской. М. Гловинский в предисловии пишет о ней: “Воплощение столь необычных и рискованных идей может себе позволить лишь мастер. Тому, кто знает З. Стефановскую лично, конечно, известно, что она обладает даром использовать необычные идеи и в устной беседе, что в самых разных ситуациях она способна найти элегантную форму, часто окрашенную иронией, но проникающую в сущность вещей” [43. S. 9].

Юбилею исследователя литературы и культуры XX в. А. Бродской посвящен сборник, также выпущенный Институтом литературных исследований [44].

Говоря об исследованиях литературы и культуры романтизма, нельзя не упомянуть серьезные работы Э. Кисляк (“Царь-труп и Король-Дух. Россия в творчестве Словацкого”) [45], А. Новака (“Между царем и революцией. Исследование политических представлений и позиций Великой Эмиграции по отношению к России. 1831–1849”) [46], М. Зелиньской (“Поляки, русские, романтизм”) [47], представляющие собой новое осмысление далеких от однозначности и имеющих долгую историческую и исследовательскую традицию межкультурных взаимоотношений.

Если обратиться к более поздним временам, следует упомянуть о неугасающем интересе к трем великим именам прошлого века – Б. Шульцу [48], С. Виткевичу [49], В. Гомбровичу [50], к творчеству видных польских поэтов (см., например [51]), к теоретическим построениям на историко-литературном материале [52]. Осветить польские работы по теории литературы здесь не представляется возможным, так как это вообще масштабная тема, заслуживающая специального обзора. Помимо упоминавшихся выше в разных контекстах трудов, следует отметить книги Г. Маркевича [53], чье собрание сочинений также сейчас издается.

Завершая этот по необходимости беглый обзор, хотелось бы отметить и осязаемое стремление польских ученых к объемному и цельному осмыслению национальной культуры, к преодолению разрывов и белых пятен, что побуждает патриархов польской гуманитарной науки беспокоиться о книгах, которые могли бы выйти, но по тем или иным обстоятельствам отсутствуют на карте культуры. Об этом думал К. Выка, о не вышедших (планировавшихся на 1940 г.) книгах писал Г. Маркевич в своем эссе “Литературный сезон, которого не было” [54], этому посвятил недавно свою статью профессор Я. Тазбир [55].

S. 338–348] (первый том избранных трудов которого недавно вышел в Кракове в серии “Классики современной польской гуманитарной мысли” [56]).

Это беспокойство по поводу несостоявшегося в меньшей степени свидетельствует о глубоком внимании к национальной культуре, служит обеспечению сохранности ее ценностей, чем бегло обрисованные здесь системность и последовательность в ее изучении, “состоятельность” польской науки о литературе.

С.А. Шерлацмова. Чешская словесность обладает богатыми традициями как в собственно художественной области, так и в области литературной теории и критики. Проблемы назначения и роли литературы глубоко волновали Т.Г. Масарика при осмыслении отечественной и мировой истории и конкретных политических целей. Можно назвать целый ряд имен выдающихся чешских теоретиков литературы и критиков, таких, например, как Ф.Кс. Шальда. Пражский структурализм (Я. Мукаржовский) во многом предвосхитил более известный в международном масштабе структурализм французский. Любопытен и тот факт, что большинство крупных чешских писателей активно выступали как критики и теоретики искусства. В XX в. это можно сказать и о К. Чапеке, и о В. Незвале, ближе к сегодняшним дням – о М. Кундере. Вместе с тем эстетическая теория и критика переживали, как и литература, периоды серьезных кризисов, сомнений, “кризисов критериев”.

После поражения реформаторского движения “Пражской весны”, когда литература и литературная печать играли исключительно важную роль в плане формирования общественного сознания, наступило двадцатилетие так называемой нормализации и “расколота литературы” (официальная, самиздат, литература эмиграции), что особенно тяжело отразилось именно на критике. В стране, издавна славившейся разветвленностью литературной прессы, выходил единственный чешский литературный журнал “*Literární měsíčník*” с ограниченным числом авторов (Г. Грзалова, Ш. Влашин, М. Благинка, В. Рзунек и др.), да и те находились под бдительным партийным контролем, который распространялся и на скудные культурные рубрики общественно-политических журналов и газет. Цензура в Чехии была в те годы гораздо более жесткой, чем, к примеру, в соседней Польше. К. Хватик, выступая в 1981 г. на одном из семинаров литераторов-эмигрантов, справедливо констатировал: “Если бы сегодня кто-нибудь в Праге захотел написать в “*Literární měsíčník*” (а другого литературного журнала во всей Чехии сегодня не существует) доброе слово о последней книге Кундеры или Шкворецкого, о сборнике стихов Скацела или пьесе Гавела, он оказался бы в тюрьме или сумасшедшем доме. Но стоит поехать в недалекий Краков, город страны того же “лагеря”, как там в книгах и учебных пособиях, написанных польскими богемистами, мы увидим положительные оценки творчества тех самых авторов, даже имена которых на их собственной родине запрещено упоминать” [57. S. 36]. (Напомню, что такие же запреты на упоминание имен чешских авторов существовали и в СССР.)

Чешская литературная критика весьма успешно развивалась тогда в эмиграции, в эмигрантских периодических изданиях, например журналах “*Svědectví*” в Париже, “*Listy*” в Риме и др. Среди критиков, пишущих прежде всего о современной литературе, следует выделить К. Хватика (Германия), Г. Коскову (Швеция), П. Тренского (США), С. Рихтерову (Италия). Историю чешской литературы XIX–XX вв. написал А. Мештян (немецкая версия – ФРГ,

1984; чешская версия – “Чешская литература 1785–1985” – Торонто, 1987). Постепенно формировалась и самиздатовская критика. Здесь можно отметить, например, М. Юнгманна, бывшего редактора еженедельника “Literární povíny”, который внимательно следил и весьма объективно оценивал произведения не только альтернативной, но и официальной литературы. И. Брабец с коллективом подготовил изданный в 1982 г. в Торонто “Словарь чешских писателей” (с подзаголовком “Попытка реконструкции истории чешской литературы 1945–1979”, в который вошли авторы, запрещенные в “нормализованной” Чехословакии.

“Бархатная революция” ноября 1989 г. и крах социалистического строя в Чехословакии круто изменили положение в чешской литературе и критике. Была отменена цензура, вышел из подполья самиздат, возникло множество литературных журналов, возвращались на родину авторы-эмигранты. Многие из них остались на постоянном жительстве за границей, но их книги выходили на родине, они участвовали в конференциях и дискуссиях, печатались в журналах. Своеобразное исключение представлял М. Кундера, перешедший в своем творчестве на французский язык, не разрешавший переиздавать некоторые свои прежние книги, в том числе созданный в эмиграции и принесший ему всемирную известность роман “Невыносимая легкость бытия”, вообще демонстративно сторонившийся чешской литературной жизни.

Чешская литература, чешская критика обрели свободу слова. На прилавках книжных магазинов вновь появились работы таких видных, ранее запрещенных, исследователей, как М. Янкович, М. Червенка, К. Хватик, М. Юнгманн и др. Но и официальные критики предыдущего периода не были лишены возможности печататься: Г. Грзалова, Ш. Влашин, М. Благинка публиковали свои работы в коммунистических и левых изданиях, хотя, конечно же, они оказались теперь на обочине литературного процесса и их влияние свелось к минимуму.

В стране создались благоприятные условия для развития критики. Было много сделано для восстановления объективной картины чешской литературной истории послевоенного времени. Критическому пересмотру подверглась эпоха социалистического реализма с ее идеологическим диктатом и эстетической нормативностью. Не обошлось и без некоторых перегибов, но не столь резких, как это наблюдалось еще недавно в нашей критике по отношению к советской литературе и крупным советским писателям. Разумеется, и здесь действовали политические предпочтения и память об имевших место несправедливостях, старые симпатии и антипатии. Мне представляется, что это сказывается сегодня, к примеру, на известной недооценке поэтического наследия В. Незвала или некоторых относительно молодых поэтов и писателей периода “нормализации” (К. Сус, И. Жачек, З. Заплетал и др.) Но главное заключается в том, что вновь утверждено значение таких действительно выдающихся авторов, как Й. Шкворецкий, Л. Вацулик, тот же М. Кундера, В. Гавел, П. Когут, поэты журнала “Květen” (за исключением М. Флориана, поэта вполне аполитичного, но принадлежавшего к официальной литературе), была реабилитирована католическая литература и т.д. Изменился сам критический стиль – назову хотя бы блестящие остроумные эссе В. Мадуры. Появились новые версии истории чешской литературы (“Панорама чешской литературы: литературная история от истоков до современности” – Оломоуц, 1994), новые учебники для гимназий, вышел двухтомный “Словарь чешских писателей после

1945 года” (1995, 1998), подготовленный коллективом Института чешской литературы ЧАН под руководством П. Яноушека, в этом же институте идет работа над академической “Историей чешской литературы после 1945 года”. Выходят книги о литературе эмиграции и самиздата. Очень ценными следует признать публикации в двухнедельнике “Tvar” архивных материалов Союза чехословацких писателей, которые готовит молодой исследователь из Чешских Будеёвиц М. Бауэр. За современным литературным процессом под историко-литературным углом зрения внимательно следят, активно выступая в печати, А. Гаман из Пльзни, Л. Махала из Оломоуца (назову хотя бы последнюю монографию Махалы “Литературный лабиринт. Баланс посленоябрьской прозы”, изданную в Праге в 2001 г). Оживились исследования по истории и теории чешского структурализма, по развитию его традиций (фундаментальные работы М. Червенки о чешском стихе, “Структуральная эстетика” К. Хватика и т.д.). Интенсивно работают над новыми трудами такие известные теоретики, как З. Матхаузер и Д. Годрова.

Вместе с тем современная критика, как и литература в целом, оказалась в состоянии своего рода кризиса с точки зрения поиска новых путей, выработки программы, понимания назначения и роли литературы в современном обществе. В очередной раз подтвердилась иллюзорность излюбленного многими теоретиками и критиками тезиса о том, что к расцвету ведет полное освобождение искусства от всех внеэстетических задач и обязательств. Тысячи раз преданная анафеме идеология в том или ином варианте обнаруживалась практически во всех произведениях, кроме разве что бездумно-развлекательной массовой продукции. Такой же иллюзией оказался постулат о воссоединении после “бархатной революции” всех трех ветвей расколотой литературы в нечто единое. В статье 1993 г. П. Яноушек, сетуя, что “у нас нет ярких литературных событий”, писал: “Наша литературная жизнь черезчур раздроблена... Если до недавнего времени чешская литература была насильно расчленена на три ветви-течения, сегодня она распадается на множество отдельных групп. Это не проблема – организовать новую группу, но это значит, что мы, как и все прочие, будем играть только на своем песочке. Мы, которые разговариваем друг с другом, конечно, имеем свои убеждения, своих святых и своих проклятых, но какое нам дело до всех остальных? Зачем идти на конфронтацию с ними? Вообще зачем с ними как-то общаться? Зачем их читать... все равно ведь все не охватишь. Убедительное доказательство этого – наши журналы: по большей части их читают только те, кто в них печатается” [58. S. 97].

Яноушек несколько преувеличивал разъединенность современной чешской литературы и невнимание критиков к мнениям своих собратьев по профессии, но все же полнокровная литературная жизнь, подобная ситуации межвоенного периода, если и вызревает, то очень медленно. Однако это не значит, что вообще нет литературных споров. Уже в самом начале 1990-х годов обозначились разные оценки, например, таких наиболее характерных для современной прозы направлений, как автобиографизм нового типа или постмодернизм. Надо заметить, что, хотя элементы постмодернизма отчетливо проявились в отдельных произведениях всех ветвей чешской прозы предыдущего периода, критики и теоретики относились к этой проблематике с меньшим интересом и энтузиазмом, чем в ряде других постсоциалистических стран. Самым рьяным проповедником (и практиком) постмодернизма выступил И. Кратох-

вил, который горячо приветствовал “обновление хаоса в чешской литературе”. В статье 1992 г. он писал: “Хаос – это понятие, которое из языка чешской публицистики известно нам в значении сумятицы и беспорядка. Но в своем самом первичном смысле оно обозначает также начало, пространство, в котором начинается нечто, пусть в ту минуту еще не ясно (нераспознаваемо), что именно начинается и в каком направлении оно будет развиваться” [59. S. 83]. Как самое плодотворное направление Кратохвил воспринял постмодернизм: “Это литература хаоса, т.е. начала. И сегодня это единственное действительно живое течение” [59. S. 84]. Но с Кратохвилем не соглашался Юнгманн, который был склонен в хаосе видеть именно хаос, указывал на расхлябанность критериев современной критики: “То, что одному кажется наступлением безответственной болтовни, другой воспринимает как художественный прорыв, как отважный поиск новой красоты, неких сегодняшних “цветов зла”” [60. S. 124].

Постепенно в чешской критике возникают все более оживленные полемики по проблемам того же постмодернизма, который все больше утрачивает популярность не только среди читателей, но и среди самих писателей. Идут споры между отдельными изданиями, например между журналом “Tvar” и весьма задиристым “Критическим приложением” к журналу “Revolver Revue”, сталкиваются мнения разных критиков по поводу одного и того же произведения. Так формируется нормальный “литературный быт”, способный стать основой плодотворного развития и литературной критики, и самой литературы.

Л.Н. Будагова. Время, наступившее в литературоведении Чехословакии после “бархатной революции” 1989 г., можно условно охарактеризовать как время “возвращений”.

Включаются в научную жизнь страны, в легальное творчество, литературоведы, не прошедшие партийных чисток периода “нормализации” и лишённые права заниматься своей профессией. Сотрудниками Института чешской и мировой литературы ЧАН (позже он преобразуется в Институт чешской литературы), директором которого в начале 1990-х годов избирается З. Пешат, крупный специалист по чешской поэзии XX в., вновь становятся бывшие изгои, талантливые ученые М. Червенка, М. Янкович, И. Брабец, Е. Штросова и другие ученики и последователи Я. Мукаржовского и Ф. Водички, основоположников литературоведческого структурализма.

Одновременно происходит возвращение в активный фонд национальной культуры, в сферу исследований запрещенных или полузапрещенных прежде писателей, эмигрировавших после февраля 1948 г. (Я. Чеп, М. Соучкова и др.), августа 1968 г. (Й. Шкворецкий, М. Кундера, П. Когоут и др.) или не помышлявших об эмиграции, но просто чем-то не угодивших режиму (писатели-католики Я. Заградничек, Я. Дурих, Б. Фучик, “руралисты” Й. Кнап, Й. Кршелина, ученый и критик В. Черный, один из лидеров чешского антифашистского Сопротивления, не поддерживавший послевоенной культурной ориентации на Восток, и т.д.). Стараниями литературоведа И. Травничека впервые выходит собрание сочинений и двухтомная корреспонденция Я. Заградничека (1905–1969), крупнейшего поэта католического направления, который просидел в тюрьме с 1951 по 1960 г. и был под запретом с 1969 г. Вышла серия сборников “Блуждание во времени и пространстве – Ярослав Дурих, знакомый и незнакомый” (Градец Кралове, 1997), “Конференция о творчестве Яна Чепы” (Оло-

моуц, 1998) и другие книги, способствующие освоению творчества замалчивавшихся писателей. Настоящим открытием стало творчество М. Соучковой (1899–1974), мастера чешской прозы и блестящих литературных пародий. Получив известность еще в конце 1930 – начале 1940-х годов, после войны она практически не упоминалась в литературных словарях, даже в таком основательном и демократичном, как “Словарь чешских писателей” (1964). Сейчас публикуется собрание ее сочинений, а Институт чешской литературы выпустил книгу “Милада Соучкова – незнакомый человек” (Прага, 2001). Частота употребления слова “незнакомый” в литературоведении отражает стремление ликвидировать белые пятна в чешской литературе, познакомиться с незнакомым, открыть неизвестное в известном. Здесь показателен сборник “Незнакомые (авторы) – незнакомые (тексты)” (Градец Кралове, 1999), концентрированно отразивший эти тенденции. Вот темы некоторых статей: И. Славик “Белые пятна в истории чешской литературы”, К. Билек “Забывшие и забываемые в Старых Градах” (там расположен архив Музея чешской письменности), А. Гаман «Забывтый роман Св. Чеха “Икар”», А. Феттерс “Сигизмунд Боушка (поэт католической модерны. – Л.Б.) глазами корреспондентки”, М. Травничек “Скрытая жизнь творчества Яна Чеха”.

Наблюдается плюрализм в методах анализа литературы. Широко используется опыт структурализма и постструктурализма, чему способствует, в частности, основание серии “Библиотека структурализма”. Но не предаются забвению и традиции других школ – биографической, психологической, социологической и т.д. Симптоматично в этой связи издание (2001) рукописи известного слависта и компаративиста К. Крейчи (1904–1979) “Социология литературы” (1944), способствующей утверждению комплексных подходов к предмету исследований. Это подчеркивается и во вступительной статье И. Поспишила и М. Зеленки “Закономерности социологического метода и компаративистские импульсы К. Крейчи межвоенного периода: между социологией и структурной эстетикой”.

Обновленные концепции и картины (в сторону большей полноты и объективности) национального литературного процесса находят отражение в новых “Историях” чешской литературы, энциклопедиях и словарях. Литературоведы как бы стремятся поскорее обобщить и сделать всеобщим достоянием результаты идеологического раскрепощения гуманитарных наук, сказавшегося на переоценке ценностей, переосмыслении целых эпох, направлений, отдельных писателей.

Среди книг, где обобщены новые и более полные представления о чешской литературе, стоило бы помимо упомянутых выше назвать “Словарь запрещенных авторов” [61] и “Чешская литература от начала до сегодняшнего дня” [62] – иллюстрированное издание, одинаково интересное и специалистам, и широкому читателю.

Несмотря на официальную ориентацию страны на Запад, не слабеет русистика, традиционно сильное в чешской науке о литературе направление. Один из малых примеров тому – переизданные в 2001 г. “Эссе и статьи о древнечешской литературе” непопулярного в ЧССР исследователя барокко Й. Вашицы (1884–1968), где затрагиваются и русские сюжеты – “Значение св. Бориса и Глеба в святовацлавской традиции”, “Эпизод из истории католицизма в Москве конца XVII в.” и т.д.

Среди последних публикаций в области русистики – книги О. Рыхтарека “Диалог культур. О чешско-русских культурных связях” (1999), где, в частности, речь идет о переводах и интерпретации Чехова, Есенина, Ахматовой, и В. Сватоня “С другого берега. Статьи и эссе о русской литературе” (2002). В ней собраны работы последних двух десятилетий, объединенные стремлением “понять и определить специфику русского духовного развития и связанные с этим особенности русской литературы, в первую очередь романа”. Констатируя критическое отношение многих русских мыслителей к Западной Европе, достигшей больших успехов в техническом развитии, но не воодушевленной великими культурно-гуманистическими целями, автор считает эти “эсхатологические наклонности важной чертой русской духовности, но никак не показателем состояния русского общества, значительная часть которого тяготеет к западному образу жизни больше, чем сам Запад”. Понимая русскую культуру как одну из сторон европейской культуры, автор видит в ней “критический (самокритический) взгляд Европы на собственные порывы и стремления”.

Преимущественно на материале русской литературы и литературоведения написана книга И. Поспишила “Генология и метаморфозы литературы” [63], где литературный жанр – этот способ бытования литературы – выступает как призма рассмотрения ее развития. Большую роль играют чешские русисты и в освоении и популяризации наследия русской послереволюционной эмиграции в Чехословакии.

Отмечая то “новое”, что подтверждает необходимость продолжать некоторые старые исследования, нельзя обойти вниманием книгу словака П. Винчера, живущего в Вене, но принимающего активное участие в жизни чешской культуры, “Связи во времени и пространстве. Поэтический авангард, его преодоление и наследие (Чехия, Словакия, Польша)” [64]. Многие положения работы близки взглядам автора этих строк. Например, разделение эпох модернизма и авангарда вместо их слияния в одно понятие “эпоха модернизма”, которое нивелирует специфику модернистских и авангардных течений. Хотя между ними и есть преемственная связь, но представители последних находились в оппозиции к символизму и декадансу. Винчер, как и многие, видит в авангардизме способ (сферу) приспособления искусства начала XX в. к бурным переменам в жизни, обществе, общественном и художественном сознании, способ радикальный, с решительным отрицанием культурного наследия и укоренившихся в творчестве условностей и штампов, и это вполне справедливо. Только здесь не хватает оговорки, что радикальный антитрадиционализм на славянской почве больше проявлялся в программах, чем на практике. Резкий на словах, он смягчался на деле, уступая место разумным компромиссам между “новым” и “старым”. Некоторые мысли Винчера негласно вторгаются в наши дискуссии начала 1990-х годов – об ответственности авангарда за пропаганду революционной идеологии и инспирацию соцреализма. Винчер относится к тем, кто снимает с него эту ответственность. Он отрицает тезис о фатальной “связи художественного авангарда с социальной революционностью, коммунистической идеологией и левачеством”, отмечая, что подобная связь отличала разве что Чехию, где многие интеллектуалы симпатизировали коммунизму. Применительно же к международному авангарду, он говорит лишь о его “антибуржуазной позиции и социальном нонконформизме” [64. S. 10]. Добавим от себя, что и в Чехии, несмотря на левую ориента-

цию виднейших представителей авангарда (Я. Сейферта, В. Незвала, К. Библа, К. Тейге, В. Ванчуры и т.д.), авангард и соцреализм были в полемических отношениях как два разных типа искусства: авангард отстаивал свободу творчества от служебных функций, соцреализм сознательно ставил себя на службу марксизму. Весьма интересно установленное Винчером различие между авангардом – явлением истории культуры и авангардом – явлением истории литературы, конкретно – поэзии. В первом случае он охватывает все сферы искусства, занимается выработкой программ, самоутверждением, привлечением к себе сторонников. Как феномен истории культуры первой трети XX в., он несет на себе печать времени, во многом определяет его атмосферу и уходит вместе с ним. Но как явление истории поэзии он, определяя новизну приемов и средств, не проходит с годами, ассимилируется ею, играет “ключевую роль” в формировании ее современного облика, “ставит на нее свою печать” [64. С. 12]. Считая свой труд, представляющий расширенный и углубленный вариант книги “Поэтика поэтических направлений” (1974), не воспоминанием о прошлых работах, а вкладом в дискуссию о том, чем и как заниматься сегодня, автор подчеркивает актуальность исследований авангарда.

22 августа 2003 г. исполняется 100 лет со дня рождения Р. Веллека (Уэллека), американского ученого чешского происхождения, что определяет злободневность изданной в 1996 г. книги И. Поспишила и М. Зеленки “Рене Веллек и межвоенная Чехословакия. К корням структуральной эстетики”².

В заключение хотелось бы остановиться на истинно современном, подсказанном веком компьютерных технологий начинании Института чешской литературы ЧАН, опередившего здесь всю “континентальную Европу”. По инициативе В. Мацуры (1945–1999) и сменившего его на посту директора П. Яноушека там ведется большая работа по созданию электронной библиотеки чешской поэзии. Непосредственный руководитель проекта – Б. Сватбова. 3 декабря 2002 г. в Праге состоялась торжественная презентация первого компакт-диска – “Поэзия XIX столетия: от таммовцев – к люмировцам”, где собрано 600 произведений (с вариантами) чешских поэтов с полными выходными данными и обширным критическим аппаратом. Это самое полное собрание чешской поэзии позапрошлого века, какого нет ни в одном книгохранилище. Готовится электронный “сборник” чешской поэзии рубежа XIX–XX вв. Можно сказать, что чешские литературоведы начали строить библиотеку будущего, которая не потребует ни помещений, ни стеллажей, но откуда исчезнет и чарующий запах старых книг.

А.А. Тюрина. Мое выступление посвящено обзору вышедших в Чехии за последние несколько лет работ по структурализму и теории литературы. Современная чешская общефилологическая база строится на принципах, традициях и методах научных исследований, заложенных и разработанных в 1930–1940-е годы членами Пражского лингвистического кружка. Если говорить о литературоведении, то самым видным и фактически единственным ученым в Пражской школе, перенесшим структуралистические принципы, разработанные изначально лингвистами, на анализ явлений литературы, искусства и на общие вопросы эстетики, был Я. Мукаржовский. Фактически

² Первой и пока единственной книге чешских литературоведов о своем знаменитом соотечественнике посвящается – по случаю юбилея ученого – специальная статья в этом же номере журнала.

все крупные чешские литературоведы и критики, работающие сегодня – М. Червенка, К. Хватик, М. Григар, З. Пешат и многие другие – ученики и последователи Мукаржовского. В связи с изменившейся в начале 1990-х годов обстановкой стали возможными публикации разноплановых работ чешских и зарубежных авторов о структурализме и по общим вопросам теории литературы. На наш взгляд, наиболее продуктивным и интересным изданием стали здесь книги серии “Библиотека структурализма” (Strukturalistická knihovna). Это плод совместного труда брненского издательства “Host”, нескольких гуманитарных факультетов чешских университетов и министерства культуры Чешской Республики, которое открыло и частично финансирует новую программу поддержки науки и образования в стране.

Первая книга “Библиотеки структурализма” вышла в 1999 г. С тех пор под этим грифом издано 13 книг, которые условно можно разделить на четыре группы.

Одна посвящена Я. Мукаржовскому. К ней относится новый двухтомник его трудов. В первом томе собраны наиболее известные статьи 1930–1940-х годов общетеоретического плана по вопросам эстетики, об искусстве, кино, театре [65]. Второй том [66] адресует читателя к вопросам теории литературы и поэтики, а также и анализу художественных текстов чешских авторов.

К той же группе следует отнести книгу М. Григара “Словарь терминов чешского структурализма (общие понятия эстетики и теории искусства)” [67]. М. Григар, выпускник философского факультета Карлова Университета, где он изучал эстетику и богемистику, свой научный путь начинал в Институте чешской и мировой литературы ЧСАН. В 1968 г. он организовал в Риме симпозиум, посвященный проблемам структурного метода, с 1969 по 1993 г. читал лекции о структурализме и чешской литературе в Амстердамском университете. Его книга является первой попыткой обобщения системы понятий Мукаржовского. “Словарь” строится так: Григар выбирает наиболее характерные цитаты из работ Мукаржовского, раскрывающие смысл основных категорий, которыми оперировал ученый (структурализм, структура, эстетическая функция, знак и т.д.), а потом дает свой краткий резюмирующий комментарий. Это одно из наиболее полных и интересных изданий, раскрывающих взгляды чешского ученого.

Вторая группа публикаций – теоретические работы чешских и западных литературоведов о структурализме. Среди них “Структуральная эстетика” К. Хватика [68], представляющая собой обзор и анализ – с позиций структурализма – основных проблем эстетики и искусства. Предложив свое определение эстетики, Хватик исследует это понятие с помощью трех основных категорий Мукаржовского: эстетическая функция, норма и ценность. Далее автор касается семантики термина “художественное произведение”, его возможных интерпретаций, рассуждает о специфике искусства и его общественных и исторических аспектах. “Структуральная эстетика” выходит во втором, переработанном издании. Хватик добавил ряд глав, которые отсутствовали в издании 1994 г., расширил библиографию.

Определенный интерес представляет перевод книги английского литературоведа Т. Хоукса “Структурализм и семиотика” [69], вышедшей в Великобритании в 1977 г. и несколько раз переизданной. Книга посвящена истории зарождения и эволюции структуралистического метода от теории Ф. де Соссюра, работ К. Леви-Стросса через русскую формальную школу и француз-

ский структурализм до науки о знаках и англо-американской “новой критики”. Автор показывает особенности структурализма как научного метода, новый взгляд на объект, который несет этот метод, и его практическое применение. Это своего рода учебник по структурализму, систематизирующий знания читателя, хорошо знакомого с концепцией структурализма, и просвещающий непросвещенных. Сам автор – профессор Уэльского университета, специалист по творчеству Шекспира, и данная книга – самое большое его сочинение теоретического характера. В чешское издание книги включено подготвленное И. Осольсобе и И. Травничеком приложение работ чешских и словацких последователей структурализма.

Книга американской исследовательницы С. Риммон-Кенон “Поэтика повествования” [70] представляет собой систематизированный взгляд на нарратологическую теорию XX в. Автор подробно останавливается на русском формализме, французском структурализме, англо-американской “новой критике”, Тель-Авивской школе и феноменологии чтения. Риммон-Кенон исследует данную проблематику не хронологически, а через анализ нарративных составляющих, таких, как время, событие, фокализация, характеристика, повествование, текст, чтение и т.п.

Еще одно издание, на котором следует остановиться, принадлежит перу Л. Долежела, чешского ученого, который живет и работает в Канаде. “Главы из истории структуральной поэтики” [71] – это попытка подробно исследовать ход развития различных методологий, показать, как менялось восприятие литературного текста в эпохи, о которых сейчас говорят как об этапах формирования основных проблем поэтики, определивших специфику западного структурального мышления. Охватывая огромный исторический период – от Аристотеля до Пражского лингвистического кружка, автор пытается реконструировать ту почву, в которой можно найти зародыши современных методов анализа литературы и ее теоретических осмыслений. Книгу также можно рассматривать как своего рода “теоретический путеводитель” для поисков потенциально возможных подходов к исследованию современной поэтики.

Если сравнивать упомянутые выше издания чешских авторов и их западных коллег, то легко заметить разницу в восприятии ими истории развития структурализма. Западные исследователи выделяют, в основном, три глобальные стадии эволюции данного метода: Женевскую школу лингвистики – русский формализм – французский структурализм, а Пражский лингвистический кружок рассматривается лишь как переходный период между теорией ОПОЯЗа и французским структурализмом. Чешские же литературоведы считают деятельность ПЛК ключевым моментом в эволюции методологии структурализма, а идеи французских ученых 1960–1970-х годов трактуют не как вершину, а как второй, равный по достижениям этап развития структурализма в гуманитарных науках. Фактически все издания чешских литературоведов, посвященные Пражской школе, кроме научных подспудно имеют еще и идеологическую задачу – возродить в сознании современного научного сообщества ту роль, которую сыграли работы ученых ПЛК в становлении структурализма как научного метода.

К третьей группе изданий серии “Библиотека структурализма” относятся антологии, представляющие разные литературоведческие школы. Во-первых, это издание “Знак, структура, повествование. Избранные работы по французскому структурализму” [72], включающее в себя программные статьи самых

известных парижских ученых 1960–1970-х годов – Р. Барта, А.-Ж. Греймаса, К. Бремона, Ц. Тодорова, Ж. Женетта и многих других. Во-вторых, книга “От поэтики к дискурсу – избранные работы по польской литературной теории 70–90-х годов XX века” [73], где представлены исследования по структурализму и семиотике 12 польских авторов (Е. Барцежана, Е. Чаплеевича, М. Гловиньского, В. Калаги, Е. Кузьмы, Г. Маркевича и др.). В-третьих, сборник статей “Читатель как призыв. Избранные статьи констанцской школы рецептивной эстетики” [74], который содержит канонические работы классиков немецкой рецептивной школы Г.Р. Яусса, В. Изера, Р. Варнинга, Р. Лахман, Ю. Штридтера и К. Штирле. К изданию готовятся сборники работ по семиотике словацких авторов и статей представителей тартуской школы.

Последнюю группу изданий составляют монографические работы на разные темы современных чешских литературоведов и критиков. Здесь можно назвать двухтомное сочинение М. Червенки “История чешского свободного стиха” [75]. Автор прослеживает эволюцию чешского верлибра, начиная с символизма рубежа XIX–XX в. и вплоть до современности. В конце книги автор констатирует кризис вольного стиха в современной поэзии и рассуждает о дальнейшем развитии чешской поэтической традиции.

Книга И. Вельтрусского “Драма как поэтическое произведение” [76] впервые увидела свет в 1942 г., но из-за цензуры была во многих местах урезана. Теперь она опубликована в полном варианте. Вельтрусский применяет структурный метод своего учителя Я. Мукаржовского к материалу чешской и мировой драматургии и исследует драму как часть словесного искусства. Книга снабжена подробным комментарием И. Осольсобе, по которому можно судить о развитии теоретических взглядов автора в дальнейший период его жизни уже за границей.

Краткий обзор данной серии показывает, что в последние годы чехи пытаются восполнить пробел, возникший в чешском литературоведении после Второй мировой войны, когда структурализм был объявлен “буржуазной наукой”, работы о нем печатались в урезанном виде или не издавались вовсе. Серия “Библиотека структурализма” помогает понять, какие проблемы интересуют чешских ученых, на какой методологической базе основываются многие исследования, а также ознакомиться с достижениями зарубежных коллег и увидеть проблематику структурализма в более широкой перспективе.

Ю.В. Богданов. В 1984 г. вышел из печати объемистый том “Истории словацкой литературы (1918–1945)”, подготовленный усилиями ведущих сотрудников Института литературоведения Словацкой АН. Тем самым был завершен главный магистральный проект, который с 1953 г. (года основания Института) находился в центре его научно-исследовательской деятельности. Пяти томный синтетический труд, не имевший аналогов в национальной культуре, вообрал в себя результаты многолетних конкретных исследований и был заслуженно признан важнейшим достижением словацкого литературоведения. Правда, надо сказать, что по первоначальному замыслу издание предполагалось увенчать шестым томом, посвященным литературе социалистического периода. Об этом еще в 1965 г. в предисловии к третьему тому (“Литература второй половины XIX столетия”) сообщал один из основных авторов “Истории” и в ту пору директор Института И. Кусы (1921–2000). Но уже к моменту неимоверно затянувшегося выхода четвертого тома “Литература на рубеже XIX–XX вв.” (1975), написанного двумя авторами – И. Кусы и

С. Шматлаком (р. 1926), Институт отказался от идеи создания “социалистического” тома. “...Следующий, пятый том, в котором будет представлена литература 1918–1948 гг. и которым завершится проект академической истории словацкой литературы, выйдет не позже 1978 г., ибо рукопись находится уже в стадии редактирования”, – говорилось в рецензии на четвертый том одного из авторов пятого тома “Истории”, сотрудника Института Ю. Ногге [77. S. 88]. А между тем заключительный том появился лишь спустя девять лет и был доведен только до 1945 г.

За всеми этими перипетиями отчетливо угадываются обстоятельства далеко не научного порядка. После августа 1968 г., в обстановке так называемой нормализации, все академические учреждения были подвергнуты не только кадровой чистке – под жесткий идеологический контроль, особенно в сфере общественных наук, были поставлены и основные направления исследовательской работы. Чем ближе к современности оказывались проблематика и объекты исследований, тем неумолимее действовали ножницы идеологической селекции, цензурные запреты даже на упоминание “нежелательных” фактов, событий, имен. От ученых требовалась вполне определенная дисциплина мышления, выстраивание схоластических конструкций, призванных обосновывать очередную “правоту” партийной линии. В атмосфере “самодовольного презентизма” (С. Шматлак, 1996) объективное, сколько-нибудь масштабное, целостное исследование современных процессов, происходивших в обществе, культуре, литературе, становилось попросту невозможным.

После 1989 г. именно задача пересмотра основных тенденций литературного развития в XX в. была признана наиболее актуальной. В предшествующей литературоведческой практике весь литературный процесс XX в. было принято рассматривать с приоритетным выделением творчества писателей социалистической ориентации, представлявших социалистический реализм в словацкой литературе. Эта линия признавалась определяющей и наиболее перспективной, от нее шел отчет всех прочих, менее значимых или заведомо ущербных направлений. “Историю литературы XX в. и в особенности после 1945 г., – подчеркивал новый директор Института словацкой литературы САН П. Заяц, – недостаточно будет лишь дополнить некоторыми, ранее вычеркнутыми из нее именами или ограничиться переоценкой тех или иных произведений, необходимо изменить саму концепцию подхода к литературе. Нужно видеть историю в ее естественном плюрализме...или, говоря о периоде после 1948 г., как историю, в которой этот естественный плюрализм был редуцирован, минимизирован либо попросту исключен. Мы должны вернуться к истории словацкой литературы, к конкретному материалу и заниматься им неидеологически” [78. S. 15].

На протяжении последнего десятилетия в периодическом органе Института, журнале “Slovenská literatúra”, публикуются исследовательские статьи по отдельным проблемам литературного процесса после 1945 г., свидетельствующие о подготовке к написанию будущего труда. Но путь этот долог, а потребность в обновленном освещении словацкой литературы второй половины XX в. ощущается все острее, особенно в преподавательской практике. В связи с этим в Институте была составлена трехтомная антология литературных произведений – своего рода выборка из наиболее характерных прозаических, поэтических, драматургических и эссеистско-критических текстов, созданных в 1939–1997 гг. и снабженных современным литературовед-

ческим комментарием. Антология “Читаем словацкую литературу” (т. I, II – 1997, т. III – 1998), предназначенная прежде всего для учителей-словесников, призвана помочь сформировать у широкого круга читателей “новое, неидеологическое представление о словацкой литературе на базе элементарной ориентации в ее подлинных и – соответственно – мнимых ценностях” [79. S. 248]. Целям восполнения и популяризации художественных ценностей современной литературы служит и специальная подготовленная сотрудниками Института серия книг – монографических портретов ведущих писателей, творчество которых не получало ранее достойной интерпретации и оценки. В этой серии уже вышли из печати книги, посвященные творчеству П. Груза, Л. Фелдека, Д. Митаны, Р. Слободы, И. Кадлечика, Д. Душека, объявлены к изданию Д. Татарка, П. Виликовский, Я. Ондруш, Я. Йоганидес и др.

Заметным событием в сфере академического литературоведения Словакии был выход в свет в 1988 г. фундаментальной “Истории словацкой литературы от средневековья по современность”, написанной одним из ведущих сотрудников Института С. Шматлаком. Автору, по общему мнению рецензентов, удалось сделать то, что не удавалось в полной мере осуществить его предшественникам: развенчать комплекс исторической “молодости” словацкой литературы, показать и доказать на основе существующих текстов относительную непрерывность ее существования и развития – в разных языковых обликах – от эпохи старославянской письменности, связанной со святоапостольской миссией Кирилла и Мефодия в Великой Мораве, до начала национального возрождения и первых попыток конституирования словацкого литературного языка в конце XVIII в. Высоко расценивались и разделы, посвященные литературе XIX – начала XX в. На общем фоне яркого развернутого изложения литературной истории (около 500 страниц текста) скупым, формальным привеском выглядели лишь заключительные разделы по межвоенному и социалистическому периодам. И это было тем более удивительно, поскольку Шматлак много и продуктивно работал как раз по литературе XX в.

Десять лет спустя эта “История словацкой литературы” была переиздана в двух томах. И если первый том (1997), посвященный эпохе средневековья, практически не претерпел изменений, то второй том (2001), включивший в себя XIX–XX вв., оказался доведен лишь до 1948 г., причем раздел 1918–1948 гг. был фактически заново – с обновленных методологических позиций – написан автором (вместо 50–200 страниц текста). С. Шматлак назвал своим “прегрешением” перед читателями включение последней главы под названием “Литература в эпоху строительства социализма” в первое издание книги и в постскрипуме ко второму изданию откровенно объяснил свою позицию: “Автор отказывается от амбиций систематического изложения литературного процесса второй половины XX в., и это не самооправдывающая резиньяция, а выражение смиренного осознания собственной историографической некомпетентности по отношению к данному периоду. Автор сам был на протяжении 40 лет более или менее активным участником процесса... и потому не чувствует себя вправе взять на себя роль его объективного историографа” [80. S. 534]. Доскональное изучение и историко-литературная систематизация периода 1940–1980-х годов закономерно ложится на плечи следующих поколений словацких литературоведов.

Наряду с национальноориентированным литературоведением в Словакии успешно развиваются компаративистские исследования. Функцию систематического изучения инационального литературного контекста выполняет Институт мировой литературы Словацкой АН (после расформирования на волне “нормализации” в 1973 г. предшествовавшего Института мировой литературы и языков он был восстановлен в 1991 г.). Широкое международное признание получила в 1990-е годы теория межлитературности, разработанная в Институте коллективом ученых под руководством Д. Дюришина (1929–1997). Шеститомная серия трудов “Особые межлитературные общности”, подготовленная в содружестве с учеными целого ряда стран, ввела в обиход словацкого литературоведения не только малоизвестный богатый материал, но и сумму новых представлений о взаимосвязи между отдельным и всеобщим в мировой литературе. Один из томов серии “Специфика литературных отношений. Проблемы изучения общности славянских литератур” явился плодом сотрудничества между Институтом славяноведения и балканистики РАН и словацким Институтом мировой литературы. В предисловии к этому труду Д. Дюришин с законной гордостью писал: “Мы испытываем чувство удовлетворения от сознания того, что именно в Братиславе зародилась сама идея дефиниции межлитературной общности как определенного исторического и теоретического единства на путях исследовательского восхождения от национальной или иной отдельной литературы к высшему целому – мировой литературе” [81. С. 3].

Поистине огромная работа ведется в Институте (директор Я. Кошка) в области теории и истории переводческого дела в Словакии. Шесть томов постоянной серии “Краткая история художественного перевода в Словакии”, вышедших на протяжении 1994–2002 гг., дают динамичную и во многом неожиданную в своей многослойности картину восприятия русской, румынской, венгерской, хорватской, итальянской литератур в словацкой культуре XIX–XX вв. Как перечисленные, так и многие другие исследования, ведущиеся в Институте, объективно способствуют преодолению реликтов изоляционизма, корректируют характерную для традиционного – национальноориентированного – литературоведения оппозицию национального (особенного) и межлитературного (общего).

Л.Ф. Широкова. Общественно-политические перемены в Словакии рубежа 1980–1990-х годов непосредственно связаны со сферой культуры и науки: с одной стороны, они были во многом подготовлены их внутренними процессами, усилиями их представителей, а с другой – открыли новые возможности и перспективы для реализации творческого потенциала нации, осмысления опыта недавнего прошлого. Свобода от идеологических тисков времен “реального социализма” стала главным позитивным моментом культурного развития Словакии последних лет. Новые явления и тенденции, рожденные этим ощущением расширившегося пространства, проявились не только в художественной литературе, но и в области литературоведения и литературной критики. Примеры тому можно найти, в частности, на страницах трех наиболее представительных, имеющих свою историю и традиции литературных журналов. Это “Slovenské pohľady”, старейший словацкий литературный и литературно-критический журнал, основанный в 1881 г., “Romboid” (издается с 1966 г.), ориентированный на современную поэзию, прозу, эссеистику и теорию лите-

ратуры, и академический литературоведческий журнал “Slovenská literatúra” (издается с 1954 г. Словацкой Академией наук).

В начале 1990-х, в первые годы после “бархатной революции”, одной из самых острых и актуальных тем публикаций стал пересмотр принятой в недавние годы системы ценностей, коррекция угла зрения на определенные явления и фигуры, своего рода восстановление “белых пятен” в литературе. Вместе с тем звучали и предостережения от излишней запальчивости, огульности в переоценках. Так, известный литературовед Ю. Ноге призывал “не заменять одни белые пятна другими, одни сконструированные концепции другими, столь же сконструированными”, поскольку “...литература обладает собственной памятью, не подверженной склерозу, – она-то и помогает связать заново порванные нити” (“Slovenské pohľady”. 1991. № 1). “Связать нити” помогали и журнальные публикации, нередко – блоки статей, посвященные тому или иному писателю, чье имя и творчество ранее по политическим причинам замалчивалось или подвергалось деструктивной критике. Так, появился ряд статей и эссе, целостно освещающих личность и произведения писателя-диссидента Д. Татарки (“Slovenské pohľady”. 1990. № 3; “Slovenská literatúra”. 1993. № 2, 3). К 100-летию со дня рождения Й. Цигера-Гронского, одного из крупнейших писателей, вышли многочисленные исследования (в том числе блок статей в журнале “Slovenske pohľady”. № 2), представившие с разных точек зрения, а следовательно более объективно, эту яркую и сложную фигуру. Можно упомянуть и ряд статей о драматурге-эмигранте Л. Лаголе (“Slovenské pohľady”. 1993. № 3), и серию публицистических “реабилитаций” деятелей литературы-диссидентов, в том числе и Д. Татарки, в журнале “Romboid” (1991. № 5), и др.

Стремление восполнить пустовавшие страницы истории литературы, осмыслить возможности более многоцветной художественной палитры, характерное для литературоведения 1990-х годов, выразилось и в более пристальном внимании к современным западным течениям, которые еще недавно могли быть предметом не столько изучения, сколько критического осуждения. Теперь же, например, проблематике постмодернизма посвящаются как отдельные статьи (Т. Жилка в журнале “Romboid”. 1990, № 11 и др.), так и целый блок из шести аналитических исследований (“Slovenská literatúra”. 1990. № 6). Постмодернизм рассматривается их авторами в историко-литературном аспекте (В. Марчок), с точки зрения его философии и теории (Д. Гайко), жанровых трансформаций (Й. Гвищ), специфики выражения авторской позиции в полифоничности текста (Д. Слободник) и др.

Еще одним важным направлением исследований, появившихся в 1990-е годы, стали попытки осмысления на новых идейных позициях и с учетом расширившейся познавательной базы предшествующего этапа в истории словацкой литературы, а именно – литературы послевоенного периода. Разрабатываемая в Институте словацкой литературы САН проблематика нашла отражение в отдельных публикациях его сотрудников – Р. Билика (“Литературная жизнь в Словакии в 1956–1989 гг.”), Е. Паштековой (“Словацкая проза 1945–1962”), З. Прушковой (“Словацкая проза 1960–1980-х гг.”) в журнале “Slovenska literatura” (1994. № 1–3 и др.). П. Заяц в большой статье “Словацкая послевоенная литература между интеграцией и дезинтеграцией” (“Slovenská literatúra”. 1993. № 4) дает оценку литературного процесса 1945–1989 гг. с точки зрения его противоречий и драматизма, столкновения “естественного плюрализма и ди-

алогичности” литературы межвоенного периода с дезинтеграцией и идеологическим монополизмом эпохи социализма.

Текущий литературный процесс представлен в журнальных публикациях весьма полно и многообразно. Это и рецензии, в том числе и проблемные, рассматривающие то или иное произведение в контексте более общих координат и тенденций. Такой характер носят, например, рецензии Ю. Ноге на книгу Р. Слободы “Рубато” (“Romboid”. 1991. № 5), Ш. Моравчика на книгу П. Виликовского “Неумолимый машинист” (“Slovenské pohľady”. 1996. № 7) и др. Появляются порой и бывшие некогда регулярными обзорные статьи, авторы которых подводят литературные итоги года, например, И. Сулик, Л. Чузы, Б. Бодац “Обзор словацкой прозы 1994 г.” (“Slovenské pohľady”. 1995. № 5). Книги последних лет все чаще становятся объектом не только литературной критики, но и литературоведческих исследований – статьи З. Прушковой “Самоубийство. Повторяемость мотива в творчестве Р. Слободы”, Э. Крчмериовой “Ситуация субъекта в прозе Баллы” и др. в журнале “Slovenská literatúra” (2001. № 1; 2002. № 5).

Р.Ф. Доронина. Несмотря на драматические события 1990-х годов (распад Югославии, чудовищные бомбардировки НАТО мирных городов, с таким мужеством перенесенные народом, трагедия Косова), научная жизнь в Сербии не прервалась. При всех материальных трудностях выходят новые книги, журналы, проводятся научные встречи, в том числе так называемые “Вуковы дни” (дни Вука Караджича) – одно из самых авторитетных международных научных собраний славистов (проходит ежегодно с 1971 г.).

К 1990-м годам сербская литературоведческая наука, в развитии которой заметную роль сыграли современные течения в европейском литературоведении, подошла с рядом существенных трудов, авторами которых стали ведущие ученые. Вот лишь некоторые из них: “История сербской литературы барокко” М. Павича (1970), трехтомная “История сербской литературы. Романтизм” М. Поповича (1968–1972), “Послевоенная сербская литература. 1945–1970” П. Палавестры (1972), наконец, “История сербской литературы” Й. Деретича (1983), двумя годами раньше выпустившего монографию “Сербский роман. 1800–1950”. “История сербской литературы” впервые представила глобальную картину развития сербской литературы начиная с древних времен и средневековья до 70-х годов XX в. Не обойден и фольклор как одна из самых ярких страниц национальной культуры. В книге рассмотрены основные направления и тенденции в литературном процессе, дается жанрово-стилистическая характеристика поэзии и прозы, представлены творческие портреты ведущих писателей, выявлена эстетическая сущность литературных произведений, их поэтика (поэтика – одна из тех областей, которой уделяется все большее внимание исследователями).

Одно из главных направлений современного сербского литературоведения – изучение национальной литературы в ее межнациональных контактах. Сербская литература рассматривается как часть общеевропейского культурного, духовного пространства. “Европейские рамки сербской литературы” – под таким названием вышло пять книг (1994) видного историка и теоретика литературы Д. Живковича. Это многолетний труд ученого, в котором на основании новых фактов внимательно прослеживаются художественные изменения, происходившие в национальной литературе (главным образом XVIII – начало XX в.) в контексте ее взаимодействий с другими литературами. Своего

рода вершиной компаративистских исследований Д. Живковича стала его книга “Лаза Костич – поэт XX века” (1991) о выдающемся сербском романике XIX в., знаменовавшем своим творчеством философско-личностное начало в сербском романтизме, предтече модерна.

Среди многогранных связей сербской литературы с другими литературами русская словесность рассматривается учеными как один из важных факторов в ее развитии на самых разных этапах. Эта проблематика достойно представлена в трудах ученых-русистов, известных своим высоким профессионализмом и преданностью русской теме, – В. Вулетица, М. Стойнич, М. Сибиновича, М. Бабовича, М. Бошков, М. Йовановича, Б. Косановича, С. Пенчича, З. Божовича. Вот некоторые труды, вышедшие в 1990-х годах. Среди последних книг В. Вулетица – “Встречи русских и сербов” (1995). Книга строится на материале 60–80-х годов XIX в. Сложная проблематика в сербо-русских отношениях этого времени рассматривается автором в контексте социально-политической, духовной, идейной жизни российского, сербского и – шире – европейского общества, что является, как отмечают рецензенты, характерной чертой работ В. Вулетица. Особый интерес в книге представляет глава “Восточный вопрос в “Дневнике писателя” Достоевского”, а также “Лаза Костич и Россия”, в которой заново прочитанные факты жизни и творчества сербского поэта освещают роль этой сложной личности в становлении сербской эстетической мысли.

Ряд общих вопросов о современном восприятии идеи славянской взаимности, о путях дальнейшего развития славистики и значимости славистической науки ставит в своих работах М. Сибинович, в частности во вводной части книги “Славянские импульсы в сербской литературе и культуре” (1995). Автор многих работ по русско-сербской проблематике (прежде всего вспоминается его монография “Лермонтов в сербской литературе”, 1971), теории литературы и художественному переводу, сам прекрасный переводчик русской поэзии, М. Сибинович рассматривает перевод как один из самых значительных посредников в обмене литературными ценностями. Переводы русской литературы, отмечает автор, помогали выходу сербской литературы на магистральные пути развития европейской и мировой культуры. Своего рода художественными ориентирами стали для сербских поэтов XX в. произведения Брюсова, Блока, Маяковского, Мандельштама, Пастернака. Нельзя не вспомнить о подвижническом труде сербских переводчиков по изданию русской поэзии XX в., – начиная с антологии “Русская современная поэзия” (1961) и завершая многотомными собраниями сочинений на сербском языке Есенина, Маяковского, Пастернака, Цветаевой. Лучшей переводной книгой в Сербии в 1971 г. был признан сборник стихов Бродского.

Русскому авангарду посвящены две книги, вышедшие в 1995 г. – “Русский авангардный роман” М. Стойнич и “Исследования русского авангарда” Б. Косановича. В монографии Стойнич представлены девять русских писателей, романы которых вошли в классику жанра XX в. – Розанов, Мережковский, Белый, Замятин, Пильняк, Сологуб, Хлебников, Вяч. Иванов, Пастернак. Живо, нетрадиционно написанные портреты писателей органически связаны с философской и эстетической мыслью XX в. Несомненную ценность представляет вводный очерк “Вокруг теории романа”, освещающий основные концепции развития романа в русской науке, – рассматриваются позиции Шкловского, Томашевского, Бахтина, Лотмана, Успенского, Мелетинского. (Напомним,

что с русской литературоведческой наукой сербский читатель смог познакомиться по сборнику “Поэтика русского формализма”, изданному в 1969 г. на сербском языке с предисловием и комментариями А. Петрова, литературоведа и поэта.)

В книге Б. Косановича собраны работы о поэтике ряда литературных групп и школ (Серапионовы братья, имажинисты), о теории комического В.Я. Проппа и о мифопоэтике А.Ф. Лосева, о Шолохове, которым много занимался автор (“Ранний Шолохов и авангард”, “О прозе рано ушедшего из жизни и мало известного прозаика Андрея Николева”).

При всем различии этих двух книг о русском авангарде их объединяет серьезный характер исследований, основанный на глубоких знаниях, богатый материал, современный метод анализа художественного текста.

Наконец, сербские ученые принимают самое деятельное участие в совместном проекте Института славяноведения РАН и Матицы Сербской, посвященном сербско-русским литературным и культурным связям, в рамках которого вышли, начиная с 1975 г., четыре книги и подготовлена к изданию пятая. Работу в совместной редколлегии начинали М. Стойнич, историки литературы и культуры Ж. Милисавац и Ж. Бошков, продолжают М. Сибинович и М. Бошков, специалисты по древней литературе.

Г.Я. Ильина. В 1995 г. в Загребе вышла книга под знаменательным названием – “Преимственность и различия. Прочтение современной хорватской теории”. Ее составители В. Бити, Н. Ивич, Й. Ужаревич ставили перед собой задачу обобщить достижения отечественной науки о литературе, которая, по их мнению, “будучи одним из наиболее значительных сегментов новой хорватской культуры, в то же время оказалась наименее изученной” [82. S. 7]. В своем труде они не только наметили важнейшие проблемы современной литературной теории в Хорватии и ее отношение к европейским и американским течениям в литературоведении (теория интерпретации, интертекстуальности и автореференциальности, институционализация семиотики), но также оценили научный вклад видных хорватских ученых (Р. Катичича, В. Жмегача, М. Солара, Д. Сувина, Г. Пелеша, С. Ласича и др.). Особую ценность этой книге придает тщательно составленная библиография литературно-теоретических работ, опубликованных в хорватских журналах с 1950 по 1993 г. или вышедших отдельными изданиями в 1950–1994 гг. Названная книга привлекает внимание еще и тем, что в ней отразилось одно из главных направлений хорватского литературоведения первого десятилетия после образования Хорватской республики. Это было время смены приоритетов во всех сферах общественной и культурной жизни, время расставания (причем не всегда мирного) с одними национально-культурными мифами и не менее интенсивного созидания новых мифов. Этот процесс, начавшись после смерти Тито (1980), и активизировавшись в 1980-е годы, в 1990-е достигает критической массы и подобно лавине обрушивается на общественное сознание. В такой ситуации проблема отношения к наследию и в художественной литературе, и в науке о литературе приобретает особое звучание. Правда, слом устоявшихся критериев заметнее сказывался в сфере идеологии, чем эстетики (здесь присутствовала большая терпимость). Свидетельством тому было активное сотрудничество разных поколений ученых, представлявших разные методологические школы.

Связующим звеном в 1990-е годы, как и в прежние десятилетия, была деятельность основоположников (И. Франгеш, А. Флакер) и продолжателей

(В. Жмегач, М. Солар) известной Загребской стилистической школы³. Эти ученые – метры хорватского литературоведения и учителя (в буквальном смысле этого слова) почти всех современных специалистов – продолжают работать в начатых ими направлениях. И. Франгеш выпускает первую и последнюю в социалистической Югославии “Историю хорватской литературы” [83], систематизирующую все ее многовековое существование. В ней он как бы подводит итог развития послевоенного академического хорватского литературоведения социалистического периода, отразив то время и его идеологические и научные установки. Одновременно она стала своеобразным мостом в следующий этап в истории своей страны и ее культуры. А. Флакер, уделяя много сил типологическому изучению русской и хорватской литературы и их связям (см. [84]), совместно с Д. Угрешич подготовил несколько новых томов фундаментального труда “Понятийный аппарат русского авангарда” (первый том вышел в 1984 г.). Монографией “Литература и философия истории” В. Жмегач продолжает исследование в области исторической поэтики романа и общественного назначения искусства [86]. А М. Солар не оставляет изучение теории прозы, взаимоотношения романа и мифа, идеологии литературы – мифологии, “легкой и трудной” литературы (см. [87]).

Последующие поколения историков и теоретиков литературы включились в критическое рассмотрение вопросов методологии, терминологии, восприятия европейских эстетических концепций и их ассимиляции на национальной почве, типологии жанров и направлений. Назовем лишь некоторые из их работ: Г. Слабинац “Соблазнение иронией”, В. Бити “Современная теория повествования”, “Вовлечение непроизносимого. Литература. История. Теория”; Д. Ораич-Толич “Теория цитатности”; Ц. Миланя “Родимые пятна постмодернизма”, “Хорватский роман 1945–1990. Очерк возможной типологии хорватской романной практики”; К. Немец “Пути традиции” [88].

Вновь внимание ученых привлекает история модернистских и авангардистских течений и их развитие на отечественной почве. Импрессионизму, экспрессионизму, футуризму, а также их продолжателю-сопернику – постмодернизму посвящаются не только статьи, но и серьезные монографии (см. [89]).

Но, безусловно, на протяжении всего последнего десятилетия XX в. наибольший общественный резонанс вызывали статьи и книги, посвященные реабилитации творчества писателей, подвергавшихся репрессиям, лишавшихся на многие годы права публиковаться (Л. Маракевич, В. Ремета), эмигрировавших после Второй мировой войны и потому исключенных из истории родной литературы (В. Вид, А. Бонифачич, В. Николич). Пересматривается отношение не только к произведениям идеолога усташского движения, талантливого писателя М. Будака (1889–1945) – хотя споры о его политической роли в 1941–1945 гг. и художественной ценности его произведений продолжают, – но извлекается из небытия литературная продукция А. Павелича, в частности его роман “Прекрасная блондинка” (1935), романтизирующий террористическую борьбу как самопожертвование во имя хорватства

³ Загребская стилистическая школа сложилась в середине 1950-х годов как реакция на вульгарно-социологический марксизм в литературоведении. В центр своих исследований ее последователи ставили интерпретацию произведений на основе стиля автора, направления или отдельных эпох. Традиции этой школы, в той или иной мере, в сочетании с другими методами сохраняются до сих пор.

(правда, Б. Донат в статье “Миф вышибается мифом” использует его для типологического анализа идеологического романа). Переоценке подвергаются и целые периоды истории хорватской литературы, например время НГХ (Независимое государство Хорватия, 1941–1945) в “Истории хорватской литературы” (1997) Д. Елчича. Причем, восстанавливая в правах ранее запрещенных в социалистической Югославии писателей, официально действовавших в профашистском государстве, автор не менее рьяно низвергает литературу антифашистского сопротивления, ранее занимавшую непропорционально большое место в истории литературы данного периода. Конечно, это не было случайностью или прихотью литературоведа. Утверждение независимой государственности было связано в Хорватии с активизацией национального самосознания, усиленного военной обстановкой первой половины 1990-х годов⁴, способствующей возрождению и националистических мифов. А это, в свою очередь, вело к переоценке трудов и таких общепризнанных литературных мэтров, как, например, И. Андрич и М. Крлежа.

Оценки личности и творчества этих классиков сербской и хорватской литературы были знаковыми на протяжении всей их жизни, они остались таковыми и после их смерти. В отношении к И. Андричу – боснийцу по месту жительства и тематике большинства произведений, католика по вероисповеданию, писателя, чей литературный путь начался в Хорватии, но в основном пришелся на Сербию – ведется яростный спор о его литературной принадлежности между тремя национальными литературами – хорватской, боснийской и сербской. Зигзаги в переосмыслении значения личности и творчества М. Крлежи вызываются другими причинами, очень напоминающими изменения в отношении к М. Горькому в нашей стране. Став символом революционной литературы 1920–1930-х годов, Крлежа олицетворял образ откровенно тенденциозного писателя социалистической ориентации, но при этом не признающего над собой и искусством никакого давления, кроме внутреннего диктатора художника. Эта позиция в межвоенные годы привела его к конфликту с представителями социальной литературы и поддерживавшим их руководством КПЮ. После Второй мировой войны при личном содействии Тито Крлежа был превращен в культовую фигуру, не подлежащую никакой критике. Ситуация резко изменилась после смерти Тито (1980) и Крлежи (1981). На протяжении 1980-х годов оценки общественной деятельности, публицистики и художественного творчества писателя подчас менялись на прямо противоположные даже у тех критиков и литературоведов, которые еще недавно писали о нем в официально хвалебном или, в лучшем случае, нейтрально академическом тоне. Подчас они становились откровенно цинично несправедливыми. Достаточно назвать книги хорватского критика И. Мандича “С богом, дорогой Крлежа!” [90] и сербского писателя Б. Чосича “Доктор Крлежа. Роман воспитания” [91]. Правда, и тогда появлялись работы, противостоящие нигилистическому отношению к творчеству писателя и призывавшие к объективному его рассмотрению. В 1990-е годы начали появляться исследования, в которых присутствует очевидное стремление разобраться в столь характерной и за-

⁴ 1991–1992 гг. – война за независимость с Югославской народной армией, названная в Хорватии Отечественной войной; 1992–1995 гг. – участие в боснийском конфликте; 1995 г. – “наведение конституционного порядка” на территории самопровозглашенной Республики Сербская Крайна, в результате чего она прекратила свое существование.

частую трагической судьбе левой интеллигенции XX в., принявшей социалистические идеи, встретившей их победу в своей стране и воочию столкнувшейся с их реализацией. В 1993 г. к столетию со дня рождения писателя выходит первый том “Крлежианы”, к этому же году завершается публикация шеститомного труда С. Ласича “Крлежеведение или история критической мысли о Мирославе Крлеже” [92]. В своем выводе С. Ласич был прав: осыпанный орденами, удостоенный личной дружбой с Вождем Крлежа не был счастлив и оставался очень одиноким. Всегда свойственное ему трагическое восприятие жизни, в последний период его жизни усилилось еще больше.

Хотелось бы обратить внимание еще на два направления в хорватском литературоведении. Продолжается серьезная работа по подготовке и изданию энциклопедий. К ним относится “Лексикон хорватской литературы” [93], восполнивший пробел в хорватской энциклопедической традиции – до сих пор не было энциклопедии национальной литературы. Кроме статей о видных хорватских писателях, направлениях и жанрах, “Лексикон” включает обзор ста важнейших хорватских литературных журналов, избранную библиографию о хорватской литературе, современных (1990-х годов) изданиях произведений хорватских писателей и годы их жизни.

Приятно отметить, что свои позиции сохраняет хорватская русистика. Выходят монография Й. Ужаревича о поэзии О. Мандельштама и Б. Пастернака [94], сборник В. Бити “Бахтин и другие” (1992), коллективная работа “Симультизм”, построенная на анализе произведений русского авангарда и постмодернизма (Белый, Булгаков, Пастернак, Замятин, Ерофеев, Нарбикова, Соколов) [95]. Чрезвычайно полезна проделанная И. Лукшич и Й. Ужаревичем работа по обобщению публикаций переводов русской литературы и статей, заметок и рецензий о литературе нашей страны, помещенных в хорватской литературной периодике с 1945 по 1977 гг. Ими же был издан двуязычный сборник “Хорватия / Россия” [96].

Т.И. Чепелевская. В своем сообщении хотелось бы уделить внимание новой литературе о творчестве крупнейшего словенского писателя И. Цанкара, а также проекту, осуществленному литературно-художественным журналом “Sodobnost”, который выразился в серии статей М. Хладника по истории словенской прозы XIX – первой половины XX в.

В 2001 г. вышли две работы о Цанкаре: большая статья М. Коса “Цанкар и Ницше” в журнале “Primerjalna knjževnost” и книга словенского психиатра М. Кошичека “Женщины и любовь в глазах И. Цанкара” [97]. Первая посвящена исследованию философских взглядов словенского писателя и влиянию на него и других представителей словенской современной философии ницшеанства. Книга М. Кошичека, вызвавшая большой читательский интерес в Словении, заставляет по-новому взглянуть не только на личность самого Цанкара, но и на все его творчество.

Во вступлении к книге автор отмечает, что практически все произведения Цанкара можно рассматривать как развернутую автобиографию, где “мы обнаружим более точный портрет этого человека”, поскольку “в художественном произведении он вольно или невольно поведает о себе многое из того, о чем умолчит в жизнеописании” [97. С. 8]. Из этой многоплановой художественной автобиографии автор книги выбирает для анализа проблематику, близкую своим профессиональным интересам. Среди вопросов, волнующих Кошичека: отношение писателя к матери, к любви и к женщине, проблема

взаимоотношения полов. Будучи хорошо знакомым с текстами произведений Цанкара, он свободно цитирует как художественные тексты, так и письма, написанные в разное время разным адресатам, чтобы убедить читателя в своих умозаключениях. А они выражают достаточно нетрадиционный взгляд Кошичека и на самого писателя, и на его героев, многие из которых рассматриваются в книге как своеобразные художественные двойники Цанкара. Опираясь на известные факты биографии словенского писателя, автор книги пытается раскрыть перед читателем явные признаки его слабой коммуникативности (социобильности), эротофобии, психосексуальной диссоциации, гамофобии и других видов фобий, а подтверждения этому выявляет в характерах его художественных героев-двойников. Подводя итоги этого необычного для цанкароведения исследования, Кошичек отмечает, что “причину неспособности писателя к истинной половой любви необходимо искать в его личностных качествах. В своих произведениях он часто описывал свою слабую коммуникативность, неспособность приспособляться к людям, порой даже нетерпимость по отношению к ним, чувство отчужденности” [97. S. 265]. Вот почему трагедия жизни Цанкара, по мысли автора, заключалась во внутреннем противоречии между огромной устремленностью к любви и невозможностью ее удовлетворить [97. S. 266].

Книга М. Кошичека действительно заставляет по-иному взглянуть на многие проблемы, связанные с творчеством известного писателя. Однако думается, что намеренное утрирование идеи о полной идентичности художественных героев и самого художника ослабляет некоторые из его выводов.

Интересным, на наш взгляд, явилась и серия статей д-ра М. Хладника в журнале “Sodobnost” за 2002 г. Автор, профессор Люблянского университета, представил (в достаточно популярном изложении) историю словенской прозы XIX – первой половины XX в. в широком историко-культурном контексте, выделяя при этом важнейшие общественные и политические доминанты, во многом определявшие и направлявшие жизнь словенского общества того времени. Первая (“Sodobnost”. № 2) посвящена одному из центральных героев словенской литературы XIX в. – Мартину Крпану, герою повести Ф. Левстика “Мартин Крпан с Врха”. Этому известному каждому словенцу герою он ставит в ряд главных мифологических и фольклорных персонажей, уже давно снискавших себе заслуженную славу.

По мнению исследователя, это произведение являлось не только типичным примером реалистической литературы своего времени, стремящейся быть зеркалом времени и общественных условий, но одновременно и своеобразной моделью, рецептом поведения формирующейся нации, была метафорой, аллегорией и символом национальных чаяний и возможностей. И в этом качестве – произведения, которое “метафорически артикулирует и направляет национальную судьбу”, оно рассматривается ученым как одно из базовых текстов национальной литературы.

Вместе с тем, для автора статьи появление произведения Ф. Левстика именно в это время – своеобразный ответ на проявляющиеся литературные тенденции: устремления некоторых авторов направить словенскую прозу по пути удовлетворения вкусов лишь образованной читательской публики. Верный своей литературной программе, глава движения младословенцев Ф. Левстик дает образец литературы иного типа – для народа и о народе.

Во второй статье (“Sodobnost”. № 3) цикла Хладник обращается к текстам того же периода – середины XIX в. и анализирует весьма популярную, но практически забытую историческую повесть Ф. Кочевара “Млинарьев Янез”.

Он напоминает современному читателю содержание повести, ее актуальность для своего времени, анализирует язык произведения, который отражал убежденность автора в необходимости сближения словенского языка с сербскохорватским (Кочевар отвергал крайний радикализм общеславянской идеи о едином славянском языке, но в то же время, вслед за С. Вразом, выступал за идею двойного литературного языка – для народа и для интеллигенции).

Хладник рассматривает проблему своеобразного соревнования двух весьма популярных в свое время произведений: “Мартина Крпана” и “Млинарьева Янеза”, в результате которого победило первое: и как отражающее общесловенскую историю, и как выдвигающее героя, родом из центральной словенской провинции – Крайны, а не Штирии.

Наряду с этой проблемой, важной для любого исследователя, – как историка литературы, так и культуролога – Хладник достаточно внимания посвящает и другим текстам этого и более поздних периодов – историческим, авантюрным, сатирическим, юмористическим произведениям, которые рассматриваются им как важные источники будущих крупных произведений, вошедших в разряд классических. Иными словами, он обращается к истории литературы второго плана.

Дань гендерной проблеме словенский ученый отдает в следующей статье цикла (“Sodobnost”. № 4), посвящая ее полностью писательницам и героиням крестьянской словенской прозы XIX в. В центре внимания – творчество первых авторов женских романов на словенском языке – Л. Песьяковой (1828–1887), автора известного в свое время романа “Дневник Беаты”, и П. Пайковой (1854–1901), автора шести романов, а также новелл и повестей. Признавая зависимость прозы этого направления от немецких образцов, в первую очередь романов Е. Марлитт (1825–1887), Хладник в то же время выделяет некоторые национальные особенности жанра: намеренную морализацию и необычное разрешение любовного треугольника. Наряду с традиционно центральным типом женской прозы – образом матери-мученицы, хранительницы семьи и рода автор выделяет достаточно широко представленный (правда, во второстепенных текстах эпохи, в основном в исторических текстах) тип девушки (женщины)-воительницы. Выступая часто рядом с мужчиной, а иногда и вместо него, такие героини, по мысли ученого, становились носительницами еще не исполненных, но уже сформировавшихся национальных политических амбиций (ср. образ девицы-воина Марьетицы в повести “Млинарьев Янез” Ф. Кочевара).

В следующей статье Хладник переходит к раскрытию оппозиции свой / чужой (“Sodobnost”. № 5). И здесь размышления автора о способности и желании словенского общества через литературу знакомиться и познавать иноязычное и инородное дает прекрасный материал для развития темы о культурном типе общества, связанного с открытостью или его замкнутостью в себе. По мнению Хладника, огромный читательский успех первой словенской повести Я. Циглера “Счастье в несчастье”, действие которой происходит в большей степени за пределами словенских земель, уже стал показателем важной тенденции. “Развивающееся словенское общество, – отмечает ученый, – выдвигало два требования: необходимость подтверждения собственной иден-

тичности, утверждения собственной узнаваемости и одновременно, вместе с осознанием, что замкнутость в себе грозит опасностью изоляции, требование открытости, восприимчивости к чужим влияниям и побуждениям". Эта мысль, высказанная в работе и подтвержденная рядом примеров, нам представляется весьма значимой, поскольку словенская литература, особенно XIX в., чаще демонстрировала закрытую модель общества. Лишь в произведениях И. Цанкара и О. Жупанчича впервые (после Ф. Прешерна) идея устремленности вовне, необходимости прорыва в общеевропейское культурное пространство обрела программный характер. В этой статье Хладник выстраивает целый ряд произведений XIX – первой половины XX в., в которых в центре внимания оказывается именно тема познания своего через чужое. В этот ряд попадают как хорошо известные тексты ("Крещение у Савицы" Ф. Прешерна), так и малоизвестные произведения (повесть в стихах "Семь сыновей" Й. Жемле, роман А. Кодера "Марьетица", роман В. Бартола "Аламут" и др.)

Одну из частей своего литературного проекта Хладник полностью посвящает словенскому писателю М. Маловрху (1861–1922), автору более 20 повестей и романов, появившихся в начале XX в., некоторые из которых в свое время имели большой успех.

Последняя из статей цикла, но уверена, что не последняя по замыслу, ("Sodobnost". № 7/8) посвящена повести "Высочки" (1893) Я. Керсника, одного из крупнейших словенских прозаиков. Этому произведению уделяли большое внимание словенские историки литературы, но Хладник буквально на глазах переворачивает представление о хорошо знакомом тексте. Он вводит его в культурный контекст эпохи, вскрывает малоизвестные страницы биографии писателя (роман в письмах между Я. Керсником и молодой писательницей из Триеста Марицей Надлишек), которые, по его убеждению, находят отражение в сюжете и расстановке главных героев и персонажей повести.

Н.Н. Старикова. В 2001 г. в Госиздате Словении вышла в свет третья книга "Словенской литературы", завершающая проект исследования национального литературного процесса в XX в. Это коллективный труд, в работе над которым приняли участие представители академической (СНИ) и университетской (Любляна, Марибор) литературоведческой науки. В нем впервые после двухтомной "Словенская литература 1945–1965" (1967) сделана попытка комплексно проанализировать развитие национальной словесности с 1945 по 2000 г. включительно. Книга состоит из введения, четырех глав, посвященных конкретным литературным "отраслям": "Лирика", "Проза", "Драматургия", "Литература для детей и юношества", специальной главы "Литература эмиграции и зарубежья" и трех вспомогательных разделов о периодике, литературной теории и критике, переводной литературе, а также включает именную указатель. Во введении академик Ф. Задравец, один из соавторов упомянутого двухтомника конца 1960-х годов, как бы передавая эстафету новому поколению исследователей, дает краткий обзор исторического и политического контекста периода, подчеркивая ведущую роль национальной литературы в обретении в 1991 г. словенцами независимости.

Первая глава "Лирика", рассматривающая основные тенденции развития поэзии, написана двумя авторами. Ее первая часть стала последним аналитическим исследованием крупнейшего словенского литературоведа, академика Й. Погачника (1933–2002). Наряду с размышлениями о путях развития лирической поэзии в целом и национальной поэтике и семантике в частности она

содержит краткий анализ творчества двадцати пяти поэтов от О. Жупанчича до М. Крамбергера, поэзия которых, на взгляд автора, “наиболее точно уловила образ современности” (С. 39). Автор второго раздела главы профессор Академии театра, радио и кино, литературовед и театральный критик Д. Пониж придерживается хронологического принципа, группируя материал по десятилетиям и делая акцент как на важнейших направлениях, так и на персоналиях: 1960-е годы – модернисты (Т. Шаламун, Н. Графенауэр, Э. Фритц), визуалисты (И. Гайстер-Пламен), “лингвисты” (А. Брвар, М. Деклева, М. Есих); 1970-е – первые постмодернисты (И. Осойник, И. Загоричник), новые формалисты (Борис А. Новак, М. Клеч); 1980-е – молодая поэзия (А. Ихан, А. Дебеляк); 1990-е – новые постмодернисты (У. Зупан, А. Штегер). В заключительном резюме Пониж, подчеркивая разнообразие творческих манер поэтов и высокий уровень национальной поэзии в целом, говорит о нецелесообразности схематичного подхода к типологии современной национальной поэзии.

Вторая глава “Проза” принадлежит перу профессора Мариборского университета С. Боровник и содержит конспективный обзор творчества 41 прозаика, начиная с Э. Коцбека (1904–1981) и заканчивая Ф. Лаиншчеком (р. 1959). Информация о писателях носит скорее справочный, нежели научно-исследовательский характер, в прозе каждого автор выделяет ключевые произведения, делая акцент на романах, называет основные тенденции творческой эволюции и иногда особенности художественного метода.

Глава “Драматургия” Д. Понижа представляет подробнейший (по пятилетиям: 1945–1950, 1950–1955; 1955–1960 и т.д.) анализ основных художественных направлений сценического искусства и типов пьес рассматриваемого периода. Сорок семь драматургов представлены не по персональному, а по типологическому принципу, поэтому к творчеству одного и того же автора, но в разные периоды исследователь зачастую обращается несколько раз в разных подразделах (М. Бор, Т. Партлич, Д. Смоле). В то же время это самое подробное за последние десять лет исследование словенской драматургии, включающее произведения конца 1990-х годов.

Раздел, посвященный литературе для детей и юношества, написан доцентом Люблянского университета И. Саксидой и содержит жанрово-типологический анализ всей послевоенной литературной продукции для детей, включая пьесы для кукольного театра, радио- и телефильмы. При этом многие из уже названных в других главах “взрослых” прозаиков, поэтов и драматургов вновь оказываются объектом исследования (В. Зупан, К. Кович, Д. Зайц и др.).

В главе “Литература зарубежья и эмиграции” Й. Погачник рассматривает два основных потока художественных текстов, существующих за пределами современной Словении, но являющихся неотъемлемой частью литературного процесса: эмиграционный и так называемый зарубежный. Две исторически сложившиеся диаспоры словенцев – в австрийской Каринтии и итальянском Триесте благодаря благоприятной историко-культурной ситуации последних лет дали новые имена. Критик анализирует специфику творчества крупнейших прозаиков и поэтов, живущих на исконно словенских территориях, оказавшихся под юрисдикцией других государств. К крупнейшим “каринтийским” авторам он относит А. Кокота и Ц. Липуша, к “триестским” – Б. Пахора, А. Ребулу, М. Кравоса и М. Кошуту. Связанная с политической эмиграцией 1945 г. аргентинская “ветвь” национальной культуры с центром в Буэнос-Айресе стала, по его мнению, питательной средой для возникнове-

ния литературы словенских переселенцев. В настоящее время в Словении известны имена прозаика З. Симчича, драматурга Ф. Папежа, поэта Т. Дебеляка, их произведения выходят в свет большими тиражами, т.е. литература эмиграции вернулась на родину.

Роль литературных журналов, как центральных, так и региональных, и их издательской политики отражена в разделе “Литературные журналы и программы”, написанном профессором Мариборского университета М. Штухцем. Литературоведение и критика исследованы Д. Долинаром, директором Института словенской литературы и литературоведческих наук НИЦ САНИ. В своем обзоре он, касаясь работ практически всех поколений словенских литературоведов и критиков второй половины XX в., представляет краткую историю университетского и академического литературоведения и важнейших теоретико-методологических направлений и школ Словении. Особо отмечены зарубежные центры литературоведческой словенистики, в том числе и в России.

Научный сотрудник Института словенской литературы и литературоведческих наук НИЦ САНИ М. Становник в небольшой главе “Переводная литература” дает общее представление о приоритетных направлениях переводческой деятельности в Словении, о наиболее востребованных мировых авторах и о лучших словенских переводчиках. Среди ведущих современных переводчиков русской поэзии и прозы названы соответственно Т. Павчек (переводы Маяковского, Блока, Есенина, Ахматовой, Пастернака, Цветаевой, Заболоцкого) и Я. Модер (Достоевский, Пастернак).

Нет нужды говорить о том, что осмысление полувекового пути литературы, устремленного в современность, всегда сопряжено с трудностями и при этом всегда актуально, поэтому книга представляет интерес как для специалистов – филологов-славистов, культурологов, историков литературы, так и для более широкого круга читателей. Работа словенских ученых привлекает энциклопедичностью, широтой охвата генерационного среза авторов, подчеркнутым, хотя зачастую и субъективным, демократизмом отбора, интересом к текущим процессам. Пониманию национальной литературной ситуации, созданию ее целостной картины способствует и предложенный обзор институтов, “обслуживающих” художественное слово, – литературной теории, критики и периодики. Вместе с тем досадно, что авторскому коллективу не удалось выработать общую концепцию и критерии подхода, сохранить жанровое единообразие – отсюда досадные диспропорции в подаче материала (например, глава о прозе по объему в три раза меньше главы о драматургии), многочисленные повторы, эклектичность композиции, затрудняющая восприятие.

Ю.А. Созина. В 1997 г. вышла книга “Словенский роман XX века” Ф. Здравеца, автора целого ряда монографий, среди которых: “Ирония Цанкара” (1991), “Словенская экспрессионистская литература” (1993), “Поэт Алойз Градник” (1999), “Словенская литература II” (1999), и др. Здравец анализирует 62 романа, вышедшие в свет с 1902 по 1995 г. В книгу вошли и уже ранее публиковавшиеся статьи, она разделена на восемь частей, содержание которых автор определяет следующим образом: классический роман до Второй мировой войны, поколенческий роман, роман со “странным” героем, в том числе и автобиографическим, роман на тему оккупации и народно-освободительной борьбы, роман об изгнании и национальном расколе, роман о духовности, морали и социальных вопросах, любовный роман и роман-

встреча с чужой (азиатской или американской) культурой и цивилизацией. Такое деление носит условный характер. Тем не менее попытка исследователя классифицировать типы словенского романа в целом можно считать удачной, хотя есть и некоторые вопросы, например: что является основным критерием классического романа до начала Второй мировой войны. И еще несколько заметок на полях: параллели, взаимосвязи, динамика развития того или иного явления в словенском романе в отдельных разделах даны не всегда явно, в большинстве случаев перед нами разрозненные картины. Думается, что вводная статья и заключение с подведением итогов только бы украсили глубокий по содержанию, основательный труд Задравеца. В 2002 г. вышло продолжение “Словенского романа XX века” – “Вторая аналитическая часть и несколько обобщений”.

Тот факт, что современная проза многогранна и разнообразна, видимо, повлиял на желание или, скорее, нежелание многих словенских исследователей давать свою классификацию, периодизацию или любую иную систематизацию современной литературы. Хотя следует заметить, что ранее такие попытки предпринимались и были весьма успешными. В 1994 г. М. Юван в журнале “Jezik in slovstvo” опубликовал статью “Из 80-х в 90-е годы: словенская литература, постмодернизм, посткоммунизм и национальное государство”, где отразил свое представление об основных направлениях в новейшей словенской литературе и выделил их главные черты. В книге “Отечественный Парнас в кавычках: пародия и словенская литература” (1997) ученый рассматривает пародию в ключе интертекстуальности, ее роль, закономерности развития в национальной культуре и исследует, каким образом пародия из периферии перешла в основной корпус произведений современной литературы.

В 2000 г. появились книги В. Матайц “Освещения” и М. Коса “Критики и рефлексии”, являющиеся фактически сборниками отдельных, ничем не связанных друг с другом “презентаций” произведений современных писателей, данных в хронологической последовательности. В них нет единого композиционного стержня. Статьи небольшие (3–5 страниц), их авторы лишь представляют романы, бегло “освещая” их, хотя многие мысли самобытны и интересны.

Монография Т. Вирка “Страх перед наивностью” (2000) посвящена развитию постмодернизма, в частности, и на словенской почве. В ней исследователь дает свою обобщающую схему процесса приживания и преломления поэтики постмодернизма в произведениях словенских писателей.

Разработке и внедрению новой методологии в современную отечественную науку (в том числе в исследование словенского романа) посвящена книга М. Штухеца “Нарратология: между теорией и практикой” (2000). Для ученого важно, как именно культурные, политические, исторические, моральные, национальные и другие “микроситуации” влияют на вполне конкретную ситуацию, воплощенную в литературном произведении. В этом ему помогает нарратология. Половина глав книги носит общетеоретический характер. В них раскрывается история вопроса, объясняются категория повествователя, типы повествования, фокализации и т.д., оригинально развивается и дополняется категория нарративной системы А.Ж. Греймаса и М. Баля. В других главах на конкретном словенском материале доказывается целесообразность нарратологического подхода к литературе. Автор привлекает и авторов современных

романов – П. Зидара (две главы о нем частично повторяют, а частично предлагают новые решения вопросов, поставленных в монографии Штухеца о поэтике романов Зидара, 1996), К. Ковича, П. Божича и Ф. Лаиншчека.

Нельзя пройти мимо книги Х. Глушич “Словенская проза во второй половине XX в.” [98]. Автор, смело предлагавшая в работах 1970–1980-х годов свою типологию новейших явлений в словенском романе, констатирует расцвет словенской прозы, открытые возможности для всех жанров, стилей, тем и идей и делает такой вывод: “Поэтому исключительно тяжело переходить от чтения к классификации явлений, к периодизации, к оценке ... мастерства писателей” [98. S. 11]. В этой книге, как замечает Глушич, представлен лишь один из возможных подходов к изучению современной словенской прозы. Исследовательница принципиально не отделяет произведения словенского зарубежья и эмиграции от национального литературного процесса. Она придерживается хронологического принципа представления материала. Отдельные главы посвящены наследию конкретных писателей (Прежихова Воранца, Ц. Космача, Э. Коцбека, В. Зупана, А. Хинга и др.). В пределах одной творческой биографии автор показывает развитие разных идей и стилей, прослеживает процесс становления личности художника, его кратковременные или постоянные симпатии к какому-либо методу или жанру. Предваряет монографию, пусть и небольшая – всего семь страниц, обзорная статья, где названы важнейшие течения и направления послевоенной словенской прозы, перечислены их основные авторы, что повышает ценность монографии в целом. В книге представлены 32 персоналии. Писатели выбраны не без влияния личных симпатий автора. Глушич не останавливается на тех авторах, чьи произведения, вероятно, кажутся ей сейчас либо неактуальными, устаревшими, поскольку они отвечают идеологическим реалиям своего времени, либо являются подчеркнуто не традиционными, шокирующими, выходящими в известной степени за рамки привычной морали. Последняя книга Глушич, как и ее биографический справочник “Сто словенских прозаиков” (1996), является чрезвычайно полезной и в научном, и в информативном плане, поскольку в ней собран богатый фактический материал.

В заключение следует отметить такие общие для словенских монографий о современном отечественном романе черты, как мозаичность, отсутствие концепции, прикладной характер исследований. Все это роднит литературоведческие книги со справочниками и словарями высочайшего уровня, где авторам и их произведениям посвящены отдельные статьи, сведения о них даны в хронологической последовательности. И надо отметить, что такого рода книги нужны специалистам-литературоведам и читателям. Возможно, данная тенденция, а именно отказ от систематизации и упорядочивания современной словенской прозы, стремление сохранить в неприкосновенности ее неиерархизированную разноликость, – своего рода проявление постмодернизма в литературоведении. А может быть, дело в том, что анализируется в основном новый, не отстоявшийся в литературоведческом сознании материал. Однако нам известно, что сейчас существуют в стадии разработки труды, в которых словенские литературоведы стремятся обобщить разноплановые новейшие достижения словенского романа и предложить свою картину его развития и, возможно, его классификацию. Видимо, должно пройти время, чтобы исследователи могли отстраниться от актуальной действительности, в которой живут, вырваться из нее и оценить на расстоянии.

Н.Н. Пономарева. Некоторые существенные процессы в болгарской литературе после слома партийно-государственной системы в стране в конце 1980-х годов во многом напоминают ситуацию, сложившуюся в первое послевоенное десятилетие. Тогда болгарская литературная (в основном партийная) критика рьяно взялась за отказ от так называемого буржуазного наследия – символизма, экспрессионизма и другой литературы, не отвечавшей новым художественным и идеологическим требованиям, в том числе и методу социалистического реализма, который стремительно завоевывал позиции. Теперь же “с парохода современности” стали сбрасываться произведения с антифашистской тематикой и такие, в которых хоть как-то просматривались социалистические идеи. Более того, под видом “нового прочтения” некоторые критики (в основном молодые) отрицали художественные достижения всей литературы, начиная со второй половины 40-х годов XX в.

Такое беззастенчивое “оплевывание” болгарского литературного достояния встретило решительный отпор в обществе. Видный болгарский литературовед Т. Жечев в своем популярном и авторитетном журнале “Летопис” назвал эту позорную акцию преступной и новой конъюнктурщиной.

Правда, яростный поначалу напор радикалов (как в свое время и догматиков от социалистического реализма) постепенно терял силу. И поистине, невозможно было зачеркнуть, выкинуть из литературы творчество таких известных и признанных не только в Болгарии писателей, как Э. Багряна, В. Петров, П. Вежинов, Э. Станев, Й. Радичков, С. Стратиев и многих других, которые, кстати, и к социалистическому реализму имели весьма косвенное отношение или же не имели его вовсе. Проблема утратила остроту, но не исчезла совсем. И до сих пор ее отголоски дают о себе знать.

На современную (после 1989 г.) ситуацию в болгарской критике и литературоведении безусловно оказал отрицательное воздействие тот факт, что старшее, наиболее опытное поколение авторов (Т. Жечев, К. Куюмджиев, З. Петров, Б. Ничев и др.) ушло из жизни, не успев сказать свое слово в новой общественно-культурной обстановке в стране, повлиять на формирование новой волны критиков и литературоведов. Молодое поколение, в большинстве все же отказавшееся от своих экстремистских жестов первых лет, теперь во многом сосредоточило внимание на постмодернистской литературе. Однако очевидно, что постмодернизм в Болгарии не получил достаточно весомого влияния, не приобрел популярности у читателей и большого признания в широких литературных кругах. Искусственное приобщение к нему творчества таких писателей, как Й. Радичков, С. Стратиев, С. Игов не встречает понимания. Более того, все чаще высказываются мнения о его художественной исчерпанности на болгарской почве.

Неблагополучие в болгарской критике в большой мере обусловлено затяжным кризисом в художественной литературе данного периода, которая после значительных качественных достижений 1960–1980-х годов все еще не может адаптироваться к новой общественно-политической и культурной ситуации в стране. Это заметно в новых произведениях даже таких видных прозаиков, как И. Петров или Й. Радичков. В то же время книжный рынок заполняют книги, где авторы делают акцент исключительно на теневых сторонах болгарской действительности (коррупция, преступность, проституция и пр.), причем в подчеркнута натуралистической и концентрированной форме (романы Х. Калчева, А. Томова). Кстати, такого рода произведения,

часто по сути скандальные, у многих читателей пользуются неизменным успехом. Поэзия оказалась более жизнеспособной в неустоявшемся постсоциалистическом мире.

И все же, несмотря на очевидные неудачи в болгарской литературе в целом, в сегодняшней критике можно назвать ряд ярких и интересных авторов, которые, используя современные западные методологии, опираясь на российское литературоведение (Бахтин, Лотман, Мелетинский и др.) и в то же время учитывая национальный опыт и болгарскую литературную специфику, предлагают свои оригинальные подходы и решения.

С. Беляева (1943–1993), серьезный литературовед и тонкий критик, рано ушла из жизни, но успела оставить заметный след в национальной науке о литературе. Ей принадлежит ряд исследований, посвященных современной (после 1944 г.) болгарской литературе, а также теоретических работ в области анализа художественных средств и форм в мировой литературе второй половины XX в. (мифотворчество, пространство и время, формы художественной конфликтности и пр.). Последний ее большой труд – “Время, литература, человек. Наблюдения о современной болгарской прозе” (1986) – останется в болгарском литературоведении как образец объективного глубокого и нестандартного анализа на высоком уровне современных научных и художественных идей. Результаты этого анализа отразились и в исключительно ценном сегодня коллективном труде болгарских литературоведов – “Словаре новой болгарской литературы. 1878–1992” (1994). С. Беляева была в нем членом редколлегии и автором многих статей.

Составителям при подборе имен в словаре были равно чужды как пренебрежение, которое проявлялось в недавнем прошлом по отношению к некоторым авторам, так и антинаучная конъюнктурность. По-новому в “Словаре” освещается творчество ряда писателей, которое в прошлом толковалось тенденциозно или сознательно замалчивалось.

Особое место в болгарской литературе сегодня занимает С. Игов (р. 1945). В последние годы его своеобразный талант проявляется в поэзии, прозе и даже драматургии. Однако наибольшую известность и признание он получил как литературовед. Жизненный путь С. Игова был нелегким. Ему не раз пришлось сталкиваться не только с завистью и несправедливостью по отношению к его творчеству, но и с прямыми политическими репрессиями. Однако он и в неблагоприятные для свободного творчества годы написал и смог издать много талантливых исследований – монографий, сборников статей и пр. В 2001 г. вышел его фундаментальный труд – “История болгарской литературы”. В этой громадной по объему книге (около 900 страниц) автор охватывает материал от “золотого века” национальной литературы до 1989 г. и предлагает ряд оригинальных подходов к ее анализу. Так, периодизацию болгарской литературы он выстраивает, основываясь на принципе имманентности, ее “самодвижения”. Подготовка к этому обобщающему труду длилась много лет. Власти всячески сопротивлялись изданию двух других его книг (“История на българската литература. 1878–1944” и “Кратка история на българската литература”), созданных задолго до общественно-политического переворота в стране, но увидевших свет лишь в 1990-е годы. Есть основания ждать и нового дополненного издания последней “Истории”, поскольку литературе периода 1944–1989 гг. в ней уделено сравнительно скромное место, а 1990-е годы отсутствуют пока вовсе.

Исследования С. Игова и некоторых других болгарских литературоведов показывают, что время пристрастных оценок и поспешных суждений, которыми грешили некоторые авторы после 1989 г., прошло. Пришла пора спокойного квалифицированного литературно-исторического анализа с позиций свободного творчества.

М.Г. Смольянинова. В конце XX – начале XXI в. болгарские литературоведы уделяют большое внимание выпуску энциклопедий и словарей. Весомым вкладом в науку является издание “Кирилло-Мефодиевской энциклопедии” в трех томах, вышедшей в издательстве Болгарской Академии наук (София, 1985. Т. I; 1995. Т. II; Т. III – в печати). В настоящее время находится в печати энциклопедия “Болгарская литература эпохи Возрождения”, созданная сотрудниками секции болгарской литературы эпохи Возрождения Института литературы БАН. Эта же секция выпустила в свет интересное исследование “Возрожденческий текст” в честь 70-летия крупного ученого Д. Лекова (София, 1998). Непреходящую ценность имеют труды проф. Д. Лекова “Болгарская возрожденческая литература. Проблемы, жанры, творцы”, т. I–II, (София, 1988) и “Болгарские литературные и культурные центры за рубежом” (София, 1999). Развитию болгарской литературы эпохи Возрождения посвящены также книги талантливого исследователя Н. Аретова “Переводная беллетристика первой половины XIX века” (София, 1999) и “Васил Попович. Жизнь и творчество” (София, 2000). Книга Х. Маналакиева “Между образом и чтением. Русская переводная беллетристика в болгарском Возрождении” (София, 1996) посвящена русско-болгарским литературным связям XIX в. Вышел труд “Литература малых народов в Болгарии после Освобождения” (София, 1999), изданный по материалам научной конференции “Литература этнических групп в Болгарии от Освобождения до наших дней”, проведенной в декабре 1998 г. секцией сравнительного литературоведения Института литературы БАН. В 1997 г. увидело свет историко-социологическое исследование К. Даскаловой “Болгарский учитель в эпоху Возрождения” (София). В фундаментальном труде одного из самых ярких, незаурядных ученых Болгарии С. Игова “Краткая история болгарской литературы” (София, 1996) исследуется специфика болгарского литературного процесса IX–XX вв. Это одно из самых значительных исследований последнего десятилетия. С грустью надо констатировать, что регулярного книгообмена между Болгарией и Россией сегодня не существует. Возможно, поэтому данный обзор новейших литературоведческих исследований не отличается полнотой.

В августе 2000 г. мне довелось принять участие в международной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения И. Вазова и З. Стоянова, проводившейся в рамках общebolгарского собора “Рожен–2000” под патронажем президента. На конференции прозвучало много содержательных докладов ученых разных стран. Но один из докладчиков, австрийский ученый О. Кронштайнер, высказал, на мой взгляд, нелепое пожелание. Он предложил болгарам отказаться от кириллицы и перейти на латиницу, дабы отдалиться от России и приблизиться к Европе. “В Европе, – сказал он, – кириллица имеет плохую репутацию. Многие думают, что это коммунистический шрифт и что болгары в сущности русские. Это очень плохо для репутации болгар и их политики. Меня часто спрашивают, говорят ли болгары только на русском или у них есть и свой язык. ... Кириллица виновата в разделении Европы. Мы связываем кириллицу с коммунистами”. Если Кронштайнер ориентируется на

неких европейских дремучих невежд, то это его проблемы, а никак не проблемы болгар и болгарской культуры, одной из древнейших в Европе.

Л.Н. Будагова. Вместо заключения. Общность условий, в которых оказались славянские страны в постсоциалистический период, ставший периодом серьезных перемен в их экономике, политике и культуре, определил и наличие некоторых общих тенденций в зарубежном славистическом литературоведении. Они просматриваются в разнообразных по содержанию (материалу, подходам), выступлениях участников “круглого стола”, и коротко эти тенденции можно свести к следующему. Происходит интенсивная – далеко не всегда безболезненная и справедливая (как в случае с И. Андричем, М. Крлежи, В. Незвалом и др.) переоценка ценностей, ликвидация белых пятен в истории национальных литератур, а в некоторых странах – и интенсивная “ротация” научных кадров, вызванная как естественной сменой поколений, так и сменой политических режимов, возвращением к легальной деятельности репрессированных ученых. Активно осваивается и включается в “живой” фонд национальной культуры, находит дорогу к читателю, становится объектом научного анализа творчество эмигрантов, диссидентов, религиозных писателей или представителей каких-то других, недавно еще “реакционных” направлений. Стремление зафиксировать и отразить более полные, чем прежде, представления о разросшемся литературном процессе, его новых направлениях, активизировало в ряде стран создание обновленных литературных энциклопедий, словарей, “Историй” национальных литератур. Несмотря на политическую переориентацию славянских государств с Востока на Запад, во многих из них не угасает интерес к русской литературе, активно развиваются русистика и научные связи с нашей страной.

Во время подготовки и в ходе проведения этого “круглого стола” говорилось о том, что хорошо бы проводить заседания с освещением работ зарубежных ученых периодически, по примеру прежних научных семинаров, оставивших о себе добрую память. (Отдельные энтузиасты даже выражали готовность публично делиться впечатлениями о каждом прочитанном труде иностранных коллег.) И хочется надеяться, что эти “души прекрасные порывы” не угаснут в текучке повседневных дел, и подобные “круглые столы” станут в нашем коллективе регулярными. Заседание 10 июня 2003 г. носило, в основном, обзорно-ознакомительный характер. Возможно, стоило бы впоследствии категорию “нового в зарубежном славистическом литературоведении” конкретизировать, посвящая “круглые столы” какой-то определенной теме. Интересно было бы ознакомиться с деятельностью литературоведческих институтов и журналов, славистических центров и с современным состоянием русистики за рубежом. Польза таких акций – с отражением их в печати – не только в расширении научного кругозора участников, но и в укреплении научных связей с зарубежными партнерами, в возможности оперативно откликнуться на их труды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze. Renesans. Barok. Ser. Vademecum Polonisty / Pod red. T. Michałowskiej. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1990, 1998; Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1992; Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa, 2000. Т. 1–2; Słownik literatury polskiej XX wieku / Pod red. M. Pytasa. Katowice, 2001.

2. Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. Warszawa, 2000. T. 1.
3. Bez cenzury 1976–1989. Bibliografia / Pod red. J. Kandziory. Warszawa, 1999.
4. Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Warszawa, 1963.
5. *Korbut G.* Literatura polska od początków do powstania styczniowego. Warszawa, 1919–1920. T. 1–3; *Korbut G.* Literatura polska od początków do wojny światowej. Warszawa, 1929–1931. T. 1–4.
6. Sporne postacie polskiej literatury współczesnej / Pod red. A. Brodzkiej. Warszawa, 1994–1998. Ks. 1–4.
7. Literatura polska 1918–1975 / Red. A. Brodzka, H. Zaworska, S. Zółkiewski. Warszawa, 1991. T. 1. 1918–1932, Warszawa, 1993. T. 2. 1933–1944; *Nasiłowska A.* Trzydziestolecie 1914–1944. Warszawa, 1995; *Święch J.* Literatura polska w latach II wojny światowej. Warszawa, 1997.
8. Literatura polska. Młoda Polska / Red. J. Kulczycka-Saloni, I. Maciejewska, A.Z. Makowiecki, R. Taborski. Warszawa, 1991; *Boniński E.* Struktura “Nagiej duszy”. Studium o Stanisławie Przybyszewskim. Warszawa, 1993; *Hutnikiewicz A.* Młoda Polska. Warszawa, 1994, 1996; Stulecie Młodej Polski. Studia / Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków, 1995; *Podraza-Kwiatkowska M.* Literatura Młodej Polski. Warszawa, 1992; 1997; *Wyka M.* Światopoglądy młodopolskie. Kraków, 1996; *Boniński E.* Modernistyczny dramat ciała. Warszawa, 1998; *Popiel M.* Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej. Kraków, 1999.
9. *Przybylski R.* Słowo i milczenie bohatera Polaków. Warszawa, 1993; *Siwicka D.* Romantyzm. 1822–1863. Warszawa, 1996; *Witkowska A., Przybylski R.* Romantyzm. Warszawa, 1997.
10. Idee programowe romantyków polskich. Antologia / Opr. A. Kowalczykowa. Wrocław; Warszawa; Kraków, 2000.
11. *Janion M.* Do Europy – tak, ale razem z naszymi umarłymi. Warszawa, 2000.
12. *Trojanowiczowa Z.* Sybir romantyków. Poznań, 1993; *Stefanowska Z.* Strona romantyków. Studia o Norwidzie. Lublin, 1993; *Rzońca W.* Norwid poeta pisma. Próba dekonstrukcji dzieła. Warszawa, 1995.
13. Trzyznaście arcydzieł romantycznych / Pod red. E. Kiślak i M. Gumkowskiego. Warszawa, 1996.
14. Nasze pojedynki o romantyzm / Pod red. D. Siwickiej, M. Bieńczyka. Warszawa, 1995.
15. Mickiewicz. Encyklopedia / Opr. J.M. Rymkiewicz, D. Siwicka, A. Witkowska, M. Zielińska. Warszawa, 2001.
16. Juliusz Słowacki. Zarys bibliograficzny // Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut / Opr. H. Gacowa. Wrocław, 2000. T. 11.
17. Księga Mickiewiczowska. Patronowi uczelni w dwusetną rocznicę urodzin. 1798–1998 / Pod red. Z. Trojanowiczowej i Zb. Przychodniaka. Poznań, 1998; *Stefanowska Z.* Historia i profesja. Wyd. 2. Kraków. 1998; *Stefanowska Z.* Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczuz. (Wyd. 2, zmienione). Warszawa, 2001.
18. Tajemnice Mickiewicza / Pod red. M. Zielińskiej. Warszawa, 1998.
19. Słowacki współczesny / Pod red. M. Troszczyńskiego. Warszawa, 1999.
20. Norwid z perspektywy początku XXI wieku / Pod red. J. Rohozińskiego. Pułtusk, 2003.
21. *Dąbrowski R.* Słowackiego dialog z odbiorcą. Kraków, 1996.
22. Juliusz Słowacki – poeta europejski / Pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, W. Szturca, A. Ziołowicz. Kraków, 2000.
23. *Kowalczykowa A.* Słowacki. Warszawa, 1994 (2-е изд. – 1999).
24. *Maciejewski J.* Powieści poetyckie Słowackiego. Poznań, 1991; *Piwińska M.* Juliusz Słowacki od duchów. Warszawa, 1992; *Piechota M.* Zywiół epeiczny w twórczości Juliusza Słowackiego. Katowice, 1993; *Łubieniewska E.* Laseczka dandysa i płaszcz proroka. Juliusz Słowacki. Warszawa, 1994; *Przybylski R.* Rozhukany koń. Esej o myśleniu Juliusza Słowackiego. Warszawa, 1999.
25. *Treugutt S.* “Bieniowski”: Kryzys indywidualizmu romantycznego. Warszawa, 1964 (wyd. 2 – 1999).
26. *Janion M.* Życie pośmiertne Konrada Wallenroda. Warszawa, 1990; *Janion M.* Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś. Warszawa, 1996; *Janion M.* Kobiety i duch inności. Warszawa, 1997; *Janion M.* Płacz generała. Eseje o wojnie. Warszawa, 1998 и др.
27. Maski. Fragmenty antropologiczne / Wyb., wstęp i red. M. Janion i St. Rosiek. Gdańsk, 1986. T. I–II.
28. *Janion M.* Gorączka romantyczna. Prace wybrane / Pod. red. M. Czermińskiej. Kraków, 2000. T. 1.

29. *Janion M.* Romantyzm, rewolucja, marksizm. Gdańsk. 1972; *Janion M.* Gorączka romantyczna. Warszawa, 1975.
30. *Janion M.* Tragizm, historia, prywatność. Prace wybrane / Pod. red. M. Czermińskiej. Kraków, 2000. T. 2.
31. *Janion M.* Romantyzm. Studia o ideach i stylu. Warszawa, 1969; *Janion M.* Odnawianie znaczeń. Kraków, 1980; *Janion M.* Wobec zła. Chomotów, 1989; *Janion M.* Projekt krytyki fantazmatycznej. Warszawa, 1991.
32. *Witkowska A.* Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków. Gdańsk, 1997.
33. *Janion M., Żmigrodzka M.* Odyseja wychowania. Goetheańska wizja człowieka w Latach nauki i latach wędrówki Wilhelma Meistra. Kraków, 1998.
34. *Błóński J.* Miłosz jak świat. Kraków, 1998; *Fiut A.* Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza. Kraków, 1998.
35. *Miłosz Cz.* Historia literatury polskiej. Kraków, 1995.
36. *Norwid C.K.* ...lecz ty spomnisz, wnuku / Wyb. i posłowie M. Baranowskiej. Warszawa, 1985; *Księga sonetów / Wyb., układ, wstęp M. Baranowska.* Kraków, 1997.
37. *Baranowska M.* Tak lekko było nic o tym nie wiedzieć... Szymborska i świat. Wrocław, 1996.
38. *Szymborska.* Szkice. Warszawa, 1996; *Legeżyńska A.* Wisława Szymborska. Poznań, 1996; *O wierszach Wisławy Szymborskiej.* Łódź, 1996; *Balbus St.* Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej. Kraków, 1997.
39. *Baranowska M.* Prywatna historia poezji. Warszawa, 1998.
40. *Danek D.* Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza. Warszawa, 1997; *Speina J.* Literatura w perspektywie psychologii. Toruń, 1998.
41. *Lustra historii. Rozprawy i eseje ofiarowane Prof. Marii Żmigrodzkiej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej / Pod. red. M. Kalinowskiej i E. Kiślak.* Warszawa, 1998.
42. *Żmigrodzka M.* Przez wieki idąca powieść. Wybór pism o literaturze XIX i XX wieku / Pod red. M. Kalinowskiej i E. Kiślak. Warszawa, 2002.
43. *Romantyzm. Poezja. Historia. Prace ofiarowane Zofii Stefanowskiej / Pod red. M. Prussak i Z. Trojanowiczowej.* Warszawa, 2002.
44. *Maski współczesności. O literaturze i kulturze XX wieku.* Warszawa, 2001.
45. *Kiślak E.* Car-trup i Król-Duch. Rosja w twórczości Słowackiego. Warszawa, 1991.
46. *Nowak A.* Miedzy carem a rewolucją. Studium politycznej wyobraźni i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji. 1831–1849. Warszawa, 1994.
47. *Zielińska M.* Polacy. Rosjanie. Romantyzm. Warszawa, 1998.
48. *Stala K.* Na marginesach rzeczywistości. O paradoksz przedstawienia w twórczości Brunona Schulza. Warszawa, 1995.
49. *Micińska A.* Witkacy. Warszawa, 1991; *Błóński J.* Witkacy. Sztukmistrz, Filozof, Estetyk. Kraków, 2000.
50. *Głowiński M.* "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Warszawa, 1991; *Błóński J.* Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu. Kraków, 1994.
51. *Rymkiewicz J.M.* Encyklopedia. Warszawa, 2001; *Poetyki Leśmiana.* Warszawa, 2002.
52. *Nycz R.* Sylwy współczesne. Kraków, 1996; *Nycz R.* Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław, 1997.
53. *Markiewicz H.* Literatura i historia. Kraków, 1994; *Markiewicz H.* Dopowiedzenia. Kraków, 2000.
54. *Markiewicz H.* Zabawy literackie. Kraków, 1992.
55. *Tazbir J.* Książki, które się nie ukazały // Romantyzm. Poezja. Historia. Prace ofiarowane Zofii Stefanowskiej. Warszawa, 2002.
56. *Tazbir J.* Państwo bez głosów i inne szkice. Prace wybrane / Pod red. St. Grzybowski. Kraków, 2000. T. I.
57. *Chvatík K.* Pohledy na českou literaturu z ptačí perspektivy. Praha, 1991.
58. *Janoušek P.* Time-out. Praha, 2001.
59. *Kratochvil J.* Příběhy příběhů. Brno, 1995.
60. *Jungmann M.* V obklíčení příběhů. Brno, 1997.
61. *Slovník zakázaných autorů.* Praha, 1991.
62. *Česká literatura od počátku k dnešku.* Praha, 1998.
63. *Pospišil I.* Genologie a proměny literatury. Brno, 1998.

64. Vinčer P. Súvislosti v čase a prestore. Básnická avantgarda, jej prekonavanie a dedičstvo (Čechy, Slovensko, Polsko). Bratislava, 2000.
65. Mukařovský J. *Studie*. I. Praha, 2000.
66. Mukařovský J. *Studie*. II. Praha, 2001.
67. Grygar M. Terminologický slovník českého strukturalismu (obecné pojmy estetiky a teorie umění). Praha, 1999.
68. Chvatík K. Strukturální estetika. Praha, 2001.
69. Hawkes T. Strukturismus a semiotika. Praha, 1999.
70. Rimmon-Kenanová S. Poetika vyprávění. Praha, 2000.
71. Doležel L. Kapitoly z dějin srkturální poetiky. Praha, 2001.
72. Výbor z prací francouzského strukturalismu. Znak, struktura, vypravení. Praha, 2001.
73. Od poetiky k diskursu – výbor z polské literární teorie 70–90 let XX století. Praha, 2002.
74. Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Praha, 2000.
75. Červenka M. Dějiny českého volného verše. Praha, 2001.
76. Veltruský J. Drama jako básnické dílo. Praha, 1999.
77. Noge J. Slovenska literatura na prelome storoci // Slovenske pohľady. 1977. C. 1.
78. 2 otázky pre dvoch // Romboid. 1996. C. 6.
79. Čítame slovenskú literatúru. Bratislava, 1997. T. I (1939–1955).
80. Šmatlak S. Dejiny slovenskej literatury. II. Bratislava, 2001.
81. Специфика литературных отношений. Проблемы изучения общности славянских литератур. М., 1994.
82. Trag i razlike. Zagreb, 1995.
83. Frangeš I. Povijest hrvatske književnosti. Zagreb, 1987.
84. Flaker A. Književne vedute. Zagreb, 1999.
85. Flaker A., Ugrešić D. Pojmovnik ruske avangarde. Zagreb, 1984–1990. Sv. I–VIII.
86. Žmegač V. Književnost i filosofija povijesti. Zagreb, 1994.
87. Šolar V. Teorija proze. Zagreb, 1989; Šolar V. Roman i mit: književnost – ideologija – mitologija. Zagreb, 1988; Šolar V. Laka i teška književnost. Zagreb, 1995.
88. Slabinac G. Zavođenje ironijom. Zagreb, 1996; Biti V. Savremena teorija pripovjedanja. Zagreb, 1992; Biti V. Upletanje nerenenog. Književnost. Povijest. Teorija. Zagreb, 1994; Slabinac G. Upletanje nerenenog. Književnost. Povijest. Teorija. Zagreb, 1994; Oraić Tolić D. Teorija citatnosti. Zagreb, 1990; Milanja C. Slijepe pege postmoderne. Zagreb, 1996; Milanja C. Hrvatski roman 1995–1990. Zagreb, 1996; Nemeč K. Tragom tradicije. Ogledi iz novije hrvatske književnosti. Zagreb, 1995; Povijest hrvatskog romana 1900–1945. Zagreb, 1998.
89. Slabinac G. Hrvatska književna avangarda. Poetika i žanrovski sistem. Zagreb, 1988; Ivanišin N. Fenomen hrvatskog ekspresionizma. Zagreb, 1990; Žmegač V. Duh impresionizma i secesije. Zagreb, 1993; Oraić Tolić D. Paradigme 20 stoljeca. Avangarda i postmoderna. Zagreb, 1996.
90. Mandić I. S bogom, dragi Krleža! Beograd, 1988.
91. Čosić B. Doktor Krleža. Jedan odgojni roman. Beograd, 1988.
92. Krležijana. Zagreb, 1993. Knj. 1; Lasić S. Krleželgija ili povijest kritičke misli o Miroslavu Krleži. Zagreb, 1989–1993. Knj. I–VI.
93. Bogišić V., Čale-Feldman L., Duda D., Matičević I. Leksikon hrvatske književnosti. Zagreb, 1998.
94. Užarević J. Kompozicije lirske pjesme. O. Mandelštam i B. Pasternak. Zagreb, 1991.
95. Simultanizam. Zagreb, 2001.
96. Lukšić I., Užarević J. Ruska književnost u hrvatskim književnim casopisima 1945–1977. Zagreb, 1992; Lukšić I., Užarević J. Hrvatska/Rusija. Zagreb, 1999.
97. Košiček M. Ženske in ljubezen v očeh Ivana Cankarja. Ljubljana, 2001.
98. Jušič H. Slovenska proza v druga polovica 20 stoletja. Ljubljana, 2002.



© 2004 г. В. И. ФРЕЙДЗОН

ДВЕ БЕСЕДЫ Й.Ю. ШТРОСМАЙЕРА С РОССИЙСКИМИ
ДИПЛОМАТАМИ

Австро-венгерский компромисс 1867 г. вызвал негативную реакцию со стороны национальных движений славянских народов Габсбургской монархии. В публикуемых материалах представлена в изложении русских дипломатов точка зрения лидера хорватского либерального течения епископа Йосипа-Юрая Штросмайера на перспективу международных отношений в Европе и на роль России в освобождении южных славян. Хорватские либералы (народняки) до 1866 г. склонялись к австрославистским проектам федерализации монархии Габсбургов, казавшимся им наиболее реальным путем достижения национальной свободы. Но и тогда они видели конечную цель в образовании федеративного югославянского государства. Однако надежды на Габсбургов оказались не состоятельны. Уже в 1866 г. Штросмайер изъявил готовность содействовать Сербии в создании крупного государства, которое стало бы ядром будущей Югославии. Неблагоприятная для Сербии международная обстановка после австро-прусской войны (Австрия и Франция оказали на Белград нажим, предупредив против активности Сербии на Балканах) и сближение сначала сербского князя Михаила Обреновича, а после его гибели (май 1868 г.) – правительства наместников (регентов) с Австро-Венгрией ухудшили ситуацию, в которой оказалась Хорватия.

В этой обстановке Хорватии было навязано “Хорвато-венгерское соглашение” 1868 г., поставившее ее под контроль венгерских властей (правда, на условиях ограниченной автономии). В поисках путей активизации национального движения Штросмайер обратился непосредственно к русскому генеральному консулу в Белграде Н. Шишкину.

В планы правительства Александра II не входило обострение отношений с Австро-Венгрией. Поэтому русские правящие круги отнеслись с осторожностью к просьбе Штросмайера о беседе с Шишкиным. Консул в Белграде в телеграмме от 30 сентября 1868 г. запросил указаний: “Штросмайер, имеющий скоро прибыть сюда, хочет тайно со мной видаться. Меня уверяют, что он убежден в успехе его славянского дела только при подчинении России¹ и ее содействии, и желая распространить сию мысль, хотел бы основать для этого газету здесь или в Валахии. Благоволите приказать, могу ли его ви-

Фрейдзон Владимир Израилевич – д-р ист. наук, консультант ИСл РАН.

¹ Имеется в виду руководство политической деятельностью.

деть и что должен ответить на его запрос о сем". Горчаков, мнение которого разделял император, считал, что видеть Штросмайера Шишкин "может, но не входя с ним ни в какие обязательства" [1. Л. 376]. Шишкин получил указание свидания не отклонять, но быть "крайне осторожным" [1. Л. 386].

В публикуемом материале консул сообщает канцлеру А.М. Горчакову о встрече со Штросмайером, состоявшейся в октябре 1868 г. Позднее под воздействием этой встречи Шишкин даже ходатайствовал о поддержке Штросмайера перед своим непосредственным начальством (начальником Азиатского департамента П.Н. Стремоуховым)².

Но в заявлении Штросмайера привлекают внимание не столько просьба о денежной помощи для издания газеты, сколько готовность к более решительным действиям, направленным против власти Габсбургов. Вряд ли ранее историки знали об этих смелых шагах хорватского деятеля.

Надо также отметить, что будучи в оппозиции к австрийскому централизму Штросмайер до 1867 г. выступал за равноправное сотрудничество с Венгрией, и его антивенгерские филиппики 1868 г. и 1870 г. были вызваны недавними событиями в империи.

Говоря о втором документе, нет необходимости подробно рассматривать тезис Штросмайера о "заговоре против славянского мира" и др. Его высказывания диктовались стремлением активизировать поддержку Россией национального движения южных славян. Убеждение же Штросмайера в том, что существовала опасность для народов Европы со стороны германской экспансии, подтвердилось в 1914 и 1939 гг.

Разговор с русским посланником в Вене Е.П. Новиковым состоялся во время тяжелых поражений армии Наполеона III в войне с Пруссией, и Штросмайер возвращается в нем к мысли о франко-русском союзе ("симпатиях латинских народов") – идее, неоднократно высказанной деятелями хорватского национального движения [2]. Интересен вывод Штросмайера о том, что южным славянам, поскольку им не удалось спасти монархию Габсбургов, следует "спасать самих себя без нее, а при необходимости против нее".

Публикуемые документы содержат также многие другие интересные сведения (о контактах прусской дипломатии со Штросмайером в 1870 г. и т.д.).

Русский генеральный консул в Белграде – канцлеру А.М. Горчакову

Белград, октябрь, 21 дня, 1868 года

Милостивый государь, князь Александр Михайлович,

Пользуясь благосклонным разрешением, данным мне Вашим сиятельством, я имел вчера с епископом Штросмайером свидание, которое, согласно его желанию, должно остаться тайною не только для австрийского представительства, но и для здешних наместников.

Хотя я услышал от его преосвященства жалобы на тяжелое положение народа и ходатайства о великодушной помощи России, которые составляют основание сношений наших со всеми единоплеменниками нашими, но я тем

² "Я уверен, что если бы князь-канцлер (Горчаков. – В.Ф.) вместо моего сухого отчета о свидании со Штросмайером мог выслушать исполненную горячего убеждения речь епископа, он не задумался бы стать перед государем ходатаем за несчастных хорватов" [1. Л. 492].

не менее считаю долгом отдать вашему сиятельству возможно краткий и верный отчет беседы моей с епископом дьяковарским³, с увлекательным жаром и красноречием описавшим мне страдания славян, несущих ярмо мадьярского владычества, и надежды, возлагаемые ими на содействие императорского правительства.

Если верить словам преосвященного, все сербские патриоты⁴, отказывающиеся подчиниться требованиям центрального правительства⁵, подвергаются всевозможным гонениям, главная цель которых, ввергнув их в совершенную нищету, вынудить из них голодом и нищетой то, чего невозможно достигнуть убеждением. Все наиболее выдающиеся личности, состоявшие в государственной службе, немилосердно из нее изгоняются; от поземельных собственников, ремесленников и простых работников требуется безнедоимочная уплата отяготительных налогов, и всякая неисправность влечет за собою тюремное заключение, аукционные продажи за бесценок потом и кровью добытого имущества и неминуемое разорение. Агенты, содержимые местными мадьярскими властями, окружили народ неуловимую, но тем не менее сильно сплетенную сеть полицейских придирок и доносов, привлекающих к несоизмерной ответственности за всякое неосторожно высказанное слово. Центральное правительство в союзе с крупными землевладельцами, принадлежащими большею частью к партии мадяронов, расточая щедрою рукою деньги, имеет преобладающее влияние на избирателей и посылает на сабор троедино-го королевства⁶ только людей, безусловно подчиняющихся его внушениям и готовых продать самые неприкосновенные преимущества народа в угождение своим покровителям. Наконец печать, это единственное средство, бывшее в руках народной партии для возбуждения сочувствия к своему справедливому делу и для обнаружения беззаконий местного управления, была подвергнута такому нескончаемому систематическому угнетению, таким тяжелым пеням, что должна была или разбить свои станки или переселиться в Вену, откуда ее листы редко достигают до ежедневно уменьшающегося числа подписчиков.

“Вот, – продолжал мой собеседник, – в каком плачевном положении находится моя прекрасная родина, вот до чего дожила она, жертвуя всем, и цветом своей молодежи, и плодами своих посильных трудов неблагодарному правительству. От Австрии и от Венгрии нам нечего ожидать, как нечего ожидать от Порты несчастной райе; поэтому долго боролись мы собственными средствами, но средства наши истощились, скудные мои достатки давно уже не в состоянии пополнить ту бездну нищеты, которая с каждым днем открывается перед нами. Давно взоры наши с любовью и надеждой обращались к России, единственной и бескорыстной защитнице христианства и славянства; но она от нас так далека, так мало нас знала до сих пор, что мы даже не пытались взывать к ее братским чувствам, тем более, что нам известны были все жертвы, приносимые ею в пользу наших единоплеменников в

³ Штротсмайер являлся главой Дьяковского епископства. В России применялись транскрипции “дьяковское”, “город Дьяково”. Здесь дана мадьяризированная форма.

⁴ Сербские патриоты – так нередко сами хорваты в переписке с русскими называли деятелей хорватского национального движения.

⁵ Центральное правительство – венгерское министерство, созданное в результате австро-венгерского соглашения 1867 г.

⁶ Имеются в виду Хорватия, Славония и Далмация.

Сербии. Поэтому в Белграде старались мы возбудить сочувственный отголосок к нашим страданиям; в Белграде, думали мы, подыметесь знамя освобождения и искупления славянского мира! Некоторое время дышали мы этой надеждою, но и здесь ждало нас горькое разочарование. Вместо помощи, вместо поддержки наши патриотические стремления встретили здесь сегодня холодный совет отдаться мадьярам на тех постыдных условиях, которые недавно были подписаны отступниками нашего святого дела! Теперь нам остается только испытать то средство, которое мы берегли на черный день в убеждении, что как человек никогда бесполезно не молится Богу, так и южный славянин не встретит от России отказа на свои мольбы. Неужели царь, освободивший двадцать миллионов своих подданных от рабства, не протянет своей щедрой руки нескольким миллионам своих единокровных братьев и допустит им погибнуть под чужим ненавистным и невыносимым игом. Готовясь ехать сюда, я уже предвидел, что не слово участия, не братски протянутая рука встретит здесь вопли отчаяния моего народа, вот почему я выразил желание Вас видеть, надеясь, что Вы не откажетесь быть посредником ходатайств хорватского народа перед императорским правительством”.

Я спешил уверить епископа в своей готовности повергнуть на благосклонное воззрение Вашего сиятельства всю сущность нашей беседы, присовокупив к этому просьбу с большею точностью определить, в чем, по его мнению, могла бы состоять помощь, ожидаемая им от императорского правительства. Подумав немного, его преосвященство изложил мне, в чем заключаются ходатайства хорватской народной партии.

Ходатайства эти следующие:

1) Чтобы императорское правительство благоволило определить некоторые денежные пособия хорватским патриотам, наиболее пострадавшим от мадьярских преследователей.

2) Чтобы оно не отказало этой партии в материальном пособии для противодействия избирательным проискам партии правительственной и мадьярской при выборах в имеющий быть созданным сабор, и наконец,

3) Чтобы оно поддержало возможными для него средствами издание газет “Pozor” и “Zukunft”, выходящих теперь в Вене, служащих органами стремлений народной партии и существующих только денежным обеспечением, внешним тайно самим преосвященством из собственных своих средств.

“Если Ваше правительство изъявит свое согласие оказать нам просимые благодеяния, – продолжал епископ, – я обязуюсь именем народа, подарившего меня своим полным доверием, быть всегда послушным орудием воли и приказаний России, без совета ее не делать ни одного шага, не предпринимать ничего. Обязательство подобного рода я готов облечь в ту форму, которая будет призвана наиболее меня связующею и готов скрепить как свою подписью, так и подписями людей, делящих со мной судьбу народа и его доверие. Сверх того я обязуюсь быть орудием интересов России в здешнем крае; извещать обо всем, что будет замышлять Австрия и Венгрия против ее единоплеменников и против нее и употребить все свое влияние на Военную границу, чтобы образовать из нее передового исполнителя великодушных предначертаний. Не сочтите мои слова выражением бессильного негодования против общих врагов всего славянства; источником их служит глубокое и непоколебимое убеждение, что одна Россия разрешит давнишнюю задачу воссоздания юго-

славянского мира и что все козни ее врагов бессильны помешать ей исполнить эту славную задачу!”

Выразил его преосвященству еще раз готовность мою быть посредником для передачи его ходатайств императорскому правительству, я обратил его внимание на необходимость указать мне пути, могущие в случае надобности служить для дальнейших наших сообщений.

Он отвечал мне, что если императорскому правительству угодно будет оставить меня посредником сношений с ним, то я могу пересылать ему все через Орешковича⁷, успевшего давно заслужить неограниченное его доверие. В случае, если дальнейшие переговоры с ним будут возложены на посольство наше в Вене, он предупредит об этом заранее редактора газеты “Pozor” Мишкатовича, который будет всегда состоять в полном распоряжении нашего представителя. Наконец, если встретится необходимость войти в личные сношения с ним самим, преосвященный выразил мне готовность съехаться с назначенным для того лицом в Триесте, Венеции или в одном из больших городов Италии, куда он явится через две недели по назначении ему свидания.

Я не хотел завершить беседы с епископом Штросмайером, не проверив сведений, доставленных мне полковником Блазнавацем⁸ относительно влияния, которым княжеское правительство пользуется в Военной границе, а поэтому просил его преосвященство передать мне откровенно известия, собранные им и его агентами о расположении умов в этой области.

Преосвященный уверял меня, что наместники сильно ошибаются на счет расположения к Сербии граничар; было время, большинство военных поселений Австрии разделяли надежды хорватов и готовы были подчинить свою деятельность внушениям князя Михаила; но обманутые, как и хорваты, в своих ожиданиях, теперь они совершенно отшатнулись от княжества и непрежде пристанут к нему снова, как заручившись от его правительства формальными и точно определенными обязательствами. Теперь, по уверению епископа, если бы граничарам пришлось выбирать между австрийским правительством, обещающим занятие Боснии и Герцеговины, и княжеским, предлагающим им в более или менее близком будущем завоевание этих областей заодно с ними, они, конечно, не поколебались бы последовать за Австрией.

“Я слышал, – заключил преосвященный, – что Андраши и Бейст⁹ клянутся, что они отказались от мысли завладеть этими двумя турецкими областями, уверяя, что приобретение их послужит только к ослаблению двойственного австро-мадьярского союза и что они даже простирают свое лукавство до того, что обещают способствовать присоединению их к княжеству, если правительство его отвернется от России и перестанет следовать внушениям русского правительства. Но оба министра обманывают и Европу, и Сербию. Я знаю положительно от многочисленных своих приятелей из граничар, что главное начальство Военной границы имеет уже более года секретное пред-

⁷ Антоние Орешкович – хорват, бывший офицер Военной границы, после перехода в Сербию (1862) – доверенное лицо сербского князя Михаила. В 1868–1869 гг. выполнял различные поручения хорватских народняков и пытался посредничать между ними, венгерским правительством, русской дипломатией и др.

⁸ М. Блазнавац – один из наместников Сербии.

⁹ Д. Андраши – глава венгерского правительства, Ф. Бейст – министр иностранных дел Австро-Венгрии.

писание держать войска в готовности для вступления по первому приказанию в Боснию и Герцеговину, и я убежден, что знаком для приведения этого указания в исполнение будет первое серьезное народное движение в этих областях”.

Передавая на беспристрастное суждение Вашего сиятельства домогательства и предложения, переданные мне епископом Штросмайером, я могу выразить только сожаление, что я не имел в распоряжении своем стенографа для представления Вам от слова до слова увлекательно красноречивой речи его, объясняющей отчасти то неоспоримое влияние, которое он успел приобрести между своими единоплеменниками и которое только упрочилось его бескорыстно патриотическою деятельностью.

Для Вашего сиятельства может быть не будут лишены занимательности некоторые подробности пребывания здесь преосвященного Йосипа (Штросмайера. – В.Ф.), могущие служить для характеристики деятельности наместников и австрийского генерального консула. Узнав, что здешняя молодежь устраивает fakelzug (факельное шествие. – В.Ф.) и серенаду в честь приезда, гг. Блазнавац и Ристич¹⁰ подослали к нему одного из своих клеветов, чтобы просить его отказаться от всяких торжественных заявлений сочувствия. Г. Каллай¹¹ со своей стороны обьявив ему, что он не может отвести ему жилище в доме консульства вследствие дошедших до него слухов о каких-то демонстрациях, для него приготовляемых, намеревался в то же время сопровождать его при всех посещениях местным властям. Но все эти происки только поощрили хитрого епископа презреть их. Остановившись в Землине (Земун. – В.Ф.), он приехал в Белград, не предупредив моего австрийского товарища, и таким образом мог сделать все свои посещения без докучливого надзора последнего. Точно также не последовал он неловким внушениям наместников, и во время ужина, предложенного ему вчера митрополитом Михаилом, здешнее певческое общество в сопровождении всего ученого и учащегося сословия, вооруженного зажженными факелами, приветствовало дорогого славянского гостя патриотическими песнями, исполненными стройным хором членов, и речью, произнесенною одним из профессоров, на которую преосвященный отвечал несколькими полными одушевления словами. Демонстрация эта, устроенная вопреки желанию наместников, могла только доказать им, а вместе и австрийскому агенту, как мало встречают сочувствия между сербами их мадьярские стремления^{12...13}

С глубочайшим почтением и пр.

Н. Шишкин

Архив внешней политики Российской империи. Главный архив VA₂. Д. 254^а. Л. 251–258.

¹⁰ Йован Ристич – один из наместников Сербии.

¹¹ Австро-венгерский генеральный консул в Белграде. Консулов тогда нередко называли агентами.

¹² Отметим, что предложение Штросмайера не было и не могло быть принято русским правительством.

¹³ Далее следует небольшой текст, не имеющий отношения к русско-хорватским отношениям.

Вена 12/24 сентября 1870 г.

Князь!

Хорватский епископ Штросмайер, создавший себе в Римском соборе репутацию вождя противников инфалибилитета¹⁴, зашел ко мне недавно, будучи проездом в Вене.

Как и г-да Палацкий и Ригер, он стал излагать мне свои взгляды на политическое будущее славян.

Они поразительно напоминают взгляды чешских патриотов, но красноречие рассказчика наложило на них печать такой оригинальности, что я хотя и рискую повториться, не могу отказать себе в том, чтобы представить их Вашему сиятельству в их логической последовательности.

“В германском и латинском мире, – сказал он мне, – существует широкий заговор против славянского мира. Его подлинной мишенью является Россия, и чтобы сильнее поразить эту державу в ее цивилизаторской миссии среди единокровных народов предпринимаются попытки разрушить один за другим ее аванпосты в Западной Европе и направить ее гуманную деятельность в сторону Азии.

Хочет того Россия или нет, но подозрительность Европы всегда будет заставлять ее солидаризироваться со славянскими интересами во всем мире. И если она сейчас еще этого не делает, то неминуемо придет к этому, ибо такова высшая сила обстоятельств.

Европа издавна готовится к этой решительной борьбе. Одно из орудий ее арсенала – конституция, предоставленная Австрии в 1866 г. Немцы, венгры и поляки объединились, чтобы навязать этой монархии систему дуализма¹⁵, не имеющего иной цели, как задушить западных славян тисками германизма, а южных – в тисках мадьяр.

Этому аплодировала наполеоновская Франция. Пруссия с тайным удовлетворением дала им свободу действий. Так как они обе преследовали цель установления господства над славянским миром, они должны были прежде всего покончить со своими распрями. Если бы Наполеон покорил Пруссию, он бы на развалинах этой державы приступил к осуществлению самых широких замыслов, направленных против России. Вот почему венгры и поляки так горячо сочувствовали Франции и отнюдь не они удержали Австрию от вступления в активную борьбу с Германией.

Чего не смогла осуществить побежденная Франция, то сделает победившая Пруссия. Она начнет с поглощения Цислейтании. Вслед за Рейном Дунай станет по преимуществу немецкой рекой. Немецкие колонии, разбросанные по всем городам Австро-Венгрии и простирающиеся по всей стране

¹⁴ Инфалибилитет – принцип непогрешимости главы католической церкви в вопросах веры и нравственности, установленный Ватиканским собором 1869–1870 гг. На соборе Штросмайер выступал с критикой этого догмата.

Хорватский деятель был сторонником создания автономной южнославянской церкви.

¹⁵ После австро-венгерского соглашения 1867 г. австрийские власти пошли на предоставление автономии Галиции, передав некоторые местные дела в этой провинции в руки польского дворянства.

широкую сеть промышленного и морального влияния, явятся проводниками германизации, прогрессирующей в направлении к Адриатике (Триест) и Черному морю (Румыния), и трудно даже вообразить себе тот гнет, который обрушит на Европу сплоченная 60-миллионная нация.

Этот немецкий вихрь затем сметет Венгрию и Польшу, как только они перестанут служить орудием германских притязаний.

Династия Габсбургов могла бы вовремя остановить разложение Австрии, опираясь на славянский элемент; она в этом заинтересована самым непосредственным образом. В то время, когда епископ Штросмайер еще имел доступ ко двору, он предостерегал императора против того рокового пути, на который его толкают. Он говорил ему, что Богемия самый верный его оплот по эту сторону Лейты, и если бы ее не существовало, ее бы следовало создать; что южные славяне, в свою очередь, защищали бы его против чрезмерного усиления венгров, и если он стремится к влиянию на Востоке, они стали бы его верным орудием. Он добавил, угадав тайные опасения его величества, что если уроков истории недостаточно, чтобы освободить его от страха перед сепаратистскими устремлениями хорватов, лучшая гарантия их верности заключается в том факте, что потребовалась бы еще сотня лет для того, чтобы они созрели для независимости.

Но император, будучи как лично, так и в силу традиции противником славян, оказался в расставленной венграми ловушке: выдвигая перспективу укрепления трона в Пеште и широких возможностей, открывающихся на Востоке, его примирили даже с мыслью о возможной потере Цислейтании.

Перед этим роковым ослеплением южным славянам остается руководствоваться лишь своими собственными славянскими интересами. Будучи не в силах спасти монархию, они должны спасти самих себя без нее, а при необходимости и против нее.

Мадьярское иго становится для них нестерпимым; с ними обращаются не лучше, чем с христианским населением Турции. И только одна Сербия может стать для них ядром притяжения и противодействия Пешту, и если бы г-н Штросмайер не был в начале войны в Риме, он был бы в Белграде для того чтобы побудить сербское правительство ввести войска в Боснию и Герцеговину. Эта комбинация была столь естественной, что даже Пруссия какое-то время собирались ее поддержать. Будучи неуверенным в обороте, который могла принять война, ее представитель в Риме г-н фон Арним тайно обещал епископу Штросмайеру 3 миллиона талеров и оружие, чтобы осуществить эту диверсию в том случае, если бы Австрия поддержала Францию.

То, что Пруссия намеревалась сделать в трудный момент, она, разумеется, не станет делать после своих блистательных успехов. Но она начертала путь естественной союзницы славян. Если бы у сербов хватило мужества попытаться счастья, императорскому кабинету тогда пришлось бы провозгласить принцип невмешательства, чтобы связать руки Австрии. На сей день эта комбинация отклонена, но нужно, чтобы отныне Россия была начеку и чтобы она серьезно поддержала южных славян. Перед лицом общей опасности она могла бы даже рассчитывать на симпатии латинских народов. Пусть она не заблуждается: страдания, причиняемые славянам, являются в то же время ранами, наносимыми России, которые когда-нибудь начнут кровоточить”.

Я позволил монсеньору Штросмайеру говорить, лишь изредка прерывая, чтобы лучше понять его мысль. Когда он кончил, я вкратце высказал свои

мысли, заверяя его в глубоких симпатиях императора к славянскому делу, их материальному и моральному прогрессу, укреплению близости между членами этой большой семьи. Но тем не менее я не скрыл от него, насколько трудна наша позиция по отношению к Европе именно в силу этих симпатий и что не следует славянам проявлять неблагодарность, требуя от нас слишком многого сразу, либо пытаясь революционными действиями навязать нам свою волю.

Из вышеприведенной картины Ваше сиятельство изволите усмотреть, что чехи и южные славяне сходятся даже в тонких деталях в оценке своих взаимоотношений с Австрией и Германией, с тем лишь различием, что географическое положение первых вынуждает их быть консерваторами, в то время как близость Сербии способствует ослаблению связей, делающих вторых заинтересованными в сохранении целостности австро-венгерской монархии.

Имею честь и пр.

Новиков

Перевод с французского *Е. Заблудовской*

Архив внешней политики Российской империи. Ф. Канцелярии. Д. 146. Л. 136. Вена. 1871 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Главный архив VA₂. Д. 254^а.
2. *Фрейдзон В.И.* Пропаганда в Хорватии франко-русского союза против германской экспансии в 60–70- гг. XIX в. // *Международные отношения в Центральной и Восточной Европе.* М., 1966.



© 2004 г. Л. Н. БУДАГОВА

ПО СТРАНИЦАМ КНИГИ ИВО ПОСПИШИЛА И МИЛОША ЗЕЛЕНКИ “РЕНЕ ВЕЛЛЕК И МЕЖВОЕННАЯ ЧЕХОСЛОВАКИЯ. К ВОПРОСУ О КОРНЯХ СТРУКТУРАЛЬНОЙ ЭСТЕТИКИ”

22 августа 2003 г. исполнилось сто лет со дня рождения Рене Веллека (Уэллека). Отзываясь на это событие, хотелось бы обратиться к книге чешских литературоведов, изданной университетом Масарика в Брно в 1996 г. (Pospíšil I., Zelenka M. “Rene Wellek a meziválečné Československo. Ke kořenům strukturální estetiky”), многое проясняющей в жизни и творчестве известного ученого. Книга эта вправе занять почетное место в библиографии работ о Р. Веллеке, а данный отклик на нее может рассматриваться как своевременная дань памяти столетнему юбилею.

Р. Веллек, прославившийся такими трудами, как “Теория литературы” (“Theory of literature”, в соавторстве с О. Уорреном, 1949, 3-е изд. 1963), последняя глава которой представляет переработанную статью 1936 г. “Теория литературной истории” (“The theory of Literary History”), “История современной критики 1750–1950” в четырех томах (“A history of modern criticism”, 1955–1966) и др., вошел в общественное сознание как “американский литературовед чешского происхождения” и лидер “американской школы компаративистов” – так о нем пишут во всех словарях. Одна из задач книги И. Поспишила и М. Зеленки – не посягая на этот высокий статус, вернуть Р. Веллека родным Пенатам, показать, что сын венского чиновника, большого чешского патриота, биографа Б. Сметаны, переводчика Я. Врхлицкого и Й.Св. Махара, связан с Чехией, куда Веллеки переехали в 1918 г., гораздо прочнее и глубже, чем может показаться. Веллек, написавший свои основные труды на английском, стажировавшийся и преподававший в университетах Англии и Америки, где он постоянно жил с 1939 г. и 10 ноября 1995 г. закончил свои дни, – чех не только по происхождению, но по воспитанию, образованию и духовной среде, его возрастившей. Выпускник Карлова университета, член Пражского лингвистического кружка – плоть от плоти чешской, и шире – средневропейской культуры, принявших самое активное участие в формировании его личности, круга интересов и взглядов.

Будагова Людмила Норайровна – д-р филол. наук, зав. Центром истории славянских литератур до 1945 г.

Это мнение тем актуальнее, чем очевиднее проявляющаяся на Западе и в Америке тенденция обходить – по незнанию – роль чешского литературоведения вообще и пражского структурализма в частности в становлении тех современных подходов к теории и истории литературы, которые олицетворяет Р. Веллек. “Опыт международных научных конференций показал, как мало знают в мире о литературоведении межвоенной Чехословакии, будто все существенное возникало только в России, Западной Европе или в Соединенных Штатах Америки”, – констатируют авторы (S. 5), подкрепляя свои выводы цитатой из статьи Л. Долежела “Пражская школа и постструктурализм”, опубликованной в журнале “*Česká literatura*” (1995, № 5): «Рецепция поэтики и эстетики пражской школы в Западной Европе и Северной Америке – пример культурного провинциализма и исторических искажений. Сейчас, вероятно, уже утратило смысл изречение *Slavika non leguntur*, но очевидно, что подавляющее большинство западных интеллектуалов не читает на славянских языках. Типичному западному теоретику литературы доступно лишь ограниченное число работ Пражской школы: либо те, что были написаны на одном из “мировых” языков (английском, французском или немецком), либо те, что были позже переведены. В этой ситуации Пражскую школу либо полностью игнорируют, либо имеют о ней весьма смутное представление. Первыми, кто проигнорировал наследие Пражской школы, были французские структуралисты» (S. 18).

Книга чешских авторов, раскрывающая – не из патриотизма, а истины ради – и национальные корни эстетики Веллека, и большую роль Пражской школы в развитии мировой литературоведческой науки, помогает сопротивляться подобным тенденциям. Главное в ней – глубокий и тщательный анализ того сложного культурного климата межвоенной Чехословакии, который во многом предопределил диалектическую сложность взглядов ученого, сумевшего преломить и интегрировать в своих трудах и подходах опыт разных литературоведческих школ (от биографических, “духоведческих” – до формальных, “технологических”), а также развернутая характеристика его взглядов и теорий, в частности теории литературной истории, которая тоже носила интеграционно-синтетический характер и была свободна от разного рода крайностей.

Книга, где анализируется много нового, труднодоступного и не публикованного ранее материала, построена не по хронологическому, а по проблемно-тематическому принципу. Названия глав определяют круг вопросов, связанных, во-первых, с генезисом взглядов Веллека (1. “На перепутье. Рене Веллек и некоторые генетические и типологические закономерности литературоведения 1920–1930-х годов” (И. Поспишил); 2. “На грани науки и искусства. К вопросу о генезисе и корнях литературоведческого метода Веллека” (М. Зеленка, как и все последующие главы); 3. “По поводу неоидеализма в чешской литературоведческой мысли. Рене Веллек и Фридрих Ницше”); во-вторых, с сутью его концепций (4. “Веллековская теория литературной истории в контексте чешской компаративистики. Структуральная эстетика и основы сравнительного метода”); в-третьих, с малоизвестными, как бы маргинальными сторонами его деятельности, однако прямо относящимися к чешским реалиям (5. “Рене Веллек и Карлов университет. Заметки на полях истории чешской компаративистики”; 6. “Рене Веллек и школа современного перевода О. Фишера”).

Одним из краеугольных камней эстетики и методологии Р. Веллека, делавшего упор на анализ художественных текстов, был чешский структурализм. Размышляя о его корнях, И. Поспишил солидаризируется с известным литературоведом Олегом Сюзом (1924–1982), считавшим генетическую схему “русский формализм – чешский структурализм” упрощенной и односторонней, поскольку в ней отсутствовало такое звено, как чешский формализм или, по-старому, “формизм” – течение в чешской критике конца XIX в., представленное работами Йозефа Дурдика (1837–1902) и Отакара Гостинского (1847–1910), где большое внимание уделялось “эстетике формы”. В связи с Веллеком игнорируются не только автохтонные корни Пражской школы, но целый комплекс разнородных импульсов и веяний, сплетавшихся в средневропейском культурном пространстве. Осмысляя их, нельзя – как справедливо полагает И. Поспишил – допускать противоположных крайностей: недооценки, с одной стороны, значения русской формальной школы, а с другой – “духоведческих” (duchovědných) течений, существовавших в Вене, Санкт-Петербурге, Варшаве, Берлине, Любляне, Праге и Брно. “В этом пространстве и рождалась своеобразная концепция Рене Веллека, которая своей английской ориентацией была связана с англосаксонской традицией, трактовала ее по-новому, нетрадиционно, и создавала предпосылки для дальнейшего синтеза” (S. 9).

Уже ранняя работа Веллека, написанная по-английски, “Эммануил Кант в Англии: 1793–1838” (1931), опубликованная в Праге как издание Принстонского университета, свидетельствовала о философских интересах автора, “с самого начала отделявших его от односторонне ориентированных технологических методов, впрочем, им не отрицавшихся” (S. 12). Другая ее особенность – компаративистские аспекты и темы. Реализуя их, Веллек по-новому “использовал традиционные подходы генетической компаративистики позитивистского толка, делая при этом упор на анализ подготовленности воспринимающей среды” (S. 12). Как в этом, так и в других исследованиях (в частности в эссе “Две традиции чешской литературы”, 1943) проявилось осознание Веллеком плюрализма и противоречивости литературного процесса и неприятие однозначных и односторонних взглядов на него.

Особое внимание И. Поспишил, один из крупнейших чешских русистов современности, уделяет отношению Веллека к русскому формализму. Веллек возражал против того, чтобы его с ним отождествляли, но никогда не отрицал роли этой школы в своем становлении как ученого. Интерес к ней был частью постоянного внимания исследователя к русской литературе, подчеркивает Поспишил, подкрепляя этот тезис малоизвестными сведениями о том, что в 1948 г. в Америке с предисловием Веллека вышли “Мертвые души” Гоголя, в том же году он написал статью о русских революционных демократах, потом отрецензировал книгу Вацлава Ледницкого, где сравнивались Россия, Польша и Запад, написал для “Comparative Literature” об английском переводе “Истории древнерусской литературы” Н.К. Гудзия. Однако сам Веллек в одной из ключевых своих работ “Concept of Criticism” (1963), на которой останавливается Поспишил и где подробно и критически разбираются русский формализм и Пражская школа, дает понять, что большую посредническую роль здесь сыграл Роман Jakobson. Именно он импортировал в Чехословакию формалистическую точку зрения на искусство, которую развил и применил на практике Я. Мукаржовский.

Русский формализм, существенно повлиявший на средневропейское мышление, Веллек считал технологическим течением, хотя “технология вовсе не была исходным началом для всех формалистов” (S. 19). Развертывая широкую панораму взглядов В. Жирмунского, Б. Томашевского, Ю. Тынянова, Б. Эйхенбаума, автор акцентирует те отступления от формализма, которые сближали с ними Веллека. Жирмунского, признававшего известный тезис В. Шкловского “искусство как прием” лишь в качестве метода анализа искусства, но не его однозначного толкования, роднит с Веллеком неформалистическая концепция эволюции стилей. Жирмунский считал, что здесь должна идти речь не о простых переменах художественных средств, а о направляющей эти перемены тенденции, ибо эволюция стиля, по его мнению, тесно связана с изменением всего мироощущения эпохи.

Из русских формалистов, полагает И. Поспишил, Веллеку был ближе других Б. Томашевский, отождествлявший поэтику с теорией литературы и отступавший от “технологической концепции”, в частности, в своих поисках неких доминант в жизни и развитии жанров. Добавим от себя, что именно Томашевский еще в 1925 г. провозгласил, что “формальный метод умер”.

В работах Ю. Тынянова, который, по мнению И. Поспишила, самым местом своего рождения в Витебской губернии (а Витебск – место деятельности не только Марка Шагала, но и Михаила Бахтина с его школой) заставляет вспомнить феноменологию, И. Поспишил выделяет статью 1927 г. “О литературной эволюции”. В ней развитие литературы рассматривается не как простая смена приемов, а как перемены в системе отношений между ними и обновление их функций. (Здесь Поспишил усматривает понятийную близость Тынянова к лексике Пражской школы, хотя, на наш взгляд, стоило бы оговорить независимую природу этой близости.)

Замечания к формализму были не только у Жирмунского или Тынянова, но даже и у относительно радикального “технолога” Б. Эйхенбаума, который прошел эволюцию от философского анализа литературы к формальному, чтобы затем “явно под идеологическим давлением”, как подчеркивает Поспишил, вернуться к классической истории литературы. Всегда тяготея к ней, он никогда полностью не отказывался и от “технологических” исследований. На примере Эйхенбаума Поспишил показывает мотивы обращения русских филологов к формальному методу, его последствия и причины ухода от него: «Технологические подходы представляли литературное произведение не как ноэтический хаос и безысходность, а как определенный порядок – жажда порядка и элементарной точности привела формалистов к тому, что они сознательно отбрасывали словесный балласт, который им оставила в России в наследство социологическая и культурно-историческая критика, часто связанная с политической утилитарностью (революционные демократы, народники). Тоска по живому контакту с материалом, с новыми текстами привела Эйхенбаума к попыткам создать новый синтез: он никогда не забросит технологических подходов, лишь включит их в более широкие рамки и вне-текстовые зависимости (в “литературный быт”)» (S. 24).

В круг людей, явно и неявно связанных с Веллеком или просто создававших среду, в которой формировалась его позиция, автор вводит Франка Вольмана, Романа Ингардена, Сергея Вилинского, Алоиса Августина Врзла, Михаила Бахтина, а углубляясь в прошлое – А.А. Потебню. Ф. Вольман в качестве метода сравнительного анализа славянских литератур использо-

вал “эйдологию” (анализ приемов), преодолевая тем самым “тематологический” уклон компаративистики и выступая как “сравнительный структуралист”. С Р. Ингарденом Веллека объективно связывали феноменологические тенденции, хотя они были недовольны друг другом. (Ингардену не понравилось, как Веллек представил его в “Теории литературы”, а Веллеку – реакция Ингардена на это.) С. Вилинский, специалист по древнерусской литературе, профессор и проректор Одесского университета, был учителем М. Бахтина, поступившего туда в 1913 г. с тем, чтобы позже перевестись в Петроград. После революции Вилинский эмигрировал сначала в Болгарию, затем в Чехословакию, где преподавал русскую литературу в Масариковом университете в Брно и в русском педагогическом институте в Праге. Поспишил подчеркивает, что используя, в частности, в книге о Салтыкове-Щедрине биографический и социологический подходы, он создает не эклектический, а синтетический метод, сочетая позитивистские пассажи об общественном контексте творчества писателя с морфологическим анализом. Не только положение иностранца, но и присущая его работам “религиозно-этическая надстройка, обусловленная предметом исследований (церковная литература)”, превращали ученого в своего рода аутсайдера чешской филологии, что сближало Вилинского с А.А. Врзалом, переводчиком с русского и других славянских языков, автором первой чешской “Истории русской литературы XIX столетия” (1891–1897), “Исторического обзора новой русской литературы” (1926) и т.д. Однако Вилинский и Врзал, хоть и стояли в стороне от доминирующих тогда научных течений, были неотъемлемой составной частью межвоенного литературоведения.

Устанавливая триаду “Бахтин – Ингарден – Веллек с добавкой в лице Вилинского”, автор подчеркивает типологический характер этих связей. Он отмечает роль Вилинского в исследованиях М. Бахтиным античной, средневековой и ренессансной литературы, полагая, что тот мог быть одним из их вдохновителей, видит в Бахтине последователя Гумбольдта и Потебни, представителя психологического метода, пишет о “столкновениях методологии Бахтина с методами русской формальной школы, причина которых и в разных корнях, и в том, что Бахтин считал артефакт эстетическим объектом, комплексом эстетических связей, а не суммой меняющихся приемов” (S. 30).

Все вышесказанное, весь впечатляющий обзор разных концепций и взглядов русских, чешских, польских литературоведов делает вполне аргументированным основной вывод И. Поспишила: “Корни оригинальных подходов самого Рене Веллека... восходят к средневропейскому культурному пространству и лежат где-то между неоидеализмом, психологизмом, духоведением и формистскими и формальными подходами, соединившимися в структурализме Пражской школы, т.е. между методами и ходами, которые уже изначально не противоречили друг другу, как могло показаться на первый взгляд: они взаимопроникали, пронизывали и оплодотворяли друг друга даже в пределах творчества одного ученого. Веллек и его путь, отразившие эту сложность, прекрасное тому свидетельство” (S. 31).

Сложность контекста, в котором формировались взгляды Веллека, влияла и на характер его концепций, в частности на синтетизм, а точнее – диалектичность особо интересующей нас “теории литературной истории”, глубоко проанализированной М. Зеленкой, соавтором И. Поспишила.

Веллек начал систематически работать над ней в 1930-е годы. Стимулом послужило разочарование в существовавшей литературной историографии, которая, как ему казалось, перестала быть наукой и превратилась в утилитарную эссеистику, свод библиографических сведений, обзор общественно-исторических событий, литературных жанров и стилей. Веллек, участник Пражского лингвистического кружка, попробовал критически применить положения структурализма к исследованию литературного процесса. Во многом он был близок Мукаржовскому. Тот в работах начала 1930-х годов рассматривал историю литературы «как непрерывное “самодвижение” (Selbstbewegung), подчиняющееся имманентным законам своей структуры и ее эволюционного ряда» (S. 66). При этом Мукаржовский не абстрагировался и от воздействий на эти имманентные структуры социальной действительности, что давало повод критиковать его за методологическую непоследовательность. Примечательно, что Веллек, поддерживая Мукаржовского в целом, упрекал его за отсутствие исторического подхода к реконструкции линии развития поэтических структур. Мудрый Ф.Кс. Шальда определил концепцию Мукаржовского как “литературоведческий синтез формального метода с социологическим”, что, на наш взгляд, можно отнести и к Веллеку, которого тоже, и это видно даже из материала книги, критиковали за непоследовательность методологии. Только состав слагаемых, задействованных в концепциях Веллека, был, пожалуй, богаче, чем у Мукаржовского.

В отличие от Мукаржовского, отделявшего литературоведение от критики и представлявшего историю литературы как объективную регистрацию движения, Веллек предусматривал необходимость отбора, интерпретации и оценки материала, т.е. как бы соединяя научный анализ с критическим и не отказываясь от аксиологии. “Кардинальный вопрос, без которого, возможно, и нет литературной истории, это – что считать литературой, т.е. вопрос оценки” (Веллек) (S. 74). Кроме того, если Мукаржовский строил свои теории на анализе чешской литературы и скептически относился к компаративизму, то Веллек, исследовавший в первой же своей книге “Эммануил Кант в Англии: 1793–1838” немецко-английские культурно-философские связи, был его горячим сторонником. Но они сходно понимали историю литературы как постоянную борьбу статичных, нормотворческих и динамичных инновационных начал.

Они были заодно и в нежелании отделять литературу от социально-исторического контекста и видеть в ее автономном развитии “лишь каузальный ряд иррациональных изменений”. “Нет ничего изолированного, и поэзия – пусть даже она развивается из самой себя – все равно подвержена прямым воздействиям других рядов культуры” (Веллек). Он считал, что история литературы не может уйти от изучения истории идей, поскольку в анализе произведения важным показателем является не только эстетическая функция знака, но и то, кто его сотворил, т.е. творческая личность как выразительная часть знака. Идею или мировоззрение поэтому нельзя отдавать на откуп социологии литературы; у нее есть свое развитие, своя имманентность в рамках структуры художественного произведения. Такое расширение понятий (за счет творческой личности, идеи – поясняет Зеленка мысль Веллека), позволило бы включить в историю искусства и литературы две легитимные проблемы: проблему психологии и проблему мировоззрения (Веллек). В рецензии на книгу В. Шкловского “Теория прозы” он писал: “Художественное произведение помимо своей художественности, которая должна быть в центре исследований, является

также фактом социальным; и мне непонятно, почему нельзя изучать художественное произведение в его отношении к социальной среде, к личности и психологии автора, к развитию идей и мировоззрений” (S. 76).

Однако, учитывая эти факторы, Веллек принципиально дистанцируется в своей “The Theorie of Literary History” (1936) от позитивизма и биографизма, от ригористического отождествления истории литературы с историей идей или культуры. В центре внимания – художественная ценность произведения, которое рассматривается как сложный организм с целым рядом слоев, значений, внутренних связей, как “система интересубъективных норм, которая далеко не полностью конкретизируется отдельными читателями” (S. 79).

От Веллека, чья литературоведческая позиция закономерно признана “центристской”, автор протягивает нити к трудам Й. Грабака, М. Бакоша, Ф. Водички, закрепляя тем самым его связи с отечественным литературоведением, которое было не только одним из истоков его взглядов, но и объектом их прямого влияния.

Мы остановились лишь на некоторых аспектах содержательной и сложной, как и сам материал, книги чешских литературоведов. Она завершается снимками из семейного альбома ученого, архивными документами и несколькими его интервью (1990–1992) с американским германистом чешского происхождения Петером Деметцом. Вот несколько разрозненных – в стиле разговорного жанра – выдержек оттуда.

Когда зашла речь о том, как рано Веллек стал заниматься компаративистикой, он сказал, что сначала и не помышлял об этом, а хотел стать профессором английской литературы, и лишь попав на стажировку в Америку, где ему пришлось читать курс лекций о современном романе и вести семинар по англо-немецким связям, он стал интересоваться теорией сравнительного литературоведения, видя в нем не особую дисциплину, а единственно верный способ изучения любой литературы: «...Я был твердо уверен, что литературы нельзя изучать изолированно, что идеи обособленных филологий устарели... Я всегда утверждал, что “сравнительное” – это лишнее прилагательное, закостеневшее и превратившееся в условность» (S. 119).

Интервью отразило резкое неприятие модного нынче деконструктивизма, который Веллек считал “разрушителем литературных исследований”: “Когда человек отрицает, что есть такая вещь, как текст, имеющий какое-то значение, который можно описать и растолковать, он отказывается от изучения литературы и открывает путь произволу” (S. 120).

А вот как Веллек ответил на кардинальный для него вопрос о том, какие идеи Пражского лингвистического кружка оказали на него наибольшее влияние: «Думаю, что концепцию целостности художественного произведения, его Ganzheit, Struktur, я понял именно в Пражском лингвистическом кружке. Именно тогда в Прагу попало понятие “структурализм”, ясно, что *структура* – чужое для славянских языков слово; оно не имеет никакой связи со строением, как в английском. Так, думаю, она была понята и в Пражском лингвистическом кружке. То есть *структура* как целостность, но не как униформа, а как целостность, наполненная противоречиями. Я чувствовал, что лингвистический кружок учит меня серьезно думать о методологических проблемах и вопросах, вопросах, так скажем, философских. Что такое художественное произведение? Как оно живет? Зачем? И наконец, почему это нас интересует? Почему мы изучаем такие предметы, как художественные произведения? Думаю,

что все пражские лингвисты были убеждены, что помимо всего этого, помимо личностного “я”, существуют структуры, которые можно изучать и анализировать, и эти структуры составляют обширную группу, которая существует в истории, и историю которой можно проследить» (S. 130).

Деметц не мог не затронуть тему “новой критики” в разговоре с человеком, которого в США не раз называли “отцом новых критиков”. Оказалось, что если Веллек и признает свое с ними родство, то очень дальнее, фактически отказываясь от отцовства: «Не думаю, что я на самом деле был согласен с принципами “новой критики” или “нового литературоведения” так, как их понимал, к примеру, К. Брукс. Но как преподаватель я этому всегда симпатизировал. Здесь есть мысль, что лучше читать тексты, чем добывать информацию об истории литературы, как это было до 1940 г. В таком городе, как Йель это была настоящая революция, что студенты вдруг сами захотели читать стихи вместо того, чтобы довольствоваться тем, как смотрели на них Карлейль, Браунинг и другие» (S. 130).

Первая и единственная монография чешских исследователей о своем знаменитом соотечественнике многое дает для понимания не только взглядов Веллека в их истоках, становлении и динамике, но и всего того, что во многом определяет современную науку о литературе. Эта книга полезна каждому литературоведу независимо от его личных пристрастий. Со своей стороны подтверждающая высокий уровень чешского литературоведения, она, бесспорно, заслуживает более широкой читательской аудитории, чем та, что составляют люди, владеющие родным языком авторов книги.



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Славяноведение, № 1

T.G. MASARYK. Spisy. Sv. 21: Parlamentní projevy (1891–1893). Praha, 2001. 451 S.

T.G. MASARYK. Spisy. Sv. 29: Parlamentní projevy (1907–1914). Praha, 2002. 694 S.

Т.Г. МАСАРИК. Сочинения. Т. 21: Парламентские речи (1891–1893)

Т.Г. МАСАРИК. Сочинения. Т. 29: Парламентские речи (1907–1914)

В 2001–2002 гг. Институтом Т.Г. Масарика Академии наук Чешской республики были выпущены два очередных тома Сочинений Т.Г. Масарика, объединившие в себе парламентские речи этого чешского политика за периоды с 1891 по 1893 гг. и с 1907 по 1914 гг. (Ранее в этой серии вышли: т. 1 “Самоубийство”, т. 2 “Основы конкретной логики”, т. 3 “Попытка конкретной логики”, т. 6 “Чешский вопрос. Наш современный кризис. Ян Гус”, т. 7 “Карел Гавличек”, т. 8 “Современный человек и религия”, т. 9 “Социальный вопрос, I”, т. 10 “Социальный вопрос, II”, т. 11 “Россия и Европа, I”, т. 12 “Россия и Европа, II”, т. 13 “Россия и Европа, III”, т. 16 “Юношеские произведения, 1876–1881”, т. 17 “Лекции и статьи, 1882–1884”, т. 35 “Дорога демократии, III, 1924–1928”, т. 36 “Дорога демократии, IV, 1926–1936”). Данные публикации включили речи, произнесенные и написанные будущим президентом Чехословацкой республики в годы его участия в работе австрийских и чешских представительских органов – палаты депутатов австрийского рейхсрата, австро-венгерских делегаций и чешского земского сейма.

Т.Г. Масарик трижды избирался депутатом австрийского рейхсрата: в 1891–1893 гг. (первый мандат, выдвинут как член Партии младочехов, 1893 г. отказался от мандата в связи с несогласием с линией партии) и 1907–1911, 1911–1914 гг. (второй и третий

мандаты, избирался как лидер Чешской прогрессивной партии). В 1892–1893 гг. он также являлся депутатом земского сейма от избирательного округа Страконице-Сушице-Водняны (был избран подавляющим большинством голосов: 449 из 457 явившихся на избирательные участки). В годы работы в земском сейме этот политик принимал участие в деятельности двух парламентских комиссий – общественных работ и школьной. Во время своего первого депутатского срока в рейхсрате Т.Г. Масарик входил в два парламентских комитета – по избирательной реформе и по урегулированию юридического и государственно-правового обучения и государственных экзаменов, в течение второго – в комитеты по бюджету, школьному вопросу, депутатским мандатам и по обсуждению национальных вопросов.

Во время обоих депутатских сроков в рейхсрате Т.Г. Масарик неоднократно (в 1892, 1893, 1910, 1910–1911, 1911–1912, 1912 гг.) избирался в числе других чешских (богемских) и моравских депутатов в так называемые австро-венгерские делегации – специфические совместные заседания депутатов австрийского и венгерского парламентов, собиравшиеся для обсуждения важнейших политических вопросов, подлежащих совместному ведению двух государств. Важно отметить, что наряду с Т.Г. Масариком в заседаниях делегаций принимали участие такие видные чешские политики, как

К. Крамарж, В. Клофач, Ф. Удржал, что свидетельствует о весьма значительном месте, которое занимал этот политик в парламенте.

В работе над данным изданием приняли участие ведущие чешские специалисты, в том числе Э. Броклова, В. Доубек, З. Карник, М. Кучера, Я. Опат, Й. Тихи и др. Главным редактором издания стал Й. Брабец. Сборники были подготовлены на основе опубликованных парламентских материалов, протоколов заседаний (непосредственно стенографических протоколов заседаний рейхсрата и заседаний делегаций рейхсрата, а также дополнений к стенографическим протоколам) и документальных материалов отдельных парламентских организаций.

Оба тома имеют общую структуру с незначительными отличиями. Том 21 состоит из введения, трех основных частей – “Речи Т.Г. Масарика в земском сейме”, “Речи Т.Г. Масарика в рейхсрате”, “Речи Т.Г. Масарика на заседаниях делегаций рейхсрата”, заключения, перечня использованных сокращений и алфавитного указателя персоналий. Основные главы дополнены общим перечнем документов, не составленных лично, но подписанных Т.Г. Масариком. Том 29 состоит из двух основных частей – “Речи Т.Г. Масарика в рейхсрате”, “Речи Т.Г. Масарика на заседаниях делегаций рейхсрата”. Главным отличием этого тома от описанного выше является наличие обширного комплекса текстов, объединенных составителями под названием “Дополнения”. Сюда включены следующие части: “Сообщения комитета депутатского иммунитета”, “Прижизненные издания парламентских речей Т.Г. Масарика”, «Дополненный текст к тому 21 “Речь во время выборов в комитеты делегаций”» (Т. 21. С. 61–65), а также перечень текстов, в число подписантов которых вошел и Т.Г. Масарик.

Введения к обоим томам имеют общую структуру и содержат краткую информацию о деятельности чешского политика в представительских учреждениях за указанные периоды. В эти краткие обзоры включены сведения об избрании Т.Г. Масарика в сейм, рейхсрат и делегации, о его работе в различных парламентских комиссиях. В том числе указаны округа, в которых Т.Г. Масарик выставлял свою кандидатуру на выборы, число голосов, которым он был избран, и т.д.; в информации о парламентских комиссиях приводятся сведения об их образовании – дата, количество членов, имя председателя, дата избрания Т.Г. Масарика членом комиссии. В целом введения дают весь

необходимый фактографический материал по истории деятельности Т.Г. Масарика в качестве депутата представительских органов.

Основная часть тома 21 начинается с раздела, включающего речи Т.Г. Масарика, произнесенные им на заседаниях богемского земского сейма в период с 3 марта по 12 апреля 1892 г. (6 речей), затем следует комплекс речей, произнесенных в палате депутатов австрийского рейхсрата за период с 20 мая 1891 г. по 11 марта 1893 г. (33 речи и 5 интерpellаций), далее – речи Т.Г. Масарика на заседаниях парламентских делегаций 18–19 сентября и 27 октября 1892 г., 14, 15, 16 и 19 июня 1893 г. (6 речей).

Раздел “Речи Т.Г. Масарика в рейхсрате” тома 29 включает 19 его речей в палате депутатов австрийского рейхсрата за период с 20 июля 1907 г. по 26 мая 1913 г. и 63 текста интерpellаций, предложений, срочных предложений и запросов (с 12 июля 1907 г. по 23 декабря 1913 г.). В следующий раздел – речи на заседаниях делегаций – вошли 12 выступлений этого политика на заседаниях делегаций и одна интерpellация за период с 8 ноября 1910 г. по 20 ноября 1912 г.

Каждая из речей в обоих томах предваряется датой заседания и его номером, номером сессии, кратким введением с указанием председателя, некоторых из присутствующих (в первую очередь, высших должностных лиц, например, наместника Богемии князя Туна-Гогенштейна), темы заседания, роли в нем Т.Г. Масарика. Затем, как правило, следует непосредственно название речи согласно теме обсуждения (например, “Предложение депутатов Яна Кафтана, Томаша Масарика и др. по улучшению водных и железнодорожных коммуникаций и речного хозяйства в Чешском королевстве” – речь от 3 марта 1892 г. (Т. 21. С. 15)). Отдельные речи оставлены в основном тексте без названий, однако их тематике легко определить по названиям, данным редактора и приведенным в оглавлении.

Важно отметить, что составители сборника по возможности попытались сохранить дух стенографических отчетов, а потому в тексте приводится реакция зала на слова оратора (реплики даются в скобках, курсивом), что позволяет воссоздать живую картину парламентских заседаний. Кроме того, подобные вставки позволяют проследить ход полемики между депутатами по самым различным вопросам.

Тематика опубликованных выступлений многопланова – это социально-экономические, политические, культурные, внешнепо-

литические проблемы, касающиеся как внутренней жизни Чешских земель, так и всей Цислейтании. В сфере экономики Т.Г. Масарик неоднократно затрагивал вопросы внутреннего транспортного сообщения в Чешском королевстве, экономической политики Австро-Венгрии в целом. Не один раз он обращался к проблемам культуры: чешского школьного дела и австрийской образовательной системы в целом (свободы школьного дела, реформ средней школы, юридического образования). Интересно отметить, что во многих речах этого политика по школьному вопросу за период 1907–1914 гг., отличающихся особой яркостью, отстаивается свобода науки и ведется борьба с клерикализмом в духе программы Чешской прогрессивной партии (Т. 29. С. 48, 64, 75, 108).

В сфере внутренней политики, на наш взгляд, выступления Т.Г. Масарика можно разделить по тематическому признаку на две части – касающиеся непосредственно жизни Чешских земель и их отношений с Веной, и те, в которых говорилось об общевосточных политических проблемах.

В первой группе подавляющее большинство речей посвящено вопросам государственного исторического права, национализма, урегулирования чешско-немецких отношений (например, введению пунктуаций в 1892 г. – с жесткой критикой их реализации и политики старочехов в целом (Т. 21. С. 31), положению чешских меньшинств в немецких округах Богемии. Большое количество речей, в которых затрагиваются проблемы чешского государственного исторического права, немецкого национализма и различные аспекты чешско-немецкого вопроса, свидетельствуют о действительной остроте противостояния этих двух народов в Богемии и Чешских землях в целом и позволяют выделить основные спорные вопросы. Выступления по этим проблемам в целом отличаются резкостью высказываний, ирония, переходящая в язвительность.

Вторая группа речей в количественном отношении меньше, чем первая, и более разнородна по содержанию. Так, в них затрагиваются проблемы централизации, парламентаризма, национальный и славянский вопросы в целом и т.п.

Массив выступлений по внешнеполитическим сюжетам сосредоточен в обоих томах в главах “Речи Т.Г. Масарика на заседаниях делегаций рейхсрата”. Они крайне интересны тем, что в них затрагиваются практически все ключевые вопросы внешней политики Австро-Венгрии за указанные

периоды. В рассматриваемом разделе тома 21 содержатся речи, касающиеся административного управления Боснией и Герцеговиной, внешней политики Австро-Венгрии в рамках Тройственного союза и др. В том 29 вошли выступления Т.Г. Масарика, посвященные аннексии Боснии и Герцеговины, росту вооруженных сил Австро-Венгрии, развитию Тройственного союза, балканской политике Австро-Венгрии. Эти речи отличает острая критика австро-венгерского внешнеполитического курса в целом, Тройственного союза с точки зрения места и роли в нем Австро-Венгрии, политики министра иностранных дел в 1906–1912 гг. графа Эренталя (очень интересна короткая, но выразительная речь от 24 февраля 1911 г. по вопросу о доверии Эренталю, содержащая невероятно резкую критику его политики и обвинения в адрес других депутатов в доверии этой политической линии. (Т. 29. С. 459)).

Как уже говорилось, специальное внимание составители уделили интерpellациям и предложениям Т.Г. Масарика. Ознакомление с ними позволяет расширить непосредственное представление о различных проблемах внутренней жизни Австро-Венгрии (в том числе Чешских земель), понять отношение к ним и к различным актам венского центра чешских политиков. Необходимо отметить, что большая часть интерpellаций, помещенных в томе 29, касается конфискации различных чешских газет и других печатных изданий. В том числе, в тексте запросов приведены отдельные выдержки из конфискованных печатных изданий. Это представляет особый интерес, так как анализ их содержания позволяет сформировать представление о наиболее “болезненных” для центральных структур моментах в жизни Австрийской империи.

Как говорилось выше, том 29, помимо основных разделов, содержит также обширный массив текстов, обозначенных составителями как “Дополнения”. Он состоит из пяти подразделов. Первый – “Сообщения комитета по депутатскому иммунитету” – включает три жалобы на Т.Г. Масарика от чиновников пражского магистрата с просьбой о защите чести (все они были отклонены). Тексты жалоб, приведенные на немецком языке, снабжены краткими комментариями, в которых указывается дата их подачи и рассмотрения в палате депутатов, присутствовавшие при рассмотрении высокие чиновники.

Во втором разделе, “Прижизненные издания речей Т.Г. Масарика”, приводятся

сведения о времени и месте издания текстов выступлений, различиях между ними в первичных изданиях и приведенными в данном. Помимо этого, для каждой из речей раздела указываются текстовые перемещения, сделанные составителями при обработке материала, и тексты, которые по той или иной причине не вошли в основную часть тома, но были, например, включены в прижизненное издание.

Далее в томе 29 содержится текст речи “К ходу выборов в комитеты делегаций” от 25 мая 1893 г., являющийся дополнением к тому 21.

Затем, аналогично тому 21, следует список документов рейхсрата и делегаций рейхсрата, подписанных в том числе Т.Г. Масариком.

Оба тома завершает понятийный аппарат и заключения, в обоих случаях написанные В. Доубеком и комментирующие тексты и структуру томов.

Данные сборники речей выдающегося чешского политика являются, безусловно, ценным источником материалом для исследователей самых различных направлений: деятельности Т.Г. Масарика, истории Чешских земель, Австро-Венгрии в целом. Внимательный анализ приведенных в изданиях парламентских материалов позволяет не только составить представление о политических убеждениях и тактике Т.Г. Масарика, но может быть и основой для исследования непосредственно парламентской жизни Цислейтании конца XIX – начала XX в.

Сохранение стенографической структуры позволяет взглянуть на непосредственные отношения между чешскими и австрийскими политиками, отразившиеся в полемике. Немаловажно и то, что тематика опубликованных речей отражает наиболее серьезные, коренные проблемы и изменения австрийской жизни и отношение к ним отдельных партий чешского лагеря. Нель-

зя забывать о том, что депутатские мандаты Т.Г. Масарик получал не как независимый депутат, а как член партии – сперва младочешской, а затем прогрессивной, т.е. он являлся облеченным доверием представителем вполне определенной политической группировки и действовал в ее идеологическом русле. Анализ его речей с этой точки зрения дает возможность показать отношение данных партий к различным вопросам жизни Габсбургской империи. Наряду с этим, ознакомление с авторскими текстами речей Т.Г. Масарика, не подвергнутыми дополнительной редакторской обработке, с сохранением стилистических и существенных нюансов, уточняет характеристику его как политического деятеля и как личности.

Для исследователей истории Чехии особенно важны речи, затрагивающие чешско-немецкие отношения. В них кристаллизуется взгляд будущего президента на вопрос об урегулировании взаимоотношений чехов и немцев в Австро-Венгрии и Чешских землях. Они свидетельствуют о формировании им более завершенной концепции принципов взаимодействия с немецким меньшинством.

Материалы сборников дают насыщенную информацию об экономическом состоянии Чешских земель и Цислейтании, в том числе и статистическую.

Наконец, необходимо сказать, что данное издание предоставляет богатый фактический материал для исследования истории Австро-Венгрии и Чехии. В нем встречаются и упоминания о малоизвестных событиях, оказавших влияние на политическое развитие данных территорий и дополняющих общую картину развития Цислейтании и Чешских земель в конце XIX – начале XX в.

© 2004 г. Н.В. Седова

Славяноведение, № 1

Chopin w kulturze rosyjskiej. Antologia. Warszawa, 2000. 238 S.
Шопен в русской культуре. Антология

Фридерик Шопен, в отличие, к примеру, от Р. Шумана или Ф. Листа, никогда не был в России. После разгрома восстания 1830–

1831 гг. он не вернулся и во входившую в состав Российской империи часть Польши, где прошла его юность, и навсегда остался за

границей. Характерно, что в новом фильме польского режиссера Ежи Антчача “Шопен. Жажда любви” (2001) Россия в жизни великого композитора ассоциируется лишь с солдатами, терзающими его фортепьяно в родительском доме, да с деспотичным и грубым цесаревичем Константином, которому он в молодости принужден был играть.

Эти образы исторически реальны, но они не могут, однако, заслонить собой главного – глубокого, многостороннего воздействия творчества Шопена на русскую культуру. Недаром в течение многих лет в мире считалось образцовым вышедшее в конце XIX в. в России в издательстве П. Юргенсона шеститомное издание его произведений. Недаром именно русский композитор М. Балакирев приложил усилия к тому, чтобы увековечить память Шопена в Польше: по его инициативе в Желязовой Воле в 1894 г. был открыт обелиск. Показательными являются и успехи российского шопеноведения в XX в. Так, фундаментальная монография И. Бэлзы о Шопене неоднократно переиздавалась как в России, так и в Польше. Наиболее полным стал русский вариант собрания писем Шопена, переведенных и откомментированных Г. Кухарским и С. Семеновским.

Обо все этом напоминает польская антология “Шопен в русской культуре”, составленная Г. Висьневским. Им осуществлена подборка текстов, выполнен перевод и написана вступительная статья, затрагивающая многообразные аспекты темы “Шопен и Россия”. В антологию вошли высказывания о Шопене деятелей русской культуры – композиторов и писателей, музыкальных критиков и пианистов. Выстроенные в хронологическом порядке, начиная с 30-х годов XIX в., когда музыка польского гения только становилась известной в России, и кончая нашим временем, они дают возможность проследить, как менялось восприятие творчества Шопена на протяжении нескольких эпох и какое влияние оно оказывало на развитие русской культуры.

В поле зрения читателя оказываются история исполнения Шопена в России и отзывы о нем музыкальной критики. Самые первые из них найдены составителем в “Северной пчеле”, “Сыне Отечества”, “Библиотеке для чтения”. Их авторы – В. Боткин, М. Резвой, О. Сенковский – подчеркивают формальное новаторство музыки Шопена. Более

глубокая оценка его творчества на рубеже 1850–1860-х годов связана с подъемом национальной школы русской музыки по деятельности “Могучей кучки”. Об этом свидетельствуют собранные в антологии высказывания ведущих российских критиков В. Стасова и А. Серова, создателей отечественной традиции исполнения музыки Шопена М. Балакирева и Антона Рубинштейна (он посвятил Шопену ряд лекций по истории фортепьянной музыки), автора навеянной национальными мотивами творчества Шопена оперы “Пан воевода” Н. Римского-Корсакова.

Особый интерес представляют приведенные в книге во фрагментах дневника А. Гольденвейзера оригинальные суждения Л.Н. Толстого о Шопене, а также очерк А. Луначарского “Культурное значение музыки Шопена” (1910), в котором автор приравнивает его полонезы к высшим творениям народного гения, как “Библия, песни Гомера, Калевала” (S. 122). Не обойдено вниманием и то, как творчество Шопена отразилось в русской поэзии: стихах И. Мятлева, А. Фета, А. Ахматовой, Б. Пастернака, которому принадлежит также прозаическое эссе о Шопене.

Антология демонстрирует и “присутствие” Шопена в русской культуре в советскую эпоху. В ней помещены фрагменты, отражающие развитие отечественного шопеноведения, в том числе тексты о Шопене в Большой Советской и Музыкальной энциклопедиях, высказывания о нем композиторов В. Асафьева, Д. Шостаковича, Д. Кабалевского и выдающихся исполнителей его музыки К. Игумнова, Г. Нейгауза, В. Софроницкого. Приводятся также воспоминания участников о конкурсе имени Ф. Шопена в Варшаве. Большинство подобных текстов найдено Г. Висьневским в российских газетах и журналах, некоторые же из них – как, например, высказывания Э. Денисова или Б. Покровского – записаны им в результате личного интервью.

Представляется, что книга, адресованная, в первую очередь, польскому читателю, внесет свой вклад как в развитие знаний о взаимодействии польской и русской культур, так и в само это взаимодействие.

© 2004 г. *Н.М. Филатова*



Памяти Астры Генриховны Пиотровской (1924–2003)

27 мая 2003 г. ушла из жизни известная российская полонистка Астра Генриховна Пиотровская, исследователь польской литературы XIX–XX вв.

А.Г. Пиотровская родилась 2 апреля 1924 г. в Ленинграде в семье военнослужащего. Закончила школу в Москве в 1941 г., в первые годы войны работала медсестрой на фронте, затем в 1943 г. поступила в мединститут. В 1944 г., узнав об открытии специализации по польскому языку и литературе на славянском отделении филологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, сдала вступительные экзамены на это отделение, которое закончила в 1949 г. Это был первый в МГУ выпуск полонистов. Сокурсниками А.Г. Пиотровской были также получившие известность в славистике И.К. Горский, И.Л. Курант, М.И. Конева. Тема дипломной работы А.Г. Пиотровской – «Евгений Онегин» и «Пан Тадеуш» А. Мицкевича – поэзия реальной действительности» (научный руководитель проф. Д.Д. Благой).

Осенью 1949 г. А.Г. Пиотровская поступила в аспирантуру филологического факультета МГУ, под руководством проф. В.Т. Дитякина работала над кандидатской диссертацией по проблемам послевоенной польской литературы, защитила ее в 1953 г. уже будучи младшим научным сотрудником Института мировой литературы им. Горького АН СССР. Вспоминаю, что на этой защите присутствовали первые в МГУ польские гости, известные писатели Мария Домбровская, Анна Ковальская и Юлиан Стрыйковский (мне довелось их принимать тогда на факультете в качестве зав. кафедрой славянских литератур). В ИМЛИ Академии наук А.Г. Пиотровская успешно работала до 1987 г.

В 1962 г. вышла монография А.Г. Пиотровской «Творческий путь Марии Конопницкой». В Польше очень ценили Астру Генриховну как специалиста по творчеству этой поэтессы и новеллистки. Я помню, с каким уважением принимали ее доклады на больших международных конференциях, посвященных Марии Конопницкой в Ланьцуте (1960) и Калише (1970).

Много внимания уделяла Астра Генриховна творчеству классика польской литературы XX в. Леона Кручковского. Ее монография «Леон Кручковский. Жизнь и творчество», вышедшая в 1977 г., также получила высокие оценки российских и польских специалистов.

Астра Генриховна активно интересовалась современным литературным процессом в Польше, об этом свидетельствуют ее многочисленные статьи о польской литературе периода Второй мировой войны, о творчестве В. Броневского, Ю. Тувима, С. Дыгата, С.Р. Добровольского, Е. Брошкевича, Г. Морцинека, И. Неверли, М. Жулавского, Т. Новака, Ю. Ковальца, З. Посмыш и других современных писателей. В 1979 г. в издательстве «Наука» вышла ее третья монография «Художественные искания современной польской литературы. Проза и поэзия 60–70-х годов».

Многие работы А.Г. Пиотровской публиковались в Польше. Их обзор, а также общую информацию о ее научных трудах дает проф. Б. Бялокозович как редактор большого тома «Советская полонистика» (Варшава, 1985) в своем предисловии к вошедшей в эту книгу работе А.Г. Пиотровской «Русская и советская литература в творчестве Леона Кручковского».

В 1985 г. А.Г. Пиотровская была принята в Союз писателей.

Многочисленные работы Астры Генриховны являются ценным вкладом в российское славяноведение. Они показали и ее одаренность как исследователя, и ее настоящее уважение, любовь к польской культуре. Их изучают студенты-полонисты и все интересующиеся польской литературой – а это самая большая память, которую может оставить по себе ученый.

Памяти Александры Григорьевны Широковой (1918–2003)

22 апреля 2003 г. ушла из жизни А.Г. Широкова.

Известие о ее кончине отозвалось болью в сердцах ее многочисленных учеников и коллег, всех тех, кто когда-либо близко соприкасался с этим ярким, талантливым человеком, оставившим большой след в развитии отечественной славистики.

В историю славистики А.Г. Широкова вне всякого сомнения войдет прежде всего как создатель советской – а позднее российской – школы богемистики. В этом ее огромная заслуга, значимость которой трудно переоценить.

А.Г. Широкова родилась 28 октября 1918 г. в г. Москве. Филологическое образование она получила в Московском педагогическом институте им. В.П. Потемкина. Здесь же она прошла и курс аспирантуры по специальности “славянские языки” под руководством таких выдающихся ученых, как А.М. Селищев и Р.И. Аванесов.

В 1943 г. А.Г. Широкова начала работать на кафедре славянской филологии филологического факультета МГУ, ставшего на многие годы ее родным домом. Это был перюд, когда в нашей стране остро ощущалась нехватка специалистов по славистике (как известно, в годы репрессий славистические кадры в значительной степени были уничтожены).

Научная и педагогическая судьба А.Г. Широковой сложилась на редкость счастливо. Она сумела реализовать данные ей природой возможности: острый живой ум, яркий темперамент, педагогический дар, любознательность.

В 1945 г. ею была успешно защищена кандидатская диссертация “Восточнославянские говоры Земплинско-Унгского комитата”, в 1968 г. состоялась защита докторской диссертации “Многочисленные глаголы в чешском языке”, в которой рассматривались возникновение, развитие, функционирование данной категории, ее отношение к глагольному виду. Этой чрезвычайно важной теме посвящен ряд ее статей, имевших большой научный резонанс.

В 1948 г. А.Г. Широкова получила звание доцента, в 1970 г. – профессора, в 1987 г. – заслуженного профессора МГУ. Научно-организационный талант А.Г. Широковой в полной мере проявился, когда она возглавила кафедру славянской филологии. В этой должности она проработала двадцать лет (1971–1991).

А.Г. Широкова старалась приглашать для чтения лекций наиболее интересных зарубежных ученых, окружала вниманием иностранных лекторов. С редким гостеприимством, радостью и сердечностью она принимала у себя дома как коллег, так и зарубежных гостей.

Изучение языка и культуры чешского народа стало главным смыслом жизни А.Г. Широковой, ее трепетной любовью. В своей деятельности она стремилась популяризировать в нашей стране достижения чешской науки – сошлемся в этой связи на подготовленный ею сборник “Языкознание в Чехословакии” (Москва, 1978 г.).

Многочисленно бывала она в Чехословакии, выступала с докладами на ответственных форумах, в частности на Лингвистическом объединении Чешской академии наук. Являясь членом правления Общества чехословацко-советской дружбы, она много сил и времени отдавала укреплению добрых отношений между нашими народами.

Заслуги А.Г. Широковой в развитии богемистики были отмечены научной общественностью Чехословакии. В 1979 г. она получила высокое звание почетного доктора Карлова университета; в 1983 г. – медаль за научные заслуги и укрепление дружбы между советским и чехословацкими народами. Ее имя широко известно и в других славянских странах.

Основное поле профессиональной деятельности А.Г. Широковой – ее педагогическая работа. Трудясь в МГУ, она вела практические занятия по чешскому языку, читала многочисленные спецкурсы, в том числе “Историю и диалектологию чешского языка”, “Теоретическую грамматику современного чешского языка”, “Сопоставительную грамматику чешского и словацкого языков”, “Обиходно-разговорный чешский язык”. А.Г. Широкова самоотверженно работала с аспирантами, многие из которых стали впоследствии кандидатами и докторами наук. Выступала она и в качестве оппонента на защитах диссертационных исследований. Будем надеяться, что начатое ею дело получит дальнейшее развитие в трудах ее учеников и последователей, для которых она всегда была не только строгим и требовательным наставником, но и заинтересованным другом.

Александра Григорьевна была превосходным преподавателем, пользовавшимся неизменной любовью у студентов. Приведем высказывания бывших студентов А.Г. Широковой (1950–1955) в недавно вышедшей книге “Филологический факультет МГУ 1950–1955” (М., 2003): “Самая яркая, интересная и интенсивная жизнь была на занятиях по чешскому языку, ко-

торые вела А.Г. Широкова – человек недосягаемо энергичный, жизнерадостный и грозный – попробуй не приготовь у нее домашнее задание! Благодаря ей я поверила в возможность настоящего овладения иностранным языком в учебном заведении. И это убеждение стало одним из значительных приобретений в моем духовном багаже” (Е.С. Андреева); “Энергичная, искрометная Александра Григорьевна просто заражала нас любовью к чешскому языку, она была очень чутким и наблюдательным человеком и, пожалуй, единственная из преподавателей замечала, что у меня, живущей в общежитии, порой не было и пятака в кармане” (М.С. Боброва). Очень лаконично, но емко выразился В.И. Любовец: “А.Г. Широкова – красавица, умница и друг”. Вспоминается, какая паника охватила студентов нашей группы, когда разнеслась весть о том, что у части студентов практические занятия по чешскому языку будут вести другой преподаватель. “Обреченные” восприняли это буквально как трагедию.

Большое место в жизни А.Г. Широковой занимала научная и научно-организационная работа. Сознывая важность координации научных усилий отечественных богемистов, она осуществила в 1963 г. издание сборника “Исследования по чешскому языку”. Особо следует упомянуть о сборнике “Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими славянскими языками” (1983), в котором ответственным редактором (наряду с В. Грабье) и одним из основных авторов была А.Г. Широкова. Данный сборник, подготовленный совместно с Карловым университетом, объединяет работы видных российских и чешских ученых, посвященные важнейшим теоретическим и методологическим вопросам сопоставительного изучения славянских языков. А.Г. Широковой написан и раздел “Методы, принципы и условия сопоставительного изучения грамматического строя генетически родственных славянских языков” в книге “Сопоставительные исследования грамматики и лексики русского и западнославянских языков” (М., 1998 г.), ответственным редактором которой она также являлась.

Круг научных интересов А.Г. Широковой весьма многообразен, он включает проблемы грамматики, истории чешского литературного языка. В поле ее зрения находилось и современное состояние чешского языка, его социолингвистическое описание.

В обширном списке научных работ А.Г. Широковой значатся главы и разделы коллективных трудов, многочисленные статьи, заметки и рецензии, опубликованные не только в нашей стране, но и за рубежом. Большое внимание она уделяла подготовке научно-педагогической литературы – назовем в этой связи фонетический раздел в учебнике по чешскому языку и прежде всего, конечно, “Учебник чешского языка для 1 и 2 курсов” (в соавторстве с Й. Влечком и П. Адамецом), вышедший в 1973 г.

Являясь высококвалифицированным славистом широкого профиля, А.Г. Широкова активно сотрудничала с Институтом славяноведения РАН, некоторое время она даже была в штате института. Участвовала она и в создании важных коллективных трудов института, посвященных формированию и развитию литературного языка эпохи чешского национального возрождения, функционированию современного литературного чешского языка. Особого упоминания заслуживают разделы коллективных монографий (написаны в соавторстве с Г.П. Нецименко): “Основные этапы формирования литературного чешского языка в эпоху национального возрождения” (“Формирование национальных языков в эпоху Возрождения”. М., 1977); “Становление литературного языка чешской нации” (“Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков”. М., 1978); “Особенности формирования литературного языка чешской нации в эпоху национального возрождения” (“Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. Исторический и историко-культурный аспекты”. М., 1981). А.Г. Широкова была и автором международного проекта “Сопоставительное изучение инновационных процессов в славянских языках” и т.д.

Важно подчеркнуть, что А.Г. Широкова не боялась затрагивать острые вопросы, касающиеся, например, развития чешской языковой ситуации. Проблема так называемой обеспé *beštiny*, т.е. обиходно-разговорного чешского языка, ее интересовала в буквальном смысле слова до конца ее дней.

В поле зрения А.Г. Широковой находилась, разумеется, не только проблематика богемистики. Большое внимание уделяла она разработке общетеоретических проблем, таких, например, как вопрос о значимости функциональной эквивалентности при сопоставительном изучении славянских языков. Все исследования А.Г. Широковой отличает эрудиция, безупречное владение языковым материалом.

А.Г. Широкова была страстным патриотом своей страны, глубоко порядочным человеком. Активность жизненной позиции, принципиальность снискали ей заслуженное уважение, любовь и авторитет. Созданные ею труды найдут своего заинтересованного читателя и среди последующих поколений славистов.

Светлая ей память!

Новые книги Института славяноведения РАН

В 2001–2003 гг. в Институте славяноведения РАН вышли следующие издания:

- *Беседы на Лубянке. Следственное дело Дёрдя Лукача. Материалы к биографии. М., 2001.
- *Восточнославянский этнолингвистический сборник. Исследования и материалы. М., 2001.
- *Гугнин А.А. Серболужицкая литература XX века. М., 2001.
- Европейские революции 1848 г. “Принципы национальности” в политике и идеологии. М., 2001.
- *Из Варшавы: Москва, товарищу Берия. Документы НКВД СССР о польском подполье. 1944–1945 гг. М.; Новосибирск, 2001.
- *Институт славяноведения. 1999–2000. М., 2001.
- *Исследования по славянской диалектологии. М., 2001. 7.
- *История литератур западных и южных славян. М., 2001. Т. 3.
- *Калнынь Л.Э. Фонетическая программа слова как пространство фонетических изменений в славянских диалектах. М., 2001.
- Концепт чуда в славянской и еврейской культурной традиции. Сб. статей. М., 2001.
- *Костюшко И.И. Польское национальное меньшинство в СССР (1920-е годы). М., 2001.
- *Молошная Т.Н. Грамматические категории глагола в современных славянских литературных языках. М., 2001.
- *Николаев С.Л., Толстая М.Н. Словарь карпатоукраинского торуньского говора. М., 2001.
- Никольский С.В. Над страницами антиутопий К. Чапека и М. Булгакова (поэтика скрытых мотивов). М., 2001.
- *Смирнов Л.Н. Словацкий литературный язык эпохи национального возрождения. М., 2001.
- Стыкалин А.С. Дьердь Лукач – мыслитель и политик. М., 2001.
- Фрейдзон В.И. История Хорватии. М., 2001.
- Агапкина Т.А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. М., 2002.
- *Аникеев А.С. Как Тито от Сталина ушел: Югославия, СССР и США в начальный период “холодной войны” (1945–1957). М., 2002.
- *Вендина Т.И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М., 2002.
- За балканскими фронтами Первой мировой войны. М., 2002.
- *Исследования по славянской диалектологии. М., 2002. 8.
- Левкиевская Е.Е. Славянский берег. Семантика и культура. М., 2002.
- *Лескинен М.В. Мифы и образы сарматизма. Истоки национальной идеологии Речи Посполитой. М., 2002.
- *Литература Центральной и Юго-Восточной Европы: 1990-е годы. М., 2002.
- Признаковое пространство культуры. М., 2002.
- *Роль переводов Библии в становлении и развитии славянских литературных языков. М., 2002.
- *Россия – Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре. М., 2002.
- Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953. М., 2002. Т. 2: 1949–1953.
- *Софронова Л.А. Три мира Григория Сковороды. М., 2002.
- *Социокультурные трансформации второй половины XX в. в странах Центральной и Восточной Европы. М., 2002.
- *Studia Polonica. К 70-летию Виктора Александровича Хорева. М., 2002.
- *Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы. М., 2002.

*Утопия и утопическое в славянском мире. М., 2002.

*Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений XX в. СПб., 2002.

Шемякин А.Л. Смерть графа Вронского. М., 2002.

**Шерлаимова С.А.* Литература “Пражской весны”: до и после. М., 2002.

**Пушкаш А.И.* Внешняя политика Венгрии. Февраль 1937 – сентябрь 1939 г. М., 2003.

*Славянская этнолингвистика. Библиография. М., 2003.

*Славянские народы Юго-Восточной Европы и Россия в XVIII в. М., 2003.

Книги, отмеченные звездочкой, Вы можете приобрести по адресу: 117334, Москва. Ленинский пр-т, 32А, корп. В, Институт славяноведения РАН, комн. 921. Тел. (095) 938-54-66, Гурьева Маргарита Васильевна. Только за наличный расчет.

CONTENTS

ARTICLES

<i>Khorev V.A.</i> (Moscow). Russian Europeanism and Poland	5
<i>Sofronova L.A.</i> (Moscow). Mythologisation of the Europe's Image in XVIIIth Century Russian Culture	29
<i>Gorizontov L.E.</i> (Moscow). "Polish Civilization" and "Russian Barbarianism": a Base for Stereotypes and Auto-Stereotypes.....	39
<i>Leskinen M.V.</i> (Moscow). Myth of Europe and Poland in "Memoirs" by V.S. Pecherin	49
<i>Filatova N.M.</i> (Moscow). Views on Future of Europe and Poland in the Works of A. Mickiewicz and K. Brodziński.....	64
<i>Lazari de A.</i> (Łódź). How Europe frightens Polish and Russian "Slavs"? (Notes on the Margins of the "Encyclopedia of Russian Soul" by V. Erofeev).....	74

* * *

<i>Pavlenko O.V.</i> (Moscow). The "Holy Martyr" Karel Havlíček Borovský. Mythologisation of the National Hero	80
New in Foreign Slavonic Studies (1990–2000-ies). The Round Table Materials.....	93

PUBLICATIONS

<i>Freidson V.I.</i> (Moscow). Two J.J. Štrosmeier's Talks with the Russian Diplomats.....	132
--	-----

COMMUNICATION

<i>Budagova L.N.</i> (Moscow). Reading Ivo Pospišil's and Miloš Zelenka's Book "Rene Wellek and the Interwar Czechoslovakia. Towards the Roots of the Structural Esthetics".....	141
--	-----

REVIEW-ARTICLES AND REVIEWS

<i>Sedova N.V.</i> (Moscow). T.G. Masaryk Spisy: Parlamentní projery (1891–1893); T.G. Masaryk. Spisy: Parlamentní projery (1907–1914)	149
<i>Filatova N.M.</i> Shopin in Russian Culture. Antology	152

OBITUARIES

<i>Cybenko E.Z.</i> In Memoriam of Astra Genrichovna Piotrovskaya (1924–2003)	154
<i>Neshchimenko G.P.</i> In Memoriam of Alexandra Grigorievna Shirokova (1918–2003)	155
New Publications of the Institute for Slavic Studies, RAS	157

Сдано в набор 07.10.2003 Подписано в печать 26.11.2003 Формат бумаги 70 × 100¹/₁₆
Офсетная печать. Усл.печ.л. 13,0 Усл.кр.-отт. 7,5 тыс. Уч.изд.л. 15,0 Бум.л. 5,0
Тираж 563 экз. Зак. 7890

Свидетельство о регистрации № 0110184 от 4 февраля 1993 года
В Министерстве печати и информации Российской Федерации
Учредители: Российская академия наук, Институт славяноведения РАН

Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, 32а. Телефон 938-01-20
Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6
E-mail: vasilyev@FL09.tower.ras.ru

Индекс 70891

Славяноведение, 2004, № 1

ISSN 0132-1366